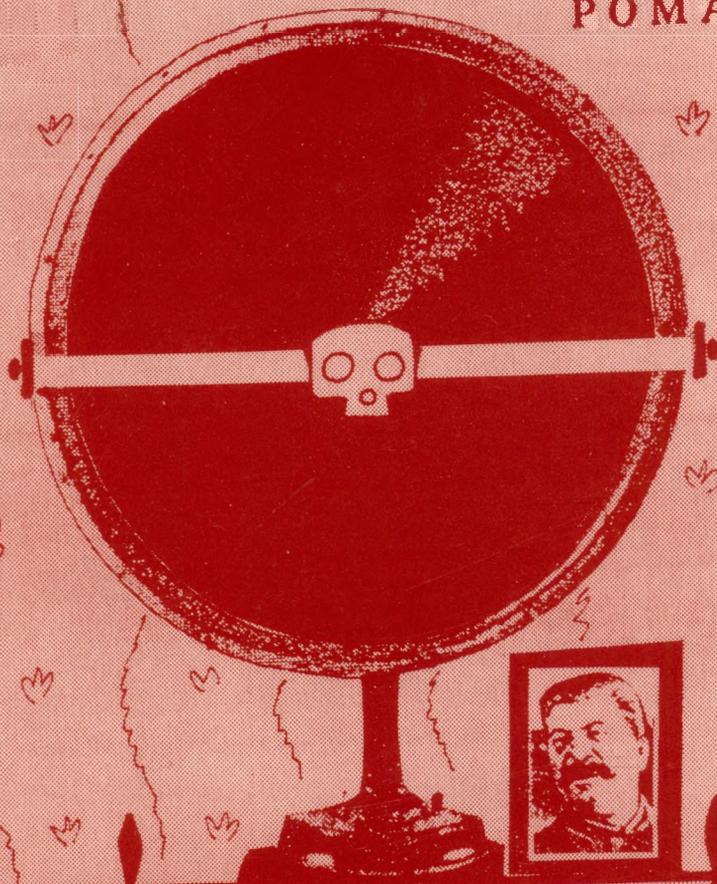


КОВА

ЖО ПРЕДАНИЕ

РОМАН



HERMITAGE





И. ГРЕКОВА

С В Е Ж О

П Р Е Д А Н И Е

РОМАН

HERMITAGE PUBLISHERS

1995

И. Грекова
СВЕЖО ПРЕДАНИЕ
Роман

I. Grekova
SVEZHO PREDANIE
(*Only Yesterday*. A novel)

Copyright © 1995 by Elena Venttsel

For *Dolgozhdannaia vstrecha* by Ruth Zernova

Copyright © 1995 by Ruth Zernova-Serman

All rights reserved

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Grekova, I.

[*Svezho predanie* : roman / I. Grekova]

p. cm.

ISBN 1-55779-084-1 : \$12.00

1. Jews--Soviet Union--Persecutions--Fiction. I. Title.

II. Title: *Only yesterday*

PG3481.4.E43S88 1995

891.73'44--dc20

95-15846
CIP

Обложка Михаила Беломлинского

Cover design by Mikhail Belomlinsky

This publication was made possible in part by the moral and financial support of Eugene and Michael Feinberg.

Published by Hermitage Publishers
P.O. Box 410
Tenafly, N.J. 07670, U.S.A.
Tel. (201) 894-8247

Памяти моего сына
Михаила Дмитриевича Венцеля
(1938–1990)

ОТ АВТОРА

**Все газетные цитаты, приведенные в книге, — подлинные.
Москва, 1962 г.**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первым впечатлением, которое он запомнил, был радужный солнечный зайчик на стене. Обои были светлые, в крупных косых клетках, и в самую середину одной из клеток упал зайчик и лежал там, не шевелясь, притихший и полосатый, сияющий каждым цветом.

Маленький мальчик еще толком не знал названий цветов — ему было всего три года. Он засмеялся и стал ловить зайчик рукой. Зайчик не давался: он только лег сверху на желтоватую худенькую руку и чуть-чуть изменил цвета. Мальчик был счастлив.

Он сидел на постели у мамы, на подушке, между мамой и зайчиком. Он давно не видел маму: она куда-то исчезла, а потом вернулась, и вот сейчас, сидя на подушке, он был ужасно счастлив, весь дрожал от счастья и от страха, что мама снова уйдет. Мама лежала желтая и бледная, та и не та, не совсем знакомая, остриженная, с короткой щетинкой на черной круглой голове. Малыш трогал щетинку пальцем, узнавал маму и боялся себе поверить и на всю жизнь запомнил радужный зайчик на светлых обоях и ощущение счастья, смешанное со страхом, что оно уйдет.

Потом, много позже, он узнал, что это было в двадцатом году, что мама болела тогда сыпным тифом и чуть не умерла, а радужный зайчик шел от хрустальной пепельницы на столе. Это была крупная пепельница из светлого, тяжелого хрусталя с гладкими сияющими гранями. Когда мальчик подрос, он сам научился в солнечные дни поворачивать пепельницу рукой и гонять зайчика по стене. Так и плясал над детством, над жизнью радужный зайчик, а потом стал появляться все реже и реже, пока, наконец, не погас совсем.

Мальчика звали Константин Левин.

Его родители — Исаак Левин и Вера Бергман — встретились в 1912 году на студенческой вечеринке. Он — студент-технолог, она — курсистка-бестужевка. Оба молодые, даже очень. Оба — революционеры. Оба пошли в революцию потому, что иначе жить было нельзя.

Вера была веселенькая, черненькая, с доверчивыми круглыми глазами и мелкокудрявыми волосами, до того мелко, что они даже не казались пышными. Когда она, смеясь, открывала рот, там сидели плотно, как горошины в стручке, голубые зубки. Она очень мило картавила, и каждое «р» подпрыгивало и каталось в горле таким шариком. Вера часто смеялась, любила общество, трудно огорчалась и легко утешалась, а в беде была твердая как кремьень. Смеющийся кремешок. Его бьют, а от него — смех и искры.

Многие считали ее легкомысленной. И трудно было догадаться, не догадывался никто, что эта смешливая, легонькая, веселая Вера носит с собой, глубоко упрятав внутрь, одну вечную, страшную картину. Это были мертвые — дед и Циля.

Деда и сестренку Цилю убили погромщики в девятьсот пятом году. Вере тогда было двенадцать лет. Дед лежал на спине, повернув голову набок, с косо отброшенной в сторону седой бородой. Он был неподвижен, но казалось, что он бежит, отчаянно торопится и бороду отдуло в сторону ветром. А поперек широкой дедовой груди, поникнув, как изломанный стебель, бескостно лежала маленькая Циля, с голубым личиком, в реденьких, колечками, черных кудряшках. Дед держал ее, словно оберегая и унося с собой, — старческой, белой и очень сухой рукой с голубыми жилами.

Эта картина всегда была при ней. Стоило Вере замолчать, задуматься, попросту перестать смеяться, как внутри что-то соскальзывало — словно маятник к положению равновесия, — и снова перед глазами лежали, на испачканной красным земле, дед и Циля. Только за собой недосмотришь — они снова тут. Дед и Циля.

Сначала от этого хотелось кричать, кусать руки, но постепенно Вера почти привыкла к ним. И сама картина с годами изменилась, стала спокойнее, и дед теперь лежал в памяти неподвижнее, и не так относил ветром его бороду. Но это всегда было в ней, и в революцию Вера пошла из-за них: деда и Цилю. Невозможно, чтобы так было. Что-то делать надо, чтобы так не было.

Изю Левина Вера увидела впервые на пороге маленькой квартирке, где была назначена сходка. Она позвонила, он открыл дверь. Бежала по лестнице, опасалась слезки, запыхалась, а тут еще с морозу в тепло. Ресницы длинные, она ими хлопала, стряхивала снежинки.

На пороге стоял высокий, смуглый, тонкий, как хлыст, юноша с огромными, светлыми, веселыми до наглости глазами. Эти глаза всего больше запомнились, да еще спутанные русые волосы, мокрые спереди, прилипшие ко лбу. На нем была белая, сияющая косоворотка и крученый шелковый пояс с кистями. Студенческая тужурка каким-то чудом держалась на одном плече. В руке — гитара.

— Я — Вера Бергман, — сказала Вера. Маленький шарик два раза перекатился у нее в горле.

Студент поглядел на нее, неистово-радостно засмеялся глазами, но себя не назвал. Вместо того чтобы поздороваться, он переложил гитару в другую руку, поднес указательный палец к губам, потом быстро-быстро и совсем непринужденно приложил палец к одной Вериной щеке, к другой, словно обжегся, и сказал два раза: «пс! пс!».

— Это как уют пробуют? — спросила Вера.

— Вот именно. Умница. Все понимаете.

— Ну уж... — смутившись, сказала Вера и украдкой заглянула в зеркало. И в самом деле, щеки с морозу были красные, как огонь, с легким пушком и, пожалуй, славные.

И все-таки, какой-то он странный...

А странный студент быстро, ловко и все так же непринужденно снял с нее бархатный жакет, меховую шапочку, отобрал маленькую муфту и все это развесил, разложил, поворачиваясь гибко, стройно, взмахивая черным крылом висящей тужурки, которая, неизвестно как держась на плече, еще и танцевать ухитрилась. Все это было немножко через меру. Для той несложной работы, которую он делал, было слишком много движений. Казалось, вот-вот он переломится в поясе.

Он распахнул дверь и поклонился, пропуская ее вперед.

В комнате — не то столовой, не то гостиной — было накурено, пел самовар, гремели чашки. Хозяйка дома — худая, веснушчатая девица с лошадиным лицом и пенсне на каких-то постромках — еле заметила Веру, наскоро пожала ей руку, сказала: «Развлекайтесь самостоятельно. У нас без церемоний. Чаю?» — и, не дождавшись ответа, присоединилась к спорящим.

Спор гудел, как шмелиный улей. Табачный дым ходуном ходил над чайным столом с грязными тарелками, мокрыми окурками, бескровными ломтиками лимона в недопитых стаканах. О чем спор? Слышно было: «...Государственная дума... Марков Второй... дело Бейлиса... медицинская экспертиза... международный скандал... дело Бейлиса...».

Внезапно от группы спорящих отделился один — грузный мужчина с черной бородой, — поднял широкую, как сковорода, руку и мощным, покрывающим спор басом возгласил: «Сейчас дело не в этом. Сейчас главное — в теории. Без теории нет революции, нет борьбы».

А Вера ничего не понимала в теории. Ей, наверно по наивности, казалось, что никакой теории не нужно. Разве нужна теория, чтобы любить и ненавидеть? Она пришла в революцию просто потому, что иначе не могла. И еще потому, что они лежали там вечно: мертвый дед и мертвая Циля. Но об этом она никогда никому не говорила. Они никого не могла пустить туда, где они лежали.

Сидя на диване и еле прислушиваясь к спору, она оглядывалась, блестя оживленными глазами. Нет, его, кажется, не было тут — того товарища, с которым они условились встретиться. Которому она должна была сказать условные слова (только бы не забыть!). Который должен был передать ей письма из Центра. Лица кругом были все незнакомые. Знакомым — пугающе знакомым — казался только один — тот студент, что отворил ей дверь и обжегся об ее щеки. Он все время мелькал по комнате — быстрый, поворотливый, горя глазами, взмахивая черным крылом тужурки, нагибаясь то к одному, то к другому, и вдруг остановился перед ней, поставил ногу на стул, крепко и точно ухватил гитару, пристукнул костяшками пальцев по деке, ущипнул струны — раз, другой... И сразу не стало слышно спорящих голосов. С проникающей нежностью заныли струны...

— А ну! — крикнул он самому себе и быстрой, задыхающейся скороговоркой вырвался, понесся вперед:

Во поле березонька стояла...
Во поле кудрявая стояла... —

сообщал он доверительно, полушепотом, словно невесть какую новость (только вам, только вам!). А гитара так и порхала у него в руках, вертелась, подпрыгивала.

Белую березу заламаю... —

сообщал он все так же, по секрету, неистово глядя Вере в глаза. «Заламает, — верилось ей, — ох, заламает!».

— Вот так-то, — сказал он, закончив песню и сядя рядом. — Будем чай пить.

Все было сизо от дыма, и окурки лежали везде: в блюдечках, на подоконниках, в стаканах с ломтиками лимона. И споры, как окурки, намокли желтым, и Вера ничего не понимала, но веселый студент был рядом: вскакивал, садился, хватал и откладывал гитару — беспокойный, как огонь на ветру. Но странное дело — от его беспокойства ей было спокойно. Того товарища все не было, это должно было тревожить Веру, но не тревожило, все было в порядке, и она даже не испугалась, когда около полуночи раздался звонок — долгий, требовательный — и кто-то сказал: «Полиция!». Произошла небольшая суматоха, кто-то ахнул, кто-то разбил стакан, хозяйка предложила всем сохранять присутствие духа, а грузный чернобородый пошел отворять. Вера и сама не сообразила, как она оказалась в коридоре, а потом на кухне, с тем самым студентом.

— Быстро одевайтесь, — приказал он шепотом, подавая ей жакет и шапочку. — Муфты не нашел. Обойдетесь?

— Несомненно.

— Я вас сейчас отсюда выведу. Не бойтесь?

— Нет.

Он резко рванул к себе раму окна, она распахнулась с сухим бумажным треском. Оттуда дохнул темный, влажный воздух ранней зимы. Снег уже перестал, и после накуренной комнаты неожиданная свежесть ночного воздуха тонким счастьем входила в легкие.

Студент кошкой прыгнул на подоконник и поднял к себе Веру. За окном была покатая крыша, запорошенная очень белым в темноте снегом. Она загремела под ногами, как ведро.

Они пробежали по крыше, спустились по пожарной лестнице, перелезли на другую крышу, потом — на третью... А там Вера уже перестала соображать, где они и по каким крышам и лестницам идут. Вверх — вниз... Студент вел ее за руку, иногда бережно приподнимал или опускал куда-то. Он шел в темноте легко и уверенно, с кошачьей чуткостью шага. Вера не удивилась бы, если

бы, свалившись с крыши, он перевернулся бы по-кошачьи и встал сразу на ноги. Ей не было страшно — напротив, было весело и любопытно, чем все это кончится?

А кончилось тем, что пришлось прыгнуть с невысокой крыши сарая прямо в мягкий, пухлый, под ногами оседающий снег. Двор был глубокий, темный, в окнах — ни огонька. Он соскочил первым и принял Веру прямо в руки — тонкие, сильные, вздутые у плеч жесткими желваками. Так они и стояли в обнимку, по колено в снегу, переводя дух и прислушиваясь.

— Кажется, все, — сказал он. — Погони не слышно. Ну, как вы себя чувствуете?

— Прекрасно.

— Прекрасно, — передразнил он, пытаясь, как она, шариком перекатить два «р». И вдруг, не разжимая и не сжимая объятий, поцеловал ее в губы — маленькие, холодные, пахнущие оттепелью, снегом.

— Это ничего, что я так сразу? — спросил он и разжал руки.

Вера не ответила, почему-то расхохоталась. Просто стояла и смеялась, громко, беспечно, прихлопывая ладошками по коленям. Колени были низко, у самого снега. Впрочем, и он стоял по колено в снегу и тоже, верно, выглядел коротышкой. Это она над ним?

— В чем дело? — спросил он, довольно обиженно. — Если вам не понравилось, дайте мне пощечину и дело с концом.

— Нет, ничего. Просто мне стало очень смешно. Я ведь совсем не знаю, как вас зовут.

— Меня зовут Изя. Исаак Рувимович. Исаак Рувимович Левин. Поняли?

— Поняла. Рувимович, — сказала она и вдруг положила ему голову на плечо. Он осторожно ее обнял.

— А я ведь тоже не знаю вашего отчества.

— О, это очень просто. Ильинишна.

— Ильинишна, — сказал он важно, бережно и снова ее поцеловал. — Это из какой-то сказки: Ильинишна. Надо идти, Ильинишна. Только куда?

— Не все ли равно? Куда-нибудь.

— За моей квартирой следят. А то бы я вас пригласил.

— Забавно. За моей тоже.

— Пойдем знаете куда? На вокзал.

До утра они просидели на вокзале. А утром, прощаясь, не зная, увидятся ли, они уже знали друг о друге все. И главное, ничего не надо было рассказывать — все и так было ясно. Изя был первый, кого Вера пустила туда — к деду и Циле. Она ничего не сказала словами — он и так все про нее знал.

— Пустякинишна моя, — сказал он, целуя ее на прощанье.

Через две недели они поженились, а еще через две недели Исаака Левина арестовали. Снова встретиться им удалось только в шестнадцатом году, когда Изю выпустили из тюрьмы и почти сразу же послали на фронт. Он пробыл в Петрограде всего две недели. Только два раза по две недели прожили они вместе до революции. Ничего — они были молоды. Их счастье было впереди. Оно ждало революции — и дождалось.

В двадцатом году мальчику было три года, а родился он в семнадцатом году, в Петрограде, в самую Февральскую революцию.

Зимним ветреным вечером Вера Левина шла по улице, задыхаясь от ветра, от возбуждения. Вот оно, наконец-то, начинается, началось! Вот она — Революция! Та самая, за которую боролись, умирали, сидели в тюрьмах, бежали с каторги. Неужели она? Она! Все ужасы были позади: полицейские, жандармы, и те страшные, пьяные, с икотой и «Боже, царя храни», которые убили деда и Цилю. Ничего такого больше не будет! Революция всегда была впереди, а теперь она здесь, вот она, ее можно потрогать рукой. Революция — на улицах Петрограда. Небо дрожало и горело янтарным дымным заревом, и в разных местах весело, безобидно и вовсе не страшно щелкали выстрелы. По привычке Вера попробовала, как всегда, увидеть деда и Цилю, но вечная картина расплывалась, ускользала в сторону. А то, что ей удавалось увидеть, было не такое — не живое, не страшное. словно бы дед перестал бежать и спокойно лег на землю, вытянув длинные ноги, а Циля и вообще не хотела показываться — мелькнув на мгновение, пропадала. «Неужели они отпустили меня?» — думала Вера. Это было неправдоподобно, почти как сама революция.

На углу, под оторванной, грохочущей на ветру вывеской, были навалены бревна: баррикада. Немолодой, крепко бородатый солдат в папахе, крихтя, подкатывал бревно повыше. Вера остановилась рядом.

— Солдатик, а солдатик, — сказала она.

— Чего? — неохотно отозвался солдат.

— Ну как? — спросила она.

Она и сама не знала — «чего». Может быть, того, чтобы солдат подтвердил ее радость, гордость. Похвалил ее за революцию, что ли.

— Шли бы вы отседова, барышня, — хмуро сказал солдат.

Тут случилось что-то непонятное. Какой-то холодный, тонкий писк прозвучал не снаружи, нет, внутри, в ней самой. Вере стало смешно от этого писка, но в груди что-то мешало смеяться. Она помахала солдату варежкой и тихонько, соскальзывая ботиками, стала сползать боком на бревна. Внезапно она увидела деда: живой, смеющийся, с красивой бородой, он сидел на стуле под часами, а на коленях у него, играя брелоками, сидела маленькая Циля.

Солдат нагнулся. Он увидел бледное, с синевой личико, выпуклые веки на неплотно закрытых глазах и из угла рта — извилистый черный шнурок: кровь.

— Господи батюшка, подстрелили, царица небесная, — сказал он, подхватывая Веру под мышки. Маленькая барышня оказалась неожиданно тяжелой. Вот оно в чем дело...

— Эх ты, птаха, — горько и бережно сказал солдат.

Он взял Веру на руки и отнес в военный госпиталь. Ночью ей сделали операцию, а к утру родился Константин Левин.

— Это ты, это ты, — бессмысленно повторял Исаак Левин, стоя на коленях у Вериной койки, целуя грубое шерстяное одеяло. Он был худ и страшен, с белыми губами, в полушубке, с маузером у пояса. На один день он приехал с фронта и завтра должен был ехать назад. Может быть, он даже был дезертиром — Вера как следует не поняла. Она лежала с выложенными поверх одеяла слабыми руками, но он почему-то целовал не руки, а одеяло и все повторял: «это ты». Внезапно он вспомнил про мальчика. Мальчик был лишним, нерепальным, не имел смысла. Существовала только она, Вера — живая!

— Как мальчик? — спросил он. В сущности, ему не было дела до мальчика. Спросил, в сущности, так, из вежливости.

Маленькая улыбка вспорхнула на бледные Верины губы.

— Очень хорош, очень хорош, — ответила она шепотом. — Молока нет. Как мы его назовем?

— Все равно, — сказал Исаак. — Это ты.

И Вера назвала мальчика Константином.

Ух и досталось же ей от Изи, когда они наконец увиделись! Мальчику было уже полгода, а отец впервые узнал, как его зовут.

— Какое недомыслие! — кричал Исаак. — Константин Левин! Почему не сразу Евгений Онегин? Или Чайльд Гарольд? На всю жизнь ты его опозорила. Все будут его спрашивать: давно ли он из романа «Анна Каренина»?

— Я просто забыла, — говорила Вера, смеясь.

— Что забыла?

— Что есть Анна Каренина. Что есть Константин Левин.

— Константин, да еще Исаакович! Хорошенькая комбинация! Ты подумала, как его будет звать, когда он вырастет?

— Нет, не подумала, — легкомысленно отвечала Вера. — Может быть, когда он вырастет, никаких отчествов уже не будет. А теперь его вообще зовут Тань-Тин. Как китайца. Правда, хорошо?

— Пустякинишна! — гремел Исаак. — Вот уж подлинно Пустякинишна! Кстати, где же этот парадокс? Я ведь его еще не видел.

— Лежит на балконе, голубой от счастья.

— Почему голубой?

— Посмотри сам.

Они вышли на балкон. И точно, в бельевой корзине лежал Тань-Тин, голубой от счастья. Он был пьян, мертвецки пьян свежим прохладным воздухом, он спал отчаянно, страстно, восторженно, с тонкими прозрачными голубыми веками, с голубыми жилками на беленьких висках.

— Константин Исаакович, — вдруг нежно сказал Изя. — Нелепость и сын нелепости.

— Так-то лучше, — одобрила Вера. — Ну, а теперь возьми меня в руки.

Он взял ее в руки, и они смиренно стояли у бельевой корзины, внимательно глядя, как трудился Тань-Тин над своим вдохновенным сном. Они без слов думали о том мире, в котором он будет жить, где вообще не будет паспортов, а может быть даже и отчеств, и где у маленького Тань-Тина никто не спросит: еврей он или нет и почему он Исаакович.

День, когда в сознании маленького Тань-Тина впервые зажегся радужный зайчик, был еще тяжелым днем голодного двадцатого года. Но ничего тяжелого не запомнил Тань-Тин. Для него все было радостью. Как жадно кусал он маленькими зубами ломоть черного, плохо пропеченного хлеба, посыпанный грубой солью! Одни солинки были серые, круглые, как обкатанные шарики, другие — серебряно-белые, искорками. Он видел эти крупинки близко-близко, они казались ему интересными, как кубики. От зубов на хлебе оставались ровные, круглые дужки. Каждая дужка — словно цветок. Он кусал и играл, ел и играл и смеялся от радости.

В углу была кафельная печка с гладкими белыми изразцами, и на каждом изразце ярко-синим, страшно-синим была нарисована своя картинка. На одной — китаец-рыболов в шляпе домиком опускал в синюю воду тонкую, красиво изогнутую удочку. Сколько раз, глядя на эту картинку, Тань-Тин ждал и боялся, что китаец вдруг вытянет синюю рыбку! На другой — синий кот, подняв лапу, неподвижно ловил синюю мышь, и Тань-Тин тоже сладко боялся: а вдруг поймает? Он больше любил те изразцы, где никто никого не ловил, а просто были синие цветы, синие часы, синие будочки. И все-таки его что-то тянуло к тем, страшным.

А иногда печку топили: заслонка открывалась, как маленькая дверь, а внутри, за дверью, волновался огонь. Это он любил больше всего. Огонь все время менялся. Только что он размахивал яркими языками, и вдруг обрушивалось, треща, полено, брызгали в стороны прыткие искры, большие языки падали, исчезали, и только один, синенький, робко вползал на влажный торец полена, рядом с шипящими пузырьками влаги, и начинал жить. Тань-Тин смотрел, как жил огонек, жадно желал ему жизни, ахал, когда огонек умирал. А

когда заслонку закрывали, через круглые дырки долго-долго было видно, как цвели и менялись уголья: сначала желто-оранжевые, потом малиново-красные, потом уже угасающие, пепельно-багровые, потом лилово-синие... И всё.

Мальчик болезненно любил цвета или, как он их называл, «краски». Кто знает, может, он и в самом деле видел мир ярче окрашенным, чем другие? Кто поручится, что все мы видим одинаково? Может, тот ошалелый мечтатель, который, раскрыв рот, непонятно для других стоит и глазает на улице, просто видит не то, что другие?

Тань-Тин жил и купался в красках. Краски сверкали, гремели, пели, пахли. Небо для него было голубей голубого, осенние листья — желтее желтого. Видя какую-нибудь особенно яркую, красивую краску, он бледнел от восхищения. Так было и потом, когда он подрос и из Тань-Тина стал Костей. Товарищи часто удивлялись: на что это он так пристально, так серьезно, с восторгом и страданием смотрит? «Что там у тебя? Ничего.» А смотрел он просто на снег или на небо. Для мальчиков снег был белый-белый, и только. А Костя видел его дивно разноцветным: сиреневым в зимние вечера, ярко-голубым, с глубокими синими тенями — солнечным днем. А пасмурное облачное небо? В некоторые темные вечера оно светится изнутри вишневым. Никто не видел этого, а Костя видел. В таком великолепном, разноцветном мире подрастал Костя, и было ему очень хорошо, замечательно.

А главное, он очень любил свою маму. Когда мама приходила со службы, он бросался к ней, метался от счастья, подскакивал, вцеплялся в нее и целовал, целовал, никак не мог перестать целовать свою маму. «Пустякинишна», — называл он ее про себя. Это имя он слышал от папы и очень запомнил. Вслух не произносил, а внутри себя — да.

И папу он тоже любил. Даже неизвестно — кого больше. Глупый вопрос. Когда к нему однажды пристали, кого он любит больше — папу или маму? — Костя не отвечал, со стыда зарылся лицом в подушки, а папа сказал: «Глупый вопрос».

Мама, конечно, была ближе, понятнее. Она каждый день приходила со службы, кормила его, играла с ним. Папу Костя видел реже и знал меньше. Папа часто уезжал куда-то, пропадал надолго. Тань-Тин рано научился отвечать: «Папа в командировке». Но зато когда папа приезжал — какой начинался праздник, какой восторг! Папа словно не приходил, а взрывался в передней, как будто от него во все стороны сыпались искры. И всегда он кричал что-нибудь особенное, несуразное, вроде: «А где тут мой зверинец? где тут черное зернышко с отросточком? где тут моя чепушинка с чепушоночком? А ну-ка, подайте мне их сюда, подайте!». И Пустякинишна, счастливо и как-то раскосо сияя черными пуговицами, мчалась со всех ног в переднюю, а за ней — Тань-Тин, визжа

свистулькой, тоненько и прерывисто: «ай-ай-ай!». А папа уже стоял там, весь праздничный, сказочный, разбойничий, с неистово-светлыми глазами на смуглом лице. Он хватал обоих, поднимал в воздух и старался стукнуть лбами. Тань-Тин отбивался, захлебывался визгом, а Пустякинишна послушно подставляла круглый крутой лобик и косила глазами, виновато сияя...

Стоило папе переступить порог, как появлялись гости. Шум, споры, гитара, песни, дым. Маленький Костя тут же пристраивался в углу дивана, широко открыв аспидно-серые глаза, боясь упустить, проглядеть. А папа метался по комнате, как язык огня, — словно вспыхивал, перекидывался с места на место, от него становилось горячо и ярко, даже щеки горели.

Но самое лучшее начиналось потом, когда гости уходили и они оставались втроем — папа, мама и он. Костю укладывали спать и гасили свет, а он нарочно долго не спал, все слушал, как шептались в темноте папа и мама. Какие слова они говорили! Особенно папа! Сколько имен у него было для мамы, для Пустякинишны!

Костя слушал, сладко борясь со сном, чувствуя на глазах горячие слезы, изнемогая от любви к ним, к самому себе, ко всему на свете.

Папа уезжал, и снова они оставались вдвоем. О, им не было скучно вдвоем — им было хорошо. Мама ходила на службу, но ведь она возвращалась, и даже ждать ее было интересно. Костя замечал, где было солнце вчера, когда она пришла, или куда падала тень от стула, и, глядя на свои солнечные часы, говорил в уме: теперь уже скоро, совсем скоро... Ну, еще, еще немножечко... И вот — она.

Она входила, такая, как всегда, и все же каждый раз новая, целовала его и сразу же начинала играть. Словно она играла уже на лице, а здесь только продолжала.

Играя, они накрывали на стол, играя, обедали. Тарелки становились домами, вилки и ложки — людьми. Люди ходили друг к другу в гости. А иногда людьми были хлеб, сахар, яблоки. Очень смешно ковыляло яблоко на тонких спичечных ножках, с бумажным колпачком на макушке...

Разные у них были игры. Они сами их выдумывали, и у каждой игры было название. Была игра «плюх гусиный», была игра «шарики-булки», была игра «лапчатым шагом»...

А еще лучше было вечером, перед сном, забраться с мамой на диван и слушать рассказы. Забраться надо было очень-очень глубоко, очень уютно, совсем укутаться в подушки, а сверху накрыться клетчатым, бахромчатым пледом. Мама с Тань-Тином долго устраивались, примащивались на диване, перетягивали плед, приговаривая: «надо суетиться, надо суетиться», — наконец, отыскав нужный уют, затихали, обнявшись. «Теперь рассказывай», — говорил Тань-Тин.

Самый любимый рассказ был про бедного Пульбика.

— Про бедного Пульбика, — требовал Тань-Тин.

— Бедный-бедный Пульбик, — начинала мама каким-то особенным, таинственным голосом. — Бедный Пульбик и так-то был бедный, а еще очень любил прибедняться...

Свои любимые рассказы он знал назубок, и боже упаси было переставить или заменить хоть одно слово. Вообще, Тань-Тин был консерватор. Он хотел, чтобы все оставалось, как было. Пусть только длится, длится, длится, пусть никуда не уходит счастье, которое есть теперь.

Детство Тань-Тина еще было тем замечательно, что он почти не слышал слова «нельзя», под которое растут многие дети. Он рано и подолгу оставался один и привык сам собой распоряжаться. Мама работала, папа — тоже, да его почти никогда и не было дома. Совсем маленьким Тань-Тин приучился сам есть, бережно подбирая крошки, сам одеваться и раздеваться, сам ложиться спать, если мамы долго не было. Он мыл руки, когда это ему приходило в голову, а не приходило — тоже не беда: мама, придя домой, звонко кричала: «А ну-ка, вдвоем, мыть руки, мыть руки, посмотрим, у кого грязнее!» — и он радостно намыливал под тонкой струйкой ледяной воды маленькие красные руки, гордясь тем, какая черная капает с них вода на белую эмаль раковины...

А квартира, когда он оставался один, была не пустая: в ней жили соседи.

Любимым соседом у Тань-Тина был старик-настройщик, Генрих Федорович, со своей кошкой и скрипкой. Тань-Тин подходил к двери, скромно стучал пальцем и спрашивал: «Можно или нельзя?». И Генрих Федорович всегда говорил: «Можно».

А в комнате у него было очень интересно. Черная кошка Тилли с крохотным белым пятнышком на груди — всего несколько волосков — умела делать разные штуки. Ученая кошка. По команде она влезала на стул, становилась на задние лапы, чихала. Тань-Тин говорил ей по-немецки: «Тилли, ауф!» — и кошка послушно вставала. Как полагается, мальчик играл с ней бумажкой на веревочке. Такая игра была, пожалуй, слишком детской для Тилли; она вступала в нее, но как-то нехотя, снисходительно, не кидалась на бумажку, как другие кошки, а шла за ней — медленно, стройно, чуть изгибая узкое черное туловище и время от времени брезгливо трогая бумажку лапой. Так они и ходили вдвоем: кудрявый, белокурый, бледненький Тань-Тин и черная, гибкая, высокомерная, снисходительная к нему Тилли.

У Генриха Федоровича пахло деревом, канифолью, лаком, столярным клеем. Здесь много было разных вещей, они всегда были на одних и тех же местах, поэтому от каждой вещи там, где она стояла, лежала или висела, оставался отпечаток. От часов — на лаковой крышке комода, от альбома — на бархатной скатерти, от книг и картин — на выгоревших желтых обоях. Когда мальчику случалось взять в руки какую-нибудь вещь, он всегда мог по отпечатку вернуть ее точно на место. Тань-Тину это нравилось,

хотя было непривычно: у них дома, кажется, ни одна вещь не лежала дважды на одном месте, все кочевало: посуда, диванные подушки, папина гитара, а главное, книги, книги, книги... А сколько веселых и смешных поисков, сколько радости найти наконец пропавшую вещь!

У Генриха Федоровича все не так. Тут тоже есть книги, но не такие — строгие, тяжелые, в кожаных переплетах, а внутри — странные, рогатые буквы... Огромный буфет, похожий на дом с окнами и дверями, — в нем, наверно, можно было бы жить. На полке — глиняная пивная кружка с оловянной крышкой, а на ней рисунки белой и коричневой глазурью: охотники едут на охоту, кто кормит собак, кто чистит ружье. Нажмешь пальцем — крышка откинется, и из кружки можно пить пиво, хотя, что такое «пиво», Тань-Тин не знает. На шелковой нитке подвешено чучело птички-колибри со сверкающей, ярко-синей грудкой, бывают же такие птицы, счастливые. (Тань-Тин даже снегирю завидовал, что он красный). На столике — фарфоровая статуэтка: мальчик, нагнув голову, вынимает из ноги занозу; волосы у него почему-то не падают вниз, а красивыми волнами лежат вдоль щек. На стене — черная овальная рамочка с венком из мелких сухих цветов, а в рамочке выцветшая фотография: белокурая девочка с маленькой собачкой на руках. Девочка напряженно, без улыбки, смотрит перед собой бесцветными глазами с булавочными точками зрачков, а собачка подняла ухо, прислушивается. «Кто это?» — спросил однажды Тань-Тин. Генрих Федорович коротко сказал: «Амальхен», — и мальчик понял, что спрашивать больше не надо.

Иногда Генрих Федорович варил кофе. Времена были тяжелые, скудные, кофе — ячменный, без молока и почти без сахара, но как это было вкусно! Особенно черный хлеб, нарезанный кубиками, подсушенный на сковородке, и каждый кубик посыпан немножко солью и немножко — перчиком. Ничего не могло быть вкуснее, чем эти кусачие кубики с горячим, коричневым, горьковатым кофе. Выпив свою чашку, Тань-Тин вежливо говорил «данке бестенс», как учил его Генрих Федорович, и торопился встать из-за стола, чтобы не показать виду, как ему хочется еще.

Но самое лучшее было, когда Генрих Федорович брался за скрипку.

Скрипка лежала в черном, ветхом футляре, завернутая в шелковое одеяльце, как маленький ребенок. Генрих Федорович вынимал ее, бережно протирал замшей, проверял пальцем смычок, и, зажав скрипку подбородком, наклонив к ней большое седое ухо, начинал играть. Уже первые, болезненно противоречивые звуки настройки хватали Тань-Тина за душу. Тоненькие иголочки, нет, лопающиеся пузырьки шли у него по спине, и каждый волосок на их пути становился дыбом. А потом, блаженно разрешая противоречие, начинала петь музыка. Генрих Федорович играл — и плакал. Крупные, прозрачные слезы собирались в уголках глаз и чинно, одна за другой, катились по морщинам к носу. Тань-Тин слушал и был счастлив и думал о Генрихе Федоровиче, и об Амальхен, и о своей

маме, которая где-то там одна на службе, ему было жалко всех — и все-таки он был счастлив. И долго-долго потом, когда он уже давно вырос и стал взрослым, Костя никогда не мог слушать спокойно, как настраивают скрипки. Болезненно-острое, дребезжащее, пронзительное чувство проходило у него по спине. А потом начиналась музыка. Скрипки пели, и ему было жалко всех, и он был счастлив.

Еще была в квартире соседка — тетя Дуня с дочками. Дочери — незамужние, некрасивые — работали на фабрике, а тетя Дуня сидела дома, хозяйничала. Рано постаревшая, в темном платке, с негнузданными, но ловкими коричневыми пальцами, она целый день шмыгала: из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Тань-Тин иногда просто думал, что она не умеет сидеть. Все время она была на ногах, все время что-то скребла, чистила, перетирала. И все у нее выходило ловко, складно, хватисто. Она чистила картошку, проворно орудуя старым, сточенным на нет ножом, — и кожура завивалась над столом тончайшей, длинной, вырезной лентой. Гладила белье и, набрав в рот воды, спрыскивала — и вода мельчайшей радужной пылью повисала в воздухе. Тань-Тину очень нравилась эта пыль, он сам попробовал брызгать изо рта, но не смог — только облился.

В комнате у тети Дуни было красиво, как в сказке. Кружевные, накрахмаленные, стоячие занавески. Высокая, неприступная кровать с пирамидой подушек в ярко-белых, вышитых наволочках, одна другой меньше. В углу — иконы с начищенными, блестящими ризами, перед ними лампадки с огоньками, большое фарфоровое пасхальное яйцо на голубой ленте. А на окнах — цветы, красные, бархатные герани, огорченные фуксии с поникшими розовыми головками и, наконец, на табурете, в зеленой деревянной кадке, китайский розан — уже не цветок, не куст — костер красоты.

А какой у тети Дуни был примус! Яркий, гордо стоящий на прямых, чуть расставленных ножках. Когда тетя Дуня накачивала примус, он начинал рокотать и петь, широко разбросав над головой синее пламя. У них с мамой был совсем другой примус: тусклый, закапанный, жалко свернувшийся набок. Когда его зажигали, он долго сопротивлялся, а когда загорался, то желтым, коптящим огнем, с шипением выпуская то в одну, то в другую сторону длинный язык...

Из-за примуса-то все и получилось: Тань-Тин разлюбил тетю Дуню. Сначала любил, а потом разлюбил — из-за примуса.

Однажды он стоял на кухне, зачарованно глядя на синюю корону, и даже палец в рот положил от восторга. Тетя Дуня спросила: «Ты чего?».

— Примус, — ответил Тань-Тин.

— Эх ты, богово дитяtko, — ласково сказала тетя Дуня. — Мать-то твоя безрукая, только и знает по службам ходить да книжки читать, а примус вон до чего довела, смотреть совестно. Могла бы

раз почистить — не стеклянная. И мальчишку одного с каких лет бросает. Мало ли чего случится.

— Нет, — сказал Тань-Тин. Он не все понял, что она говорила, но главное понял отлично: она сказала плохое про маму, а этого он стерпеть не мог. Он отвернулся от примуса. Не надо ему сверкания меди, не надо поющей синей короны. Они с мамой будут готовить на своем примусе, и пусть про него никто ничего не смеет сказать!

С тех пор он почти не говорил с тетей Дуней — вежливо, но твердо отмалчивался. Он был очень вежливый мальчик, всегда говорил «спасибо» и «пожалуйста» — волшебные слова, как их называла мама. Один раз, уже после примуса, тетя Дуня дала ему конфету — он сказал «спасибо», но есть не стал, потихоньку принес на кухню и положил рядом с примусом, на тети Дунина стол. Тетя Дуня обиделась, сказала про него: «Змеенок, чистый змеенок, гляди, ужалит». А конфету, верно, унесла к себе, потому что, когда Тань Тин пришел посмотреть, ее на столе уже не было. На конфете была бумажка с петухом, очень красивая; он уже решил не есть конфету, и ему не было жалко, а вот бумажку с гордым, златоперым, крутогрудым петухом он бы посмотрел еще раз. Но ее уже не было.

И все-таки ему нравилась тетя Дуня, он ничего не мог с собой поделаться. Тут, пожалуй, впервые столкнулись в его душе две силы: справедливость и верность. По справедливости он не мог ненавидеть тетю Дуню, многое в ней его привлекало. Не умея еще выразить это словами, он помимо воли уважал ее за вечный, молчаливый труд, за темные, грубые руки, за чистоту, которая белой птицей выпархивала из этих рук. Справедливость была за тетю Дуню. А в другую сторону тянула верность: верность своим, тем, чей ты. У своих все было как надо и не могло быть иначе. Справедливость и верность тянули каждая в свою сторону, но верность перетягивала.

Трудно сказать, когда именно маленький Тань-Тин научился читать. Никто его не учил: просто он жил среди книг, читать было естественно, как дышать. И никто над ним не ахал, не удивлялся: такой маленький, а читает.

Откуда-то с уличных вывесок пришли первые буквы. А потом он стал искать и узнавать их в книгах. Были у него буквы любимые и нелюбимые. Самой любимой была «о» — кругленькая такая, уютная, похожая на сливу. А букву «ф» он долго не любил, даже боялся, какая-то кусачая, вроде осы.

Потом из букв стали возникать слова, и он радовался, узнавая их по отдельности. Впрочем, и слова тоже были любимые и нелюбимые. Тань-Тин не любил длинные слова, которые никто не говорил, только в книгах они встречались, оканчивались на какое-нибудь «ающий».

А потом, внезапно, озарением каким-то, он понял, что написанное в книгах имеет смысл, и стал читать уже ради содержания.

Детских книг в доме было немного, он быстро выучил их наизусть и забросил. Там было все слишком понятно. Настоящие книги были другие — на папином столе или в большом шкафу за зеркальным стеклом с косо срезанной гранью. Там они стояли, его разноцветные друзья: голубой Тургенев с золотыми буквами на корешках; коричневый, твердый и тяжелый Гоголь; темно-красная, в двух томах «Война и мир» с таким коротким и грозным названием... И чего только там не было! Он забирался ногами на стул — еще неловкими, коротенькими ногами — и, встав на цыпочки, вытягивал из ряда нужную ему книгу, а иногда, не удержав тяжести, ронял ее, и она падала на пол, расставив обложку домиком. Сначала он постигал книги больше на цвет, на тяжесть, на запах (корешки пахли кожей и клеем), а потом полюбил их за то, что можно было в них прочитать. Глубоко забравшись в старое кресло («вольтеровское» называл его папа), прямо поставив маленькие ноги в тупых башмачках, с большой книгой, развернутой на коленях, Тань-Тин мог читать часами. Он гримасничал, хохотал, шлепал рукой по странице, пел, восторгался. Особенно нравился ему Гоголь — ранний, самоцветный, переливающийся Гоголь «Вечеров на хуторе», «Миргорода»... В этих повестях все было ярко и дивно: небо — голубей голубого, листва — зеленой зеленого. А как сверкал и переливался снег зимней месячной ночью! «Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами...» — читал Костя и обмирал от счастья; он ведь сам видел такой снег! А по снегу, радостно скрипя красными чоботами на серебряных подковках, со смехом и песнями шли парубки и девушки. Все — с черными, огневыми очами, с соболиными бровями дугой, в шитых золотом кунтушах, в алых как огонь свитках... Конечно, не все слова он понимал. Можно было бы спросить у мамы, что они значат, но он не спрашивал, словно боялся: а вдруг понятное станет обыкновенным?

Рос Тань-Тин и все больше становился Костей. Он уже ходил один гулять во двор. У него появился там приятель Серега, соломенно-желтый парень, медленный, как улитка. Они с Серегой пускали по луже бумажные лодочки.

Однажды Серега увлекся, влез в лужу, промочил ноги и помрачнел:

- Мать излупит.
- Как излупит? — спросил Костя.
- Излупит, побьет, значит. Как бьют. А мать тебя, что ли, никогда не бьет?

На эту длинную речь ему понадобилось минуты две.

- Никогда, — сказал Костя, надувшись от гордости.
- Врешь, — усомнился Серега. — Вот уж врешь.

— Хочешь, покажу? — спросил Костя и полез в лужу. Она была глубокая, он быстро вошел в нее по колено, потом пошлепал по воде рукой, не снимая варежки, потом снял шапку и пустил вplash: вот!

— Излупит, — предсказал Серега.

— А вот нет. Она меня никогда не бьет. Давай об заклад! Пойдем ко мне домой. Сам увидишь.

Они поднялись по лестнице. С мокрого Кости текла вода, но он шел гордо, царственно. По лицу черными полосами текла краска — шапка линяла.

Дверь открыла мама. Увидав мокрого Костю, она ахнула и захохотала.

— Снимай, снимай, снимай, — заговорила она, давась от смеха. Села на пол, прямо в мокрое, и стала стаскивать с него рейтузы.

— Видал? — спросил Костя.

— Нешто ему можно в лужу? — подумав, спросил Серега.

— Нельзя, нельзя, — рассеянно ответила она. — Только погоди немного, надо его переодеть, простудится. Сейчас разберемся.

Серега постоял у дверей и понуро поплелся домой. В каких-то своих чувствах он был оскорблен.

Косте было восемь лет, когда мама отвела его в школу.

Школа была неподалеку, на тихой, задумчивой, неширокой улице, а при школе — старый-престарый сад, где дремали, облокотясь на забор, дуплистые, развесистые ивы. Осень едва начиналась, в саду было светло и золото. Ивовые листья, как тонкие пальчики, свешивались с сучьев, только кое-где, чуть-чуть, тронутые желтизной. На площадке для игр, сплошь заросшей за лето курчавой лечебной ромашкой, они с мамой постояли, держась за руки. Все было хорошо, только чуть-чуть тронута горем: кончалось одно, начиналось другое. Косте было жаль одного и хотелось другого, почему-то щипало в носу и хотелось плакать, но он не плакал, только нагнулся, сорвал зеленый шарик ромашки, растер в пальцах и понюхал. Пахло хорошо и горько. Мама сказала: «Пора идти», оба вздохнули и пошли. Костя все мял и крошил рассыпавшийся в пальцах зеленый шарик. Весь день для него пропах ромашкой. Мама подвела его к школьной двери и сказала: «Иди один». Он пошел один и начал учиться в школе.

Сначала ему было плохо, но потом он привык, и оказалось, что в школе не так уж плохо, только шумно. Труднее всего было привыкнуть к шуму. Особенно на переменах. Звонок — и сразу распахивались десятки дверей, и из них, как вода, прорвавшая плотину, вырывалась толпа. Топот ног, визги, смех, крики заливали все. По лестнице, срываясь и закручиваясь, бежал поток: пестрые, синенькие, клетчатые, всякие. Беленькие девочки с узкими плечиками и мышинным писком; горластые мальчики, в синяках и ссадинах,

успевавшие тут же, в толчее, дать кому-то леща портфелем, получить сдачи, да еще и пожаловаться («Марья Николаевна, он меня...» — «А ты что?» — «А я его...»). Гордые старшекласники, резавшие толпу, как парусные корабли. Чья-то брошенная калоша, описывавшая в воздухе высокую дугу... В этой крутящейся гуще Костя чаще всего стоял, остолбенев, и только хлопал глазами...

На уроках было лучше, но тоже не всегда интересно. Бывало даже довольно скучно, по правде сказать, когда всем классом проходили какую-нибудь букву «у» или читали «Мама мыла пол». Писать Костя вообще не любил, палочки ему не нравились: палочки просто, палочки с хвостом — хвостик кверху, хвостик книзу, жирная линия, волосная... Он писал плохо: грязно и нерадиво и уже привык, что ему снижали отметку «за грязь».

А арифметика? Не задачи, а глупость: два да три — пять. Дома они с мамой, возясь на диване, шутя складывали, умножали, делили, уже давно знали двузначные числа, трехзначные, даже миллион!

Словом, Костя ходил в школу, но она его не затронула, прошла по поверхности. Он никого там не полюбил. Он готов был полюбить учительницу Клавдию Ивановну, но не вышло.

Клавдия Ивановна, маленькая, белокурая, похожая на пирожок, нравилась Косте. Он всегда норовил стать ближе к ней, подать ей журнал или книгу. Она говорила: «Спасибо, Левин», — наверно, и не знала, что он — Костя. У нее много было забот с плохими учениками, а Костя был так себе ученик, не плохой и не хороший, то, что называется «успевающий». Довольно способный, но не старательный, на уроках не шалит, на переменах не дерется, нарушений нет, однако пишет грязно. Словом, средний, благополучный мальчик; если всех таких замечать, то и времени не хватит. И вот однажды ей почти пришлось его заметить.

Как-то, в награду за хорошее поведение, Клавдия Ивановна дала внеочередной урок «литературного чтения», читала вслух «Сорочинскую ярмарку». Костя давно знал ее наизусть, но слушал внимательно. И вдруг Клавдия Ивановна ошиблась — да, да, вместо одного слова сказала другое! Костя ужаснулся: читать она не умеет, что ли? И тут же, не успев подумать, поправил ее.

— Левин, садись и запомни: перед тем как задать вопрос, подними руку.

После урока она сказала: «Левин, останься в классе». Он остался, изнемогая от страха перед неизвестной карой, которая его ждала. Но Клавдия Ивановна просто спросила:

— Ты поправил меня, когда я читала. И правда, я ошиблась. Ты что же, читал раньше эту книгу?

— Да, давно уже, — смущаясь, сказал Костя.

— Ты что же, хорошо помнишь «Сорочинскую ярмарку»?

Тут Костю словно прорвало, и он заговорил:

— Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное,

и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшись над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих...

Клавдия Ивановна раскрыла рот, чтобы его прервать. Странное дело, она сама только что это читала, но, слыша те же слова в устах мальчика, усомнилась в педагогичности своего выбора... Рискованные какие-то уподобления...

— Постой, Левин, довольно, — сказала она.

Но Костя уже закусил удила, его несло.

— ...Изумруды, топазы и яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами...

— Перестань, Левин, — решительно сказала Клавдия Ивановна, — хватит, я вижу, ты знаешь. Ты что же, учил наизусть? До каких же ты выучил?

— Я не учил. Я просто запомнил. До конца.

Клавдия Ивановна впервые внимательно посмотрела на Левина. Перед ней стоял довольно миловидный, скорее высокий мальчик, чистенько одетый, с белым воротничком у тонкой шеи, с матово-полупрозрачными щеками и пристальными темно-серыми глазами. В глазах ей почудилась просьба: заметь меня, полюби меня. Мальчик, видно, способный — читает, любит литературу. Заняться бы таким, да некогда. Вот если бы не успевал — другое дело. Сложный народ эти успевающие...

Клавдия Ивановна начала говорить, и речь ее сама покатилась по привычным рельсам:

— Видишь ли, Левин, ты мальчик способный и мог бы учиться лучше. Например, пишешь ты очень грязно. Вместо того чтобы заучивать наизусть материалы, до которых вы дойдете только в старших классах, ты мог бы дома поупражняться, писать буквы...

Костя стоял, опустив голову. И дернуло же его вмешаться, поправить! Клавдия Ивановна уже не казалась ему похожей на пирожок.

Так она и прошла мимо него, как всегда потом проходили мимо него разные учителя, наставники, начальники. Ни теперь, ни после, никогда в жизни не было у него настоящего учителя...

Зато у него была мама.

Он приходил к ней — большой мальчик с драными коленками, — садился к ней на колени и просил:

— Говори.

Она всегда знала, что́ нужно говорить. Всегда они друг друга понимали!

Костя уже перешел во второй класс, уже привык к школьному шуму, сам стал бегать и драться и даже научился писать не так грязно, когда ему впервые довелось узнать, что он — еврей.

Дело было так. На переменке он гонялся за Володькой Жуковым и только что изловчился хлопнуть его сзади портфелем, как тот обернулся, высунул язык и сказал: «жид».

— Что ты говоришь? — спросил Костя.

— Известно что. Жид. Жидюга.

— А что это значит?

— То и значит, что жид. Пархатый.

Косте стало как-то скверно. Слово-то какое: пархатый.

После уроков они с Серегой собрались домой. Серега теперь был большой, а все-таки говорил медленно, туго. В школе его звали Тесто.

Костя хотел спросить у Сереги, что такое «жид», но стеснялся своей несообразительности. А вдруг это все знают? Только у самой двери он собрался и спросил, свысока:

— Послушай, Тесто, кто такой жид?

Серега помедлил.

— Жид? Ну, обыкновенный жид. Еврей, по-вашему.

— По-нашему? А кто ж это «мы»?

— Ну, вы. Евреи, в общем.

— Евреи? Кто это: евреи?

— Кто да кто. Заладил. Да я и сам не знаю по-настоящему.

Еврей — ну, это такие плохие люди. Жиды.

(Фу ты, как тянет. Дать бы ему.)

— И я жид? А почему я жид?

— А я знаю? Наверно, родился такой. Мать и отец у тебя еврей.

Значит, и ты еврей.

— Жид?

— Жид.

— А что такое пархатый?

— Ну, это такой, у кого на лбу прыщи и кожа слезает.

Костя потрогал свой зеркально гладкий лоб.

— Но ведь у меня нет прыщей и кожа не слезает.

— Это так говорят: пархатый. Жид, значит, пархатый. Грязные они...

Костя поднялся по лестнице, отпер дверь своим ключом и вошел. Слово «жид» сверлило ему душу. Что за слово? Где это он его слышал? Или читал? И вдруг вспомнил где. В «Тарасе Бульбе». Там был жид Янкель, который увез Тараса под кирпичами. «Жид» было такое же непонятное слово, как «сорочинский заседатель» или «решетилловские смушки», — все те слова, которые он не понимал у Гоголя, да и не хотел понять. Теперь он хотел понять. Теперь он подошел к шкафу и, не влезая на стул, чуть поднявшись на цыпочки, достал из-за стекла коричневый том. Первый раз он взял его не для наслаждения, а для того, чтобы знать.

...Кажется, это было где-то здесь... Да, точно... Кошевой... Паром подворачивает к берегу... «С бедою», — кричал с парома приземистый казак... Берег весь стеснился в одну кучу... А, вот оно, это место:

«— А вы разве ничего не слышали о том, что делается на Гетьманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Э! Что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слышали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились, и крестились, а еще не видели такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны братья, не может того быть, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!»

Костя читал, жадно глотая слова, перекладывая страницы туда и обратно. Сколько непонятных слов: «клейтух», «аренда», «святая пасха», и среди них «жид», и не просто, а «нечистый жид», «рассобачий жид»... Это слово раньше стояло в ряд с другими непонятными, а теперь вышло из ряда и стало особняком — гадко и грозно.

« — ...Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы. — Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

...Жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались в воздухе...»

Долго читал Костя и не понимал, но чувствовал, что происходит что-то ужасное. Нет, этого слова нельзя было так оставить. Как только придет мама, спрошу у нее. Мама, где же ты? Иди скорей, я больше не могу.

Когда мама пришла, он даже не поцеловал ее, а сразу, в упор, спросил:

— Мама, я жид?

Через полчаса они, обнявшись, сидели на диване. Все было хорошо. Мама — нет, милая Пустякинишна — чудесно ему все объяснила, и он понял.

Были такие плохие люди, давно, до революции: цари. А другие, простые, рабочие, добрые люди хотели их свергнуть, прогнать,

чтобы всем было хорошо. А они, цари, боялись за свою власть. И, чтобы крепче за нее держаться, старались ссорить между собой простых людей. А простые люди были разные: русские, татары, армяне, евреи. Цари, жандармы, урядники натравливали их друг на друга, чтобы помешать простым людям объединиться. Попробуй переломи веник — не выйдет, а по одному прутику всякий переломит. Царям выгодно было, чтобы простые люди друг друга ненавидели, вот они и распускали всякие небывицы. Особенно доставалось евреям. Про них говорили, что будто бы они распяли Христа (кто такой Христос, Костя знал немного от тети Дуни и спрашивать не стал). Больше того: про евреев выдумали, будто они пьют человеческую кровь! Когда в стране было что-нибудь неладно — неудачная война, хлеба не хватало или что-нибудь еще, — цари, жандармы, урядники пускали слух, что виноваты во всем евреи. И русские простые люди, сами не понимая, что делают, шли бить евреев. Это называлось «еврейский погром». Шли и убивали евреев: стариков, старух, малых детей...

Тут Костя даже испугался: так побледнела мама. Но она быстро оправилась, стала как всегда, и он спросил:

— А потом?

— А потом сделали революцию. Прогнали царя. Прогнали жандармов, урядников. Простые люди — рабочие, крестьяне — сами стали править страной. И всем стало хорошо. Все стали равными: русские, татары, армяне, евреи. И сейчас никто никого не может дразнить и бить за то, что он татарин, армянин или еврей. И никогда этого больше не будет.

— Понял, — сказал Костя. — А что такое «жид»?

— «Жид» — это плохое, обидное слово, кличка, которой до революции плохие люди называли евреев. Никогда не говори этого слова.

— Не буду, — пообещал Костя. — А почему он мне сказал «жид»?

— Глупый он, — сказала мама и в первый раз засмеялась. — Услышал где-нибудь и повторяет.

— Что же мне делать, если он опять скажет «жид»? Бить его, что ли?

— Нет, зачем бить? Пригласи его к нам в гости.

Костя ушел гулять, полный новыми знаниями, а Вера осталась одна. Ей было нехорошо, сердце ныло, надо было принять капли, но трудно встать. Ничего, пройдет, так уже бывало. Она закрыла глаза и, в первый раз за много лет, увидела деда и Цилю.

Когда Володька Жуков на переменке опять крикнул ему «жид», у Кости так и чесались руки его оттузить, но он сказал: «Приходи ко мне в гости». Вид у него был не очень гостеприимный.

— К тебе? — переспросил Володька.

— К нам. Мама велела тебя пригласить. Сегодня вечером приходи.

— Очень мне нужно, — сказал Володька. — Чего я у вас не видал?

Но все-таки вечером он пришел. Костя отворил дверь. Володька вошел и мялся. В школе он был бойкий, шkodливый паренек, а здесь почему-то робел. И зачем он только пришел?..

Костя был, как хозяин, приветлив:

— Ну-ну, раздевайся.

Он сам снял с Володьки колушok — предмет зависти всего класса, — повесил, шапку взял из рук и положил на подзеркальник.

Тут вышла маленькая кудрявая женщина, ростом немного выше Кости, улыбулась голубыми зубками и картаво сказала: «Здравствуйте». Это она его на «вы»? Чудно!

Сопя и смущаясь, он прошел в комнату. Она показалась ему странной. Неужели они здесь живут? Нет занавесок на окнах. Нет кровати. Нет картин, фотографий, только один Ленин над письменным столом. Стенные часы, высокие, не висят — стоят на полу, вроде башни. И не идут: сейчас вечер, а на них — половина второго. Маятник не качается. А на письменном столе, на подоконнике, на стульях — книги, книги, навалом. А буфета нет. Где же у них посуда? Может, у них и посуды нет?

Посуда у них оказалась. Костина мать вынула ее из фанерной тумбочки — несколько обмызганных чашек, блюда, ложки, один ножик — и стала на стол накрывать. Костя помогал, уронил блюдечко, разбил — она только засмеялась. Вместо блюда пришлось поставить глубокую тарелку. Костя с матерью потешались, глядя, как смешно и сиротливо стояла синяя чашка на белой тарелке и «для утешения» положили к ней, вместо чайной, столовую ложку, но и этого им показалось мало — дали разливательную, «половник». «Чур, я буду пить из этой чашки!» — завопил Костя. Володька молчал и думал: «А у нас сервиз». И в самом деле, у них дома был чайный сервиз — двенадцать тоненьких, бледных фарфоровых чашек с фиалками, с золотым ободком, и среди них чайник — важный, как учитель. Сервиз стоял в «горке» и подавался только самым почетным гостям. Володю с сестренкой тогда угоняли спать.

Сели за стол. Костина мама внесла целое блюдо теплых, только что испеченных булочек. Булочки — так себе, темноватые, не из лучшей муки, дома у Володьки таких не подавали, гостям особенно. Но Костина мать предупредила: «Кусайте осторожнее, в каждой булочке — сюрприз!» Володька куснул булочку — в ней оказался запечен карандаш на золотой цепочке. Взял другую — в ней перышко! Костя тоже взял две булочки и нашел в одной — крохотную бутылочку, в другой — ключик. «От чего ключик?» — закричал Костя. «От счастья», — как-то загадочно ответила мать. Володька подумал: «А у меня карандашик, это лучше, чем ключик какой-то, от чего, непонятно». Ему хотелось взять еще булочку и посмотреть, что в ней будет. Костина мать, видно, заметила и дала ему третью. Он ее есть не стал (невкусно), а только разломил и вынул крохотную куколку, в полмизинца ростом, стесняясь, положил на стол, сказал

басом: «Сестренке снесу», — и заторопился домой. «Нет, мы тебя еще не пустим, — сказала Костина мать, — а для сестренки я тебе дам еще две — нет, три булочки!», сама пошла в переднюю и сунула в карманы кожанка по булочке, третья не помещалась, она ее положила в шапку. «Нет, она все-таки ничего, — думал Володька, — хотя и странная».

Вернувшись в комнату, они стали играть в какие-то глупые игры. Володьке даже нравилось, но он чувствовал, что глупо. Они завязывали кому-нибудь глаза, катали его по дивану, как мешок, потом он должен был встать и показать пальцем, где дверь, где окно (смеху было, когда ошибался!). Потом они переставили все вещи, из стола сделали дом, из табуретки — собачью будку. Туда влез Костя, согнулся в три погибели и лаял. Тут уж хохотали все, и Володька тоже. Под столом устроили квартиру и стали играть, будто там живут. Сделали из шляпной коробки маленький столик, накрыли: вместо чашек всякая ерунда — баночка из-под горчицы, солонка, чернильница без чернил. В чернильнице чай стал лиловый — Костя его попробовал, по подбородку потекли лиловые слюны. Прежде чем послать Костю умываться, мама еще нарисовала ему на лбу вторую пару глаз. Очень было смешно, но и стыдно немножко. Володька думал: «А еще взрослая!»

Когда вылезли из-под стола и умылись, Костина мама сказала: «Ну, хватит безобразничать, будем играть в писателей». Володька нахмурился: писать он не любил. Но писать оказалось не нужно. Они просто сочиняли рассказы. Один начинал, обрывал на самом интересном месте, потом продолжал другой, потом — третий. Все старались посмешнее. Чтобы трамвай ходил на дуге или бабочка штаны носила... Володька сперва стеснялся (вот уж кто из троих чувствовал себя взрослым!), но потом разошелся и он. Он опьянел от глупостей и хохотал так, что даже в животе кололо. Под конец они устали, вымотались, притихли и только время от времени пофыркивали, вспоминая самое смешное.

Тут неожиданно раздалось шипение, и часы начали бить. С ними это иногда случалось: они начинали самопроизвольно бить в любое время дня и ночи, особенно если Костя перед тем ковырялся в механизме. Усмирить их в таких случаях было невозможно: их клали набок, встряхивали, а они все били. Володька этого не знал и считал удары. Досчитав до пятнадцати, он забеспокоился и вспомнил, что ему строго-настрого велели возвращаться не позже половины десятого. «Ты их не слушай, это они так», — успокаивал его Костя. Но все равно он пошел домой. Эти часы его доконали.

Он долго мешкал в передней, напяливая кожанок, перекладывая булочку из руки в руку. А часы все били. Костя с матерью стояли обнявшись и смотрели на него. Почти одного роста: она маленькая, он — большой. Чужие, какие чужие! Наконец, с трудом он ушел.

Он шел по лестнице и мял булочку в руках. У него было смутно на душе, стыдно, что он хохотал вместе с ними, как маленький. Все

у него там было, в душе: и тоска, и зависть, и гордость: «а у нас сервис». Ну так что же, что сервис?

Сойдя вниз, он бросил булочку, сжал кулак и погрозился кому-то там, наверху:

— У, жида проклятые!

Потом пошел к себе домой.

Когда Костя был маленький, его возили к дедушке на трамвае, а когда он подросток, то стал ездить один.

Дедушка, папин отец, Рувим Израилевич, жил на Петроградской стороне. Дом был когда-то богатый, так называемый «доходный дом», с цветными стеклами, кариатидами, кафельной облицовкой. Теперь все это облезло, облупилось, выкрошилось.

Квартира дедушки была обширная, с высокими потолками, но темная, мрачная. Потолки закоптели еще со времен гражданской войны и военного коммунизма, когда отапливались печурками. Двери были высокие, тяжелые, красного дерева, с фигурными ручками — на них Костя любил кататься, когда был мал. Петли у них пели.

В давние времена в квартире жила большая семья: дедушка с бабушкой, дедушкина сестра, тетя Роза, папа, две папины сестры — тетя Рая и тетя Генриетта. Бабушка умерла вскоре после революции, тетя Рая тоже умерла, тетя Генриетта вышла замуж и уехала в Москву. Папа женился и тоже ушел из дому: «Не могу я жить в таком мавзолее». Остались только дедушка и тетя Роза.

Постепенно их «уплотняли», отбирая одну комнату за другой. Появились разные жильцы, сколько — сосчитать было трудно. Кто-то шумел примусами и ссорился на кухне, а дедушка с тетей Розой под конец остались в двух комнатах. Комнаты были большие, но тесно заставленные. Дедушка с тетей Розой ни с чем не хотели расставаться из обстановки, в каждой вещи была душа, частица прошлого. Отдавая очередную комнату, они нанимали рабочих и покорно перетаскивали мебель к себе. И теперь в двух оставшихся комнатах было темно, всюду гмоздился дорогой хлам — бывшие вещи. Все это пришло в упадок, пылилось, рассыхалось, трещало по ночам: бархатные кресла «жакоб», буфет, торжественный, как саркофаг, и, под стать ему, письменный стол величиной с небольшую площадь, на котором чернильный прибор выглядел какой-то застройкой. Какие-то козетки, веера, альбомы... Было тесно. Но, по традиции, одна из комнат упорно называлась «столовой» — в ней дедушка с тетей Розой обедали, а другая — «спальной» — в ней они спали, разделенные книжным шкафом, из которого порой на постель к Розе вываливались тома. Места в «спальной» было ровно столько, чтобы повернуться, ушибая бока о мебель, раздеться на ночь, лечь и читать. Оба любили читать перед сном и иногда, прочтя что-то интересное, стучали друг другу в шкаф и делились впечатлениями. Они были очень дружны — дедушка и тетя Роза.

Дедушка Рувим Израилевич, по специальности врач-терапевт, теперь, разумеется, частной практикой не занимался, работал в поликлинике. Он пользовался славой отличного диагноста, и к нему охотно шли больные. Кроме того, он читал лекции в мединституте, так что бывал дома немного, только по вечерам. А тетя Роза нигде не работала: она пожертвовала собой для Рувима, чтобы вести его хозяйство. Хозяйничать она, собственно, не умела, но с тех пор как бедный Рувим овдовел, она дала себе слово смотреть за ним и смотрела. По утрам она кричала: «Рувим, ты уже вымыл зубы?»

Тетя Роза была худая, резкая старая дева, горбоносая, с серыми, в коричневых тенях глазами. Профиль Данте Алигьери. Свои редкие, прямые, тонкие волосы она красила в ярко-черный цвет, и сквозь них жутковато просвечивала бледная кожа. На кухню она выходила с лорнеткой и, далеко стоя от примуса, помешивала в кастрюле суп или другое варево. На вкус у нее все было всегда одинаковое: кто-то, кому она верила, научил ее пользоваться специями, якобы полезными для здоровья, и любое блюдо пахло у нее гвоздикой, корицей, лавровым листом.

А бедный Рувим даже не замечал, что она ставит перед ним на стол. Он поздно приходил с работы, с трудом пробирался к столу, усаживался. Роза приносила закопченную кастрюлю с серым супом, от которого сладко пахло специями. Рувим Израилевич машинально глотал суп, отламывал маленькие куски черствого хлеба своей белой рукой, высушенной постоянным мытьем, с большим чистым ногтем на мизинце. Поев, он говорил: «Спасибо, дорогая Роза», вынимал из потемневшего серебряного кольца сероватую салфетку и вытирал всякие, до сих пор черные усы.

Пока Роза убирала со стола, он курил и читал газету — подробно, от доски до доски, бормоча про себя, фыркая и волнуясь. Время от времени он кричал: «Роза, ты слышала? Роза, ты читала?» Это когда его что-то особенно возмущало. Роза спрашивала: «Что тебе, больше всех нужно? Будешь ты иметь покой или нет?» Ха, покой! Нет, о покое не могло быть и речи. Где это видано такое? В основе он был согласен: да, великая революция, да, неслыханный переворот, да, да, все это он знает и со всем согласен. Но частности? Это другое дело. Он вмешивался во все: в политику, внешнюю и внутреннюю, в работу наркоматов и главков, в электрификацию и индустриализацию, черт возьми, в народное просвещение и здравоохранение. «Что я могу — я, рядовой, даже не очень умный врач? — говорил он. — И меня-таки никто не спросит. Но это решение — именно это! — классический случай олигофрении. Нет, хуже — маразма! Роза, ты меня слышишь?»

А тетя Роза предостерегающе говорила:

— Рувим, помни дело Бейлиса.

— Дедушка, что такое дело Бейлиса? — однажды спросил Костя. Это было после очередного спора с тетей Розой. Тетя Роза, даже не убрав со стола, ушла в свою половину спальни — дуться. Дедушка и Костя были в столовой одни.

Дедушка внимательно посмотрел на Костю. Ого, пока он тут старел, маленький мальчик вырос и начинает задавать вопросы...

— Дело Бейлиса? Это очень старое дело. Я бы хотел, чтобы тебе всю жизнь не надо было вспоминать дело Бейлиса.

— А что это было за дело?

Какие серые глаза у мальчика — строгие глаза! Откуда? У Исаака не такие, у Веры — тоже. У мальчика все данные, чтобы расти счастливым. Откуда же такие тревожные глаза?

— Дедушка, почему ты молчишь? Я тебя спросил: какое это было дело Бейлиса?

Ничего не поделаешь, молодые растут, надо им отвечать. Молодые должны знать.

— Гм... Он спрашивает, что такое дело Бейлиса. В мое время не было ребенка, который бы этого не знал. Должен тебе сказать, что это было подлое дело... Очень подлое. Понимаешь ли, в воровском притоне бандюги убили мальчика, Андрюшу Ющинского. Это имя тоже у всех было на языке: Ющинский... Ющинского... Ну вот, они его убили...

— За что убили?

— Гм... Начнем с начала. Постараемся рассказать просто и ясно. У воровки и бандитки... Как же ее звали? На Ч... Вот память! Неужели я мог забыть, как ее звали? Вера Чеберяк, вот как ее звали! Так у нее был сын, Женя Чеберяк. И они с Андрюшей Ющинским дружили, ходили с ним гулять в лес вместо уроков. И вот они однажды играли вдвоем — вырезывали прутики, да, кажется, именно прутики. Чего-то они не поделили. Дети! И Женя Чеберяк говорит: я скажу твоей маме, что ты не учишься, а ходишь в лес гулять. Андрюша в ответ: а я скажу, что у вас на квартире воровской притон. И как ты думаешь? Женя все передал своей матери, Чеберячке. А тут, понимаешь, случилось так, что с той поры у Чеберяков начались обыски. Они и решили, что это Андрюша проболтался, зазвали его к себе в дом и убили. А свалили все на евреев.

— Почему на евреев?

— О боже великий! Вас в вашей школе учат чему-нибудь или нет? Вам говорили про царскую Россию или не говорили? В царской России все было возможно! Правительство натравливало один народ на другой. Это называлось: разделяй и властвуй. Так вот, про евреев пустили подлый слух, что они в свою мацу добавляют кровь христианского младенца. А Ющинского убили как раз в канун пасхи. А мацу евреи едят на пасху. Ты и этого не знаешь? Так знай. Маца — это такой тонкий, сухой хлеб, ничего себе, вкусный. ...Ну, так о чем же я? Да. Вот правительство и решило Веру Чеберяк с ее

бандой скрыть, а в убийстве обвинить ни в чем не повинного еврея Бейлиса. Менделя Бейлиса.

— Почему его?

— Вот это правильный вопрос. С таким же успехом можно было обвинить меня. Это так же было бы похоже на правду. А как было дело? Бейлис светлым днем шел по улице, и кто-то, видишь ты, заметил, что он схватил Андрюшу Ющинского и утащил. А потом мальчика нашли в пещере мертвого, всего исколотого — на нем было сорок семь ран или сколько, сейчас не помню. Говорили даже, что у него на груди была выколота звезда Давида — шестиконечная звезда, ты ее, конечно, не видел, еврейский знак. Ничего этого не было, все начисто придумали, чтобы раздуть процесс. И нашелся ученый — подумать только, ученый! — такой профессор Сикорский (запомни это имя, мальчик!), который подтвердил, что убийство было ритуальным, что именно так добывают евреи для своей мацы христианскую кровь!

Только этому Сикорскому непоздоровилось. Все врачи, вся общественность от него отвернулись. Сам великий Бехтерев принимал участие в этом деле. Он стоял за правду. Большие ученые всегда стояли за правду. Их не так-то легко запугать, великих ученых! А от Сикорского все отвернулись. Киевские врачи сказали: вон! Харьковские сказали: вон! Нет, русские врачи...

— А что было потом?

— Потом? Дело тянулось два года. Андрюшу Ющинского убили в 1911 году, а суд был в 1913-м. За это время правительство поддельвало улики, подкупало свидетелей... Только, видишь ли, они плохо выбрали, кого обвинить. Мендель Бейлис курицы бы не убил — это сразу было видно. Он все плакал, тосковал о своих детях.

В общем, в 1913-м был процесс, судили Бейлиса, и присяжные его оправдали. Каково? Простые люди, все больше крестьяне — нарочно подбирали потемнее, понеграмотнее. Думали, легче их будет обмануть, склонить на подлое дело. Нет, не вышло! Оправдали Бейлиса. Все-таки не смогли уечь его, как Дрейфуса.

— Дрейфуса? Это кто?

— Э, нет, это мы оставим до другого раза. Бейлиса выпустили. А Веру Чеберяк не судили, хотя всем известно было, кто убийца. Должен тебе сказать, что у этой Чеберяк был-таки железный характер! Вскоре после Ющинского она и своего сына убила — тоже, чтобы не проболтался. Этого самого Женю. На процессе об этом рассказывали. Когда Женя Чеберяк умирал — говорят, она его отравила, — при нем до самого конца дежурили двое сыщиков, а мать все мешала ему говорить, не давала сказать ни слова, боялась, что выдаст ее. Поцелуями закрывала ему рот. А Женя перед смертью, в бреду, все поминал Андрюшу Ющинского: «Андрюша, не кричи». А ведь прошло два года. Страшное дело.

Вот так. Я думаю, на сегодня хватит.

Костя шел домой и думал: какие ужасные творились дела до революции, какое это было страшное время! И как хорошо, что с этим покончено навсегда! Революционеры — такие, как папа с мамой (как он рад, что от них родился!), — сделали революцию, чтобы черные, подлые дела не могли твориться!

Он шел пешком — нарочно не сел в трамвай. Вдоль Невы дул холодный и мягкий, бодрый и сырой ленинградский ветер... В темной, ртутно-тяжелой воде дробились желтые огни, и небо торжественно поднималось над домами — темное и лучистое, «наваринского дыму с пламенем». Это отражались в облаках огни иллюминации. Был второй день праздника — двенадцатой годовщины Октябрьской революции. На мосту лопотали под ветром, статно вытянувшись в лучах прожекторов, высокие красные флаги. Костя шел, и грудь его раздувалась от гордости. Его несло ветром, и он чувствовал, как несется вперед его великая страна, надувая красные флаги, как красные паруса.

А дедушка, проводив Костю, лег на свой диван за шкафом, зажег лампу и взял книгу. Нет, читать ему не хотелось. Уж очень расшевелились в нем воспоминания. Вспоминал он те времена, дело Бейлиса и еще раньше — свою молодость, когда он, темный еврей из черты оседлости, решил пробить себе дорогу... Как ему трудно было попасть в гимназию, в университет... Как, живя в Петербурге, он скрывался от полиции, как его вызывали в участок и высылали «по месту жительства»... Черта оседлости. Слово-то какое — «оседлость»! Нет, здесь ты не будешь жить, еврей! Теперь ничего этого нет... Почему же так смутно на душе? Почему все время представляется ему дядя Лазарь, мудрый старик с пейсами, который еще в 1905 году говорил ему: «Э, Рувим, не нами это началось, не нами и кончится. Что же ты, хочешь быть лучше своих дедов и прадедов? Они были евреи, и их гнали, ты еврей — и тебя будут гнать...». Почему книга сегодня валится у него из рук? Ведь это все — прошлое, далекое, подлое прошлое!

— Роза! — закричал он, стуча кулаком в стенку книжного шкафа. За шкафом не отзывались.

— Роза! Ты меня слышишь?

Никакого ответа. Только она не спит, это бесспорно.

— Роза! Ты меня слышишь? Слушай меня, Роза! Я не хочу его помнить! Я-таки забыл дело Бейлиса!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Костино детство кончилось, когда умерла Вера Ильинишна. Ему было тогда тринадцать лет.

Началось это задолго: уже давно он стал замечать, как тускнеет, как желтеет милое лицо, как страшно слипаются повлажневшие кудри. А однажды она подозвала его и сказала:

— Коша, ты уже большой мальчик, и тебе нужно знать (он весь похолодел от страха). У тебя будет маленькая сестричка.

Что он мог сказать? Он опустил глаза и долго разглядывал свои пальцы, все в чернилах. Потом посмотрел на нее непрямо, стыдясь, и спросил:

— Разве это так уж необходимо?

Она расхохоталась — совсем как прежде.

— Не так уж необходимо, — сказала она, — но неизбежно.

Неизбежно! Это был ужас.

Он не мог, не мог этого видеть. Не мог видеть, как постепенно менялась она — его свет, его любимая, его Пустякинишна. Не мог смотреть на растущий живот, который она стыдливо прикрывала платком, наброшенным на плечи. Не мог смотреть даже на платок этот, будь он проклят!

Когда она вставала утром и мучительно разминала на коврик у кровати опухшие ножки, он вспоминал, какие они были прежде — стройные, легкие. Он ненавидел этого ребенка, эту девочку.

Он теперь избегал говорить с мамой, а когда приходилось — глядел вбок и торопился куда-нибудь уйти. Она его не задерживала, только один раз позвала его по старому: Тань-Тин. Он обернулся, у него словно оборвалось что-то внутри, но она сказала: «Ничего, иди, мальчик, иди».

Папа теперь больше бывал дома, почти каждый день. Только и папа был невеселый. Он совсем забросил гитару и больше все свистал или задумчиво выбивал дробь ногтями по своим большим и ярким зубам, прикрывая и открывая рот.

Страшное началось вечером. Мама уже спала, тяжело дыша и всхрапывая, а Костя долго ворочался на своем коротком сундучке — ноги были длинны — и наконец затих. И тут он услышал, как тихими голосами говорили между собой папа и доктор Василий Никитич.

Василия Никитича Костя знал с самого детства. Он был много старше папы, некрасивый, с пестрой бородой. Когда Костя заболел, звали Василия Никитича. Он садился рядом, забывал о Косте и начинал петь: «Тум, тум, тум». Потом рассеянно говорил: «Йодом смазать, йодом смазать», — и уходил. Мама ему очень верила, и в

самом деле, после йода обычно становилось лучше. Приходил иногда Василий Никитич и без всякой болезни, садился с книгой в кресло, ковырял в ухе спичкой, шевелился, молчал, иногда пел. Внезапно говорил: «Ну, хорошо», — и уходил. В последнее время стал приходить чаще.

Костя лежал тихо и слушал разговор.

— Ну, что ты хочешь, — тихо говорил Василий Никитич. — Организм надорван — тюрьмы, голод, сыпной тиф. Тяжелое ранение в семнадцатом году. Все очень естественно и очень грустно. Я бы на твоём месте отправил её заранее в какую-нибудь хорошую больницу.

— Что я могу сделать? Она не хочет.

— Не хочет, не хочет. Многого она не хочет. Сказал бы я тебе, да ты сам знаешь...

— Что я могу сделать? Я пытаюсь смягчить... больше стал бывать дома...

— Любит она тебя.

— Тише, — сказал папа шепотом. — Кажется, мальчик не спит.

Да, мальчик не спал. Он не спал, пока шел разговор, не спал и потом, когда папа тоже лег и погасил свет, не спал и тогда, когда стало светать и мучительно-серым залило комнату.

Что он услышал? Что он узнал? Мама, его золотая мама, его Пустякинишна (кажется, для него одного на свете она сейчас была Пустякинишной!), больна — тяжело, серьезно, опасно больна? Может быть, даже умрет? Нет, не может быть. Такого не бывает. У кого угодно — у него нет. Это все неправда, злая неправда.

Еще не поздно. Он встанет утром, начнет ей служить, все делать для нее, не даст ей шагу ступить, выходит ее, спасет. Скорее бы утро, пусть уже будет утро, чтобы начать ей служить.

А еще что было сказано? «Любит она тебя...» Ну, разумеется, любит! Зачем же говорить об этом? Сказано было так, как будто папа... Нет, невозможно. Сейчас не нужно об этом думать. Только ждать до утра, встать и служить ей.

«Сказал бы я тебе, да ты сам знаешь». Это звучало как «знаешь, что виноват»...

И как ужасно храпит моя милая мама: вдохнет и долго-долго не выдыхает. А раньше она спала так неслышно! Надо было подойти и тронуть пальцем ресницы, чтобы узнать: спит или нет?

...У Кости начали путаться мысли, и сквозь сон ему все казалось, что в комнате храпит его огромное горе, вздувается — и опадает. Под утро он заснул. Ему снилось, будто они с мамой и Володькой Жуковым играют под столом, понатаскали туда с кухни всякой посуды — ведер, кастрюль, сковородок, сидят под столом и брякают. Ему хорошо и счастливо, ничего плохого нет, и она смеется, говорит: «Ты просто видел дурной сон». А он ложится, тут же под столом, головой в ее колени, ноги мешают, но это ничего, он целует маме руки, смеется и плачет. А Володька Жуков бренчит ведром, нарочно громко, отбросит ручку и с размаху кинет. Он

открыл глаза и проснулся. На полу рядом с ним и в самом деле стояло ведро, а подальше — таз. Папа, одетый и очень бледный, с дрожащими руками в закатанных рукавах, что-то делал у дивана. Потом он выпрямился и как-то криво, оступаясь, вышел в коридор. Тут только Костя увидел маму, кинулся к ней. Она лежала желтая, но живая, с бледными губами, и улыбалась. «Ничего особенного», — сказала она.

Папа в коридоре говорил по телефону, кого-то вызывал, кажется «скорую помощь». Кричал. Кажется, договорился. Вошел, сел, сказал: «Сейчас приедут». Схватился за голову, сказал: «Ох!»

Костя сидел на холодном стуле, в одних трусах, и, оцепенев, смотрел на свои худые колени. Они дрожали, он стиснул их руками.

Пришли двое с носилками, папа выгнал Костю в коридор, и он стоял там, стуча зубами. Тетя Дуня подала ему куртку — он оттолкнул ее локтем. Дверь была закрыта, за ней что-то брякало, звякало. Наконец, дверь открылась, и выплыли носилки, а на носилках — она, по пояс укрытая одеялом. Ее уже уносили по коридору. Костя отчаянно бросился вслед. Мама улыбнулась ему, чуть-чуть махнула рукой и сказала чуть слышно, так, что услышал только он один:

— Бедный Пульбик!

Как прошел этот день — понять было невозможно. Должно быть, Костя оделся. Какие-то люди приходили и уходили. Звонил телефон. Папа появлялся, выкуривал папиросу, дергал себя за волосы, опять уходил. За окнами синело небо, потом серело, погасло. Костя не понимал, что происходит, он съежился, одурел, сжимал кулаки в карманах и все время что-то говорил про себя: просил, грозил, требовал. Если бы он умел молиться, он бы молился. То уговаривание, заклинание, которое бормотало в нем непрерывно, было сродни молитве.

А поздно вечером он узнал, что мама умерла. И еще узнал, что родилась маленькая девочка, слабенькая, раньше времени. И что мама захотела на нее посмотреть и сказала: «Циля».

Что же было дальше? Есть такое горе, которое выходит за пределы возможного. И, чтобы не убить человека, оно, должно быть, в самом себе несет свое противоядие.

Костя ничего не сознавал. Может быть, он плакал, а может быть, и нет. Нормальный ход времени прекратился. Время просто несло мимо него, моргая сменами дня и ночи. Он вставал утром, умывался, одевался, даже что-то ел, и не успевал опомниться, как был уже вечер. Лихорадочно тикали часы, надувались и лопались минуты, приходили и исчезали какие-то люди. Кто-то плакал; Костя не слышал этого, только видел: он оглох. Видел он тоже не полностью, пятнами. Такими же пятнами он увидел похороны: яркий весенний день со внезапно пронесшимся теплым дождем, крупные капли на крышке гроба, цветы, земля.

Минутами он так путался во всем, что был положительно счастлив. Что же, может быть! Ощущает же человеческая рука на сильном морозе холодное железо как раскаленное...

И только дней через десять мелькание дня и ночи сделалось медленнее, он начал видеть и слышать, а горе стало на свое место — тяжелое, страшное, но человеческое горе.

Маленькую девочку пока держали в больнице и кормили молоком разных матерей. Это — первое, что стало интересовать Костю. Девочка жила, называлась Цилей, и только о ней Костя смел говорить и думать. А узнавала о ней в больнице тетя Дуня. Каждый день она ходила туда — скромная, согнутая, в темном платке, придирчиво опрашивала врачей и приносила новости: «У Цилечки желтушка», или: «А наша Цилечка сто грамм скушала». Она же и кормила Костю и, пока он ел, глядела на него подпершись, стоя — сидеть она не умела.

— Не могут они там ее держать, — сказала она однажды Косте. — Нету такого закону. Сказали: забирайте свое дитя, а не то в приют. А куда забрать-то? Грехи.

Папа приходил и уходил, а когда приходил, садился за стол и задумчиво наигрывал на зубах. Костя спросил его насчет Цили. Папа рассеянно и небрежно сказал: «Всё решим, всё решим», отвернулся в угол и заплакал.

А в один прекрасный день тетя Дуня вернулась из больницы не одна. Торжествуя, она внесла большой атласно-голубой сверток. Там что-то попискивало: это была Цилия.

— Что ж мы, не уходим, что ли, девку-то? — презрительно сказала тетя Дуня. — Надоели: берите, бабушка, ребенка. А я и не бабушка. А взять — почему не взять. Девка хорошая. И одеяло ей справила, и пеленки. Жаль только — голубое, на мальчика, надо бы розовое.

Сверток с Цилей положили на высокую, нарядную кровать — ту самую, которой издали любовался когда-то маленький Тань-Тин. Кровать не так была хороша, как в детстве, но все-таки хороша. Тетя Дуня с гордостью развернула одеяло. В пеленках копошилось что-то красное, жалкое. Особенно раздрающе-жалки были красные, кривые ножки, в палец толщиной. Они дергались, словно пытались бежать, и не могли. Свернутая набок помятая головка раскрыла рот, и оттуда послышался даже не писк — шип...

— Кушать хотим, кушать хотим, — приговаривала тетя Дуня. Костя смотрел, полумертвый от жалости и отвращения. А она быстро, умело перепеленала девочку, сделала из нее плотную куколку и подала Косте.

— Подержи девку-то, а я тем часом молочка погрею.

Костя взял куколку дрожащими руками. Это нелепое существо было живое, мигало, его страшно было уронить, его жалко было до смерти.

Тетя Дуня вернулась с бутылочкой. Лежа у Кости на руках, девочка жадно ухватилась деснами за черную резиновую соску и забулькала.

— Ест... — молитвенно сказал Костя.

— Про младенчика нельзя так: ест. Кушает младенец, — сказала тетя Дуня.

...Младенец кушал, а внутри у Кости что-то жгло. Он стоял, держал девочку и плакал.

И пошла жизнь. Костя все еще не утвердился обеими ногами во времени. День и ночь он уже стал различать, а недели и месяцы — нет. Все шло как-то боком, косо — как в начале обморока. В школу он не ходил — начались каникулы — и весь погрузился в ту ритмичную суетню, которая всегда стоит около грудного ребенка. День был рассечен на части — Цилей. Семь раз в день ее нужно было накормить, два раза — вынести гулять и несчетное число раз — сменить пеленки. Костя давно уже победил свою мальчишескую брезгливость и теперь ловко, даже с удовольствием, подмывал и подпудривал Цилю. Он научился ее пеленать и иной раз делал куколку получше, чем сама тетя Дуня. Когда никого не было, он даже пел над ней побабьи: аа-а! Но стоило кому-нибудь войти, он сразу же клал девочку в корзину. Это была старая, та самая корзина, в которой лежал когда-то Тань-Тин, голубой от счастья. Тетя Дуня нашла ее на полатях, вымыла, выпарила и покрасила розовой масляной краской.

Костя охотно помогал тете Дуне — стирал пеленки, бегал по магазинам. Она нахвалиться им не могла: «Не парень — золото!» А он просто спасался мелкими этими делами от мыслей, от страха памяти.

Некрасивые девушки — тети Дунины дочки, — приходя с работы, тоже нянчили, тетешкали маленькую Цилю, хотя мать и сердилась на них порой: «У семи-то нянек без чего дитя? Без глазу!» Генрих Федорович тоже приходил, вздыхал, говорил по-немецки: «Бедно дитя!» Тетя Дуня примирилась с его сочувствием, только когда он стал мастерить для Цили настоящую кроватку, с сеткой. «Нехристь, а руки-то золотые!» — говорила она про него.

Приходили тетя Роза с дедушкой. Тетя Роза велела Косте развернуть Цилю и долго разглядывала ее в лорнет, заслоняя им слезы. Дедушка сидел в кресле и трогал усы. Уходя, он погладил Костю по плечу и высморкался. Костя его понял.

Каждое посещение тетя Дуня встречала в штыки. Молчала из вежливости, но сердито двигала стулья.

Где все это время был папа? Костя не заметил. Прошло, может быть, два месяца, а может быть, и больше с тех пор, как привезли

Цилю (Костя все еще не нашел себя во времени), когда папа, сумрачный, поиграв на зубах, сказал ему:

— Ну, Костя, ты уже большой мальчик, и я должен поговорить с тобой серьезно.

Костя побледнел. «Ты уже большой мальчик...» — кто это говорил, когда? Какой ужас пришел за этим? Какой ужас придет сейчас? Костя верил уже в любой ужас. Все возможно, все.

— Не пугайся, — сказал папа, — ничего страшного нет. Дело... ну, словом, дело в том, что я собираюсь жениться.

Костя молчал.

— Тебе это может показаться странным... ну, поспешным... Поверь, что так нужно. Ты спросишь — кто она? (Костя ничего не спрашивал. Ужас был тут, и он его принял.) Это одна женщина, хорошая женщина. Моя сослуживица. Хорошая женщина, — с каким-то отчаянием повторил он.

Костя все молчал.

— Тут, конечно, нужно принять какие-то решения. Насчет тебя, Циля... Ты будешь жить с нами. У Валентины Михайловны хорошая квартира, две комнаты. Тебе место найдется. Перейдешь в другую школу... Насчет Циля я уже говорил с бабушкой и тетей Розой. Они ее берут.

«Берут, — думал Костя. — Слово я умер.»

— Эту комнату мы оставим за собой... Тебе она пригодится, когда вырастешь.

— Нет, — сказал Костя. — Я не хочу никуда уходить отсюда. Я хочу остаться здесь с Цилей и тетей Дуней.

— Ты говоришь глупости. Ты еще мал, чтобы жить один. А тетя Дуня — что такое в конце концов тетя Дуня? Посторонний человек.

— Это я посторонний человек? — Дверь раскрылась, как в театре, и вошла тетя Дуня. Должно быть, подслушивала.

— Тыфу на тебя, кобель проклятый! — заявила она, сверкая глазами. — Неуж мы девку не уходим? Уходим. А парня твоего неуж не уходим? Уходим. Золотой парень. А ты к своей мамзели катись колбаской, катись, батюшка.

И Костя стал жить с Цилей и тетей Дуней.

Стал жить... Но что оставалось от жизни? Не было ничего, что он любил раньше. Не было никого. Об отце он не мог даже думать. Он запретил себе слово «папа». Отец. Чужой человек.

Этот человек иногда приходил, приносил деньги, глядел рассеянно и грустно на маленькую Цилю или, сидя за столом, наигрывал на зубах. Костя ненавидел эту его привычку, ненавидел яркие, большие зубы. Неужели это — тот самый человек, бог-огонь его ранних лет? Он искал и не находил в себе искорки прежнего чувства. Напротив, с мучительным злорадством отмечал злые

черточки времени на когда-то прелестном облике: ранние сединки в поредевших кудрях, красные прожилки на глазах, дряблую вялость кожи. Жалок был этот человек — вот что! Жалок, но презренен. Костя запретил себе его жалеть.

А иногда отец приходил не один — с Валентиной. Эту Костя ненавидел открыто, даже не давая себе труда быть вежливым.

С первого же раза, когда отец предупредил, что придет с нею, Костя ошетинился и приготовился ненавидеть. Это ему удалось. Он увидел средних размеров даму лет тридцати. Расстегнув в передней меховую шубку, она повернулась спиной к отцу и молча, одним движением плеч, сбросила ее. Шубка не должна была упасть на пол и не упала — отец подхватил ее и бережно повесил на распылку, которую вынул из портфеля. Валентина Михайловна, не глядя на него, оправляла волосы перед зеркалом — быстрыми мотыльковыми движениями, как это умеют женщины, устраняя тот беспорядок прически, который никому не виден, кроме них самих. Костя смотрел на эти движения и со вкусом ее ненавидел. Он даже был благодарен ей за то, что ее оказалось так легко ненавидеть! Он возненавидел бы ее в любом случае, но она облегчила ему задачу.

Она вошла в комнату. Изящно одетая, в тонком розовом джемпере, напудренная розовой пудрой, с розовыми локтями и ногтями — фу ты, черт, сколько розовости! Что-то кондитерское, с кремом.

Валентина Михайловна, поджав губы и локти, оглядывала комнату. Сразу было видно, что ей здесь не понравилось.

Костя тоже оглядывал комнату. С его точки зрения, здесь сегодня был порядок. Он сам уложил, перетер книги, спрятал в шкаф вороха пеленок. Старался. Но взгляд розовой гостьи повел его за собой, и он увидел чужими глазами старые, потемневшие обои в косых клетках, фанерную тумбочку, закоптелый чайник, наконец, кровать, в которой, играя красной тряпочкой, лежала Циля. На Цилю взгляд упал в последнюю очередь и выразил грациозную брезгливость. Легко переступая ножками на тонких, французских каблучках, она подошла к кровати и не спеша выразила на лице подобающую нежность. Наклонилась, почмокала розовыми губами и воскликнула: «Какая прелесть!» Постояв так минуту или две, она обернулась к отцу и шелковым голосом пропела:

— Ну, что же, Саша, как я и ожидала, здесь есть над чем поработать. Бедная малютка! Никаких условий. Надо будет взять все это в свои руки.

— Убирайтесь вон! — неожиданно для самого себя сказал Костя.

— Как это: убирайтесь вон? — спросила она и погрозила ему розовым пальчиком. — Так воспитанные дети не говорят. Уверю тебя, Саша, — она снова обратилась к отцу, — он у тебя запущен. И немудрено: им же никто не занимался!

— Валя! — умоляюще сказал отец.

— Что Валя? Он же мне сказал грубость. В других обстоятельствах я бы на него обиделась. Но, учитывая, что мальчик недавно потерял мать, очень переживает, я готова ему простить.

Костя стоял, слепой от гнева и от желания бить ее, бить по розовым щекам. Запущен!

— Валя, мне кажется, нам лучше на первый раз уйти, — сказал отец задушевым голосом.

(Ведь он-то все понимал, как же он мог?)

— Уйти? С удовольствием! — щебетнула она. — Навязчивость не в моей натуре. До свидания, Костя. Не думай, что я на тебя обиделась. Я понимаю твои переживания. До свидания, моя прелесть! — (воздушный поцелуй — Циле). Мы еще сюда наведаемся. Саша, идем!

Она выпорхнула, как балерина со сцены. Отец задержался.

— Костя, — заговорил он, мучительно запинаясь, с каким-то отвращением, — я знаю, ты меня осуждаешь... В каком-то смысле ты прав. Я и сам... ну, да что говорить. Одно прошу — не торопись. Только не торопись. Когда ты вырастешь и кое-что поймешь в жизни...

Костя молчал. Какое-то это все было знакомое... Где-то он уже читал такой разговор отца с сыном. «Вырастешь — поймешь». Нет уж, если на то пошло, он не хотел вырастать!

— Саша! — раздался повелительный окрик.

— Иду-иду.

Отец вышел. Костя смотрел сзади на его косую, сбивчивую походку, такую точно, какой он вышел к телефону в то утро. Словно дверь была слишком велика, чтобы из нее выйти.

— Ну что, ушли мамзели-то? — послышался голос, и вошла тетя Дуня. Она теперь называла Валентину Михайловну не иначе, как во множественном: «мамзели».

Костя кивнул. Он не мог прийти в себя: первый раз в жизни он сказал кому-то «убирайтесь вон»...

— Глазами-то поди шастала-шастала: то не так, да это не так. И верно, ремонту у нас с тобой не было. Моя вина. Вот погоди, деньгами разживемся, справим ремонт.

Костя вспомнил про деньги. Он видел, как отец исподтишка, воровски вынул из кармана голубой конверт, оставил на столе. Проклятые деньги. Он подал конверт тете Дуне.

— Швырнул, как псу подачку, — сказала она, вынимая и пересчитывая бумажки. — Плюнуть бы в морду ему, да нельзя. Цилечке пальто надо, коляску. То да се. И то сказать — не возьмешь, больше мамзелям останется. Чулочки шелковые, пудра-помада, тьфу!

Костя рванулся к ней:

— Тетя Дуня! Верьте честному слову: вырасту, выучусь, сразу начну работать! Маленьких нигде не берут, я справлялся. Закон не позволяет. Вырасту и начну, буду работать день и ночь, много

заработаю, и у вас и у Циля будет все, что нужно. Тетя Дуня, верьте мне, верьте!

Ему стыдно было, что он кричит такими словами, тоже будто из книги, но сейчас он не мог выбирать слова. Он уткнулся в ее плечо и заревел, как маленький. Плакал яростно, громко, с отчаянием, но и с радостью. Плакал и сморкался в темненький головной платок. Ах, черт возьми, ему было все равно, куда он сморкался! А она гладила его и приговаривала:

— Дитяtko мое, сыночек. Дал же мне господь на старости лет.

Все-таки в покое их оставлять не хотели. Однажды пришел дедушка и сказал:

— Костенька, я пришел тебя просить, мой мальчик: пойдём жить к нам с тетей Розой. Мы тебя просим.

— А Циля? — ревниво спросил Костя.

— Циля, конечно, тоже.

Костя подумал. Мысленно он видел темные комнаты, мебель до потолка... Цилю кроватку среди хлама... Нет. Представил себе тетю Розу с Цилей на руках... Нет.

— Нет, — ответил он. — Не поеду. Цилю здесь лучше.

— Что ж, — сказал ему дедушка, как взрослому. — Тебе решать. Я так и знал, что ты не поедешь. Роза — прекрасная женщина, золотое сердце, но у нее не было детей. Девушка. А какая была красавица! Розалия Левина. Лучше ее не было во всей Одессе. Даже налетчики снимали шляпы, когда она шла по Дерibasовской. А замуж не вышла, нет.

— Почему?

— Это целый роман. Был у нее жених — Хаим Гертман. Прекрасный юноша. Так они его убили. Сослали на каторгу и убили. Роза сошла с ума. Но ее лечили лучшие психиатры Одессы — и вылечили. Тогда она дала клятву, что не выйдет замуж до самой смерти, и выкрасила волосы в черный цвет. А до того у нее волосы были — червонное золото...

«У всех горе, — думал Костя, когда ушел дедушка. — А раньше я жил и не замечал, что у всех горе...»

Наступила зима, и Костя почти привык к своей новой жизни. Он ходил в школу, учился — не хорошо и не плохо, никак. Это было неважно — ученье. Он там, в школе, никого не любил. А любил он Цилю.

Она сидела в кроватке — смешная, в темных, милых, отдельных кудряшках, протягивала ручку и говорила: «Э!Э!» Он всегда понимал, что ей нужно, подавал соску, зайчика, мяч. Когда она ласкалась к нему, гладила ему лицо шелковистыми ладошками, он весь обмирал. Всюду была ложь, во всем, кроме этих ладоней, легких, как бабочки.

Радости его шли теперь только от Циля. Циля первый раз села сама... первый раз громко рассмеялась... сказала «дядя»...

Или тревоги: Циля чихает... Циля проглотила пуговицу...

Все это были события первой величины. А за ними, в фоне, шли другие, маленькие: получил «плохо» по алгебре... подвернул ногу на лестнице... закат был необыкновенный...

Все-таки он начинал понемногу различать цвета. Значит, жизнь к нему возвращалась.

Весной Циля стала ходить. У нее был рахит, кривые ножки, долго не зарастало темечко (о, эта пульсирующая ямка на голове, к которой он не мог прикоснуться без страха и умиления!), и все-таки она пошла вовремя. Только долго боялась ходить без поддержки. Костя давал ей в руку корзиночку: она шла сама собой, держась за корзиночку, и ей было не так страшно. Милая! Солнце стало чаще заходить в комнату, и Костя забавлял Цилю, пуская по стене радужный зайчик. А когда развернулось лето, часто увозил ее за город, в Озерки.

Озерки. Эти три озера он знал с самого детства, да и кто из ленинградцев их не знает? Три тихих озера, отделенные друг от друга песчаными холмами и соснами. Которое было лучше? Пожалуй, все-таки третье, с кладбищем. По крутому откосу к самому берегу спускалось старое кладбище, и оттого, что оно было старое, на нем было светло и весело. Могилы заросли крапивой и малиной, в разбитых фарфоровых венках возилась птичья мелюзга, и даже колокол, тренькавший на потрепанной колокольне, звучал похоже на бубенчик. Костя сажал Цилю на теплый песок (ему говорили, что это хорошо при рахите), она перебирала его прозрачными пальчиками и радовалась. А Костя смотрел на озеро, еще закрытый от него душой, но уже видел синеву воды, синеву неба, жемчужную розовость облаков и как-то сопротивлялся им: никак не хотел признаться себе, что жить можно.

А на следующую зиму произошло событие: у Кости Левина появился друг. Нестеров Юра.

Это был мальчик не из их группы, а из параллельной. Костя еще в прошлом году его приметил: высокий, гибкий подросток, шустрый, как ящерица, с тысячью гримас на подвижном, узком, красивом лице. Чем-то он раздражал Костю: слишком заметный, но чем-то и нравился. Улыбка плутовская, набекрень.

В тот памятный день, когда они стали друзьями, что-то их обоих задержало в школе, они вышли оттуда в синих сумерках и случайно попали оба в драку с хулиганами. Хулиганы были местные, считали, что вечер — их время, и Косте пришлось бы худо — на него сразу набросились трое, — если б не Юра. Вдвоем они отбились — тут еще замаячил вдали милиционер, и враги бежали. Нет, дело было не в милиционере: просто они, вдвоем, так надавали тем троицам, что те бросились врассыпную.

У Юры шла кровь носом. Костя заставил его лечь в сугроб, носом к небу, и стал унимать кровь снегом. Снег сразу намокал черными в темноте пятнами; Костя отбрасывал комья в сторону. Юра лежал, красивый и серьезный, как раненый воин. Кровь, кажется, унялась. «Лежи и не вставай!» — приказал Костя.

Юра все смотрел в небо темными, увеличенными темнотой глазами и вдруг сказал:

И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы...

- Как, ты это знаешь? Читал? — изумился Костя.
- Я-то читал. Это Фет. А сам-то ты знаешь? Читал?
- Еще бы! Читал и помню:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира...

Юра перебил его:

Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира...

...Давно забытые колючие пузырьки пошли у Кости по спине. Юра вскочил на ноги и засмеялся.

— Ты, я вижу, парень что надо. Дерешься как бог, Фета знаешь... Давай дружить, а?

Так Константин Левин нашел друга.

Теперь он был в школе не одинок. Теперь он ходил туда совсем иначе: радовался, ждал.

— Здравствуй, старик, — говорил Юра на перемене, как бы сплевывая в сторону. — Как жизнь?

— На большой палец, — отвечал Костя.

— С присыпкой?

— А как же.

— Ну-ну. Хиляй, фрайер.

— Наше вам с кисточкой.

Это они так маскировались. Настоящее — после школы.

Они выходили в холодную синеву вечера, брали в руки по снежку и, кусая снег, чувствуя зубами ноющий и сладкий холод, начинали читать стихи. В воздухе темнело, а они шли, шли. Их выносило на Неву. Они останавливались у гранитного парапета, у ступеней, чуть винтом уходящих вниз.

Широкое, как степь, синее снежное поле. В промоинах у берега — маслянистая, черная вода. А вдали, звездами, огни.

Будущее представлялось им безграничным. Оно было как огромная сумма, которую можно истратить так, а можно и эдак, и до поры до времени все — твое.

Костя был молчалив и скорее медлителен, Юра — прыток и непоседлив, и все-таки они жить не могли друг без друга. Ходили по городу — вместе. Уроки готовили (или не готовили) — вместе. Чаще у Кости, реже — у Юры.

У Юры тоже не было отца, но была мать — тонкая, высокая женщина с растрепанными волосами, сумбурным взглядом и вечной папирасой во рту. Дома она обычно лежала и читала, запустив руку в волосы. Когда к ней обращались, она поднимала невидящие глаза и с трудом приходила в себя. Кругом грязь — окурки, юбки. Иногда она замечала Юру и начинала целовать его и плакать. Он брезгливо отряхивался, как кот от воды.

— Это она такая с тех пор, как фатер ее бросил, — сказал однажды Юра Косте наедине.

Костя промолчал. Он отца ненавидел, но все-таки не мог бы сказать о нем «фатер».

В другой раз, когда Юра опять упомянул «фатера», Костя не выдержал и спросил:

— Ты своего отца не любишь?

— Любишь — не любишь — плюнешь — поцелуешь... За что мне его любить? Я вообще считаю, что любовь к предкам — предрассудок. Я же их не просил производить меня на свет. Подумаешь, разодолжили.

Нет, куда лучше было готовить уроки в Костиной комнате!

Юра приходил, верткий, как змейка, и Циля сразу начинала смеяться. Она забиралась к нему на колени, теребила его за уши, вцеплялась в волосы. Он говорил с ней церемонно и снисходительно, как король:

— Юная леди! Вы снова промочили ваш великолепный туалет. Если не возражаете, я готов оказать вам небольшую услугу...

Циля заливалась хохотом. Она его обожала.

Тетя Дуня тоже как-то по-своему одобрила Юру: «Деловой парень. Не тебе, рохле, чета».

Чем Костя был действительно обязан Юре — так это спортом.

Спорт как-то прошел мимо его детства. Разумеется, были коньки на дворе, летом — плаванье, вернее, барахтанье с мальчишками в речке, в пруду, до одури, до лиловой гусиной кожи. От Юры он впервые услышал в применении к спорту слово «работа»:

— Я работаю на кольцах...

На взгляд Юры, Костя со своим книжным воспитанем, был смешон:

— Ты же совершенно не тренирован. У тебя не мускулы, а сопли.

Костя был высоким для своих лет и довольно сильным. В школе он считался из стоящих драчунов. Но с Юрой он справиться не мог. Тот бил, как молния, — точно и неотразимо.

...Не отстать от Юры! Сколько раз он себя пришпоривал: не отстать от Юры! Почему только «не отстать»? Нет, через Юру, дальше Юры — вот чего он хотел. А мало у него было этих точек, где он пошел дальше Юры.

Немецкий язык. Костю выучил немецкому Генрих Федорович. Юра немецкого не знал.

Зато он, черт возьми, великолепно знал английский! Когда-то, еще при «фатере», к Юре ходила англичанка, а он был переимчив, как попугай. Костя знал английский только по убогому школьному курсу, то есть мог с грехом пополам слепить две-три фразы о том, как угнетены рабочие в капиталистических странах. Мертвый язык.

От Юры он узнал, что у языка может быть душа, выражение лица.

— Смотри, — Юра показывал ему строку в английской книге, — как это у него сказано! Никакой перевод не в силах передать. Юмор в самой расстановке слов.

Костя глядел и не понимал. Бернард Шоу. В лучшем случае он мог понять отдельные слова, но юмор в расстановке слов — это было выше его, дальше.

Костя начал сам заниматься английским. Он брал книги в библиотеке, по Юриной рекомендации, выписывал и прилежно зубрил слова. Скоро он знал уже много, удивительно много слов (больше, чем по-немецки!), но до юмора все еще было далеко...

То же и со спортом. Все движения можно было постигнуть, а юмор в расстановке движений — нет.

Юра был дьявольски талантлив в движениях. Глядя на него, думалось: вот человек талантливо поднял ногу, талантливо нагнулся, остановился... На него никогда не надоедало смотреть, как не надоедает смотреть на морские волны... Конечно, у Кости такого таланта не было. Но все-таки он был довольно силен и ловок, а главное — очень старался. Через год с чем-нибудь он был уже почти вровень с Юрой, а кое в чем даже его обогнал. Например, на коньках он бегал лучше. Юра коньков не любил, у него мерзли ноги...

Зато на лыжах они ходили вместе и вровень, и как это было прекрасно!

Раньше Костя знал только летний лес — тощий, засоренный газетами лес ленинградских пригородов. Там он всегда старался не смотреть под ноги, чтобы не видеть мусора.

Юрин зимний лес был весь — одна сверкающая драгоценность. Великолепно-тяжело повисшие сосен, обремененные целыми снежными подушками. А под соснами — голубой, ноздреватый, небывало чистый снег, с протаявшими в нем дырочками от упавших хвоянок, с крестиками птичьих лап, с мягко примятыми следами

лисы или зайца... А главное — солнечный свет и небо. Прохладное, синее, невинное зимнее небо с отчетливыми на нем вершинами сосен. Каждая ветка — вся наяву, на свету, в хрупком солнце.

Мальчики шли, один за другим, по лыжне или нетронутым снегом. Лыжи свистели, палки поскрипывали. Время от времени они бросали друг другу короткие фразы, как бы слетающие с концов палок. Под свист лыж, в движении, фразы получались особенно ритмичными и значительными. Так, идя гуськом, они могли сказать друг другу куда больше, чем сидя рядом. Иной раз, спиной к Косте, Юра становился даже почти сентиментален. Так, на лыжах, Костя узнал про Юрину няню. Юра любил свою няню больше всех на свете, но она умерла.

А красота в лесу была почти невыносима. Она еще тем была особенно прекрасна, что недолговечна. Зимний день, не успев пожить, тут же кончался. К вечеру снег розовел, покрывался пеплом и гас, чтобы под месяцем снова воскреснуть и засиять уже синим.

И все-таки были две вещи, о которых Костя никогда не говорил с Юрой: мама и революция.

Про маму он вообще ни с кем не мог говорить, и это уже навсегда. И революция была где-то там же, в одном ряду с мамой. И безмерно много значила для Кости.

Так ли для Юры? Он сомневался — и боялся проверить.

Сам-то Костя хорошо знал — чей он. С самого детства знал: судьба, верность, честь. Родители делали революцию — он должен продолжать их дело.

Маленьким, еще до школы, он запомнил 24-й год — похороны Ленина. Они стояли с мамой на улице, в морозном страшном чаду, когда все остановилось: люди, трамваи, пока тянулся рвущий душу крик фабричных гудков — крик горя, вырвавшийся из легких страны. Мама плакала — и он с ней. Он хорошо это запомнил.

А еще он помнил, как мама — он уже был постарше — повела его на Марсово поле, к памятнику жертвам революции. Они обошли все камни и постояли у каждого, молча читая надпись. Восемь каменных плит, на каждой — стихи. Без запятых, без точек. Только крупными буквами выбиты отдельные, самые важные слова...

Потом, когда мамы уже не было, Костя иногда ходил на Марсово поле один. Он молча обходил камни и читал торжественные, давно уже вырезанные в памяти строки, — и каждый раз ему казалось, что он прикоснулся к великому.

К сонму великих
ушедших из жизни
во имя жизни расцвета
ГЕРОЕВ ВОССТАНИЙ
разных времен
к толпам яacobинцев

борцов 48
к толпам коммунаров
ныне примкнули
сыны Петербурга
.....
Не жертвы — герои
лежат под этой могилой
не горе а зависть
рождает судьба ваша
в сердцах
всех благодарных
потомков
в красные страшные дни
славно вы жили
и умирали прекрасно
.....

Косте казалось, что здесь — настоящая мамина могила. Здесь, а не там, на Волковом кладбище, под невыразительным жестяным обелиском с надписью:

Вера Ильинишна
БЕРГМАН-ЛЕВИНА
1893–1930

Он приходил к ней сюда — на Марсово поле...

.....
Не зная имен
всех героев борьбы
кто кровь свою отдал
род человеческий
 чтит безыменных
ВСЕМ ИМ В ПАМЯТЬ
и честь
этот камень
на долгие годы
поставлен
.....

...«Всем им в память и честь» — значит, и ей тоже...

Костя никогда еще никого не приводил сюда. А теперь все чаще и чаще хотелось ему прийти сюда с Юрой. Испытание, что ли, какое-то? Одним ли мы живы? Только неясно было, как об этом сказать самому Юре. Долго не мог на это решиться и наконец решился.

Ранним вечером ранней весны они, как обычно, вышли из школы вдвоем.

— Пойдем на Марсово поле, — внезапно сказал Костя. Вид у него был такой, будто он, по меньшей мере, приглашал Юру подраться. У них в школе это было принято — такие вот, без предисловий, вызовы на поединки.

— Зачем? — удивился Юра.

— Нужно.

— Нужно так нужно. Пойдем.

Отказываться от вызовов у них было не принято.

Костя шел, преодолевая смутное чувство тоски. Он, кажется, жалел, что позвал Юру. Эх, не надо было! Пока он сомневался, они уже пришли.

— Ну, что? — спросил Юра. — На каком оружии? На кулачках или на ножичках?

Костя не понял.

— Драться ты меня, что ли, сюда привел? Нашел место, — сказал Юра.

— Да что ты. Драться! Мне это и в голову не приходило.

— За каким же чертом?

— Читай.

Костя повел Юру, и они вдвоем, как когда-то Костя с мамой, как когда-то Костя один, пошли вдоль восьми камней, читая надпись на каждом...

Неужели Юра не поймет, зачем он его сюда привел? Нет, конечно, поймет. Вот он стоит и читает, внимательно, молча, водя глазами по строкам, останавливаясь на тех, что крупнее, возвращаясь к началу, снова читая все до конца...

Ветер треплет упрямый Юрин чуб, плотно сложены упрямые Юрины губы. Юра читает, работая лицом, и снаружи видно, как волнами ходят в нем строки:

по воле тиранов
друг друга терзали
народы
ты встал трудовой
Петербург
и первый начал войну
ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ
против всех угнетателей
чтоб тем убить
самое семя войны
.....

Вот и все восемь камней. Все прочтено.

— А знаешь, кто это писал? — спросил Юра.

— Не знаю. А ты?

— А я знаю. Раньше тоже не знал, а теперь знаю. Это писал Васисуалий Лоханкин. Тот же стиль:

Волчица ты. Тебя я презираю.
К любовнику уходишь от меня...

Костя неожиданно ударил Юру по лицу. Тот резко мотнул головой и уронил портфель. Лицо его бледнело, но он молчал. Костя с ужасом следил, как вместе с бледностью на лице проступало понимание, и, наконец, Юра понял. Он подобрал портфель и, не оглядываясь, пошел прочь.

Костя остался один. Не помня себя, он стукнулся лбом о шершавый гранит. Что он сделал? Юру, единственного друга... Но он же не мог иначе! Или мог? Или должен был?

Никогда еще его душу не тянуло так в разные стороны. Казалось, слышно было, как она трещала, разрываясь. Справедливость и верность. Где была справедливость? Где была верность? Он один, смертельно один.

Весь этот вечер Костя шатался по городу — взлохмаченный, дикий, потеряв где-то шапку, размахивая портфелем, время от времени ударяя им о стенку. Он думал и не мог свести концы с концами.

Уже около двенадцати он позвонил у Юриной двери. Юра еще не спал.

— Прости меня, — сказал Костя.

— Пустяки, проходи.

Юрина мать уже спала. Они сидели на сундуке в передней, говорили шепотом и не могли наговориться.

— Видишь ли, я много думал об этих вещах, — говорил Юра, — и пришел к выводу, что ни из чего не нужно делать фетиша. Я — человек по природе нерелигиозный. Ты — наоборот. Родись ты до революции, ты был бы монахом. Кстати, откуда такая формулировка: «родись ты»? Да, вспомнил. Это Суворов. «Родись я Цезарем, я был бы горд, но избежал бы его пороков».

— Родись я до революции, я был бы революционером, — отвечал Костя.

— Ну, это как сказать. Родись ты у своих родителей, ты покорно стал бы революционером. Родись ты в религиозной семье, ты стал бы монахом. Тебе свойственно без критики принимать то, чему тебя учат.

— Ну а ты? Кем бы ты был, родись ты до революции?

— Родись я до революции, я был бы собой — таким, как сейчас.

— Неверно, Юра, — скромно возражал Костя, — неужели для тебя ничего не значит то, что сейчас происходит?

— Значит, но не больше, чем внешняя обстановка. Не позволю же я обоям формировать мою душу.

— Обои! Это все для тебя — обои?!

— Надо быть объективным. Люди более или менее везде и всегда одинаковы. Легковерие — один из самых распространенных пороков. Говори человеку по сто раз в день, что он — самый умный,

самый счастливый, что страна у него самая прекрасная, а руководители — самые великие, и он поверит. Читал Киплинга, «Книгу Джунглей»?

— Угу.

— Конечно, читал, но не вдумывался. Тебя там занимали, как любого мальчишку, приключения Маугли, Шер-Хана, Балу. А хорошо ли ты вдумался в Бандар-Лог?

— Бандар-Лог? Это, кажется, племя мартышек?

— Это наше, человеческое племя. И в частности, наша страна. Они кричали: «Бандар-Лог — самое великое племя в джунглях. Что Бандар-Лог говорит сегодня, то джунгли будут говорить завтра». Они все время хвастались и воспевали себя. Постой, как это?

На полпути меж месяцем и вами
Несемся мы воздушною толпой.
Завидуете вы, что мы с руками?
Что гордо так наш выступает строй?
Наш хвост согнут, как лук у купидона.
Хотелось ли бы вам иметь такой?
Смеетесь вы? О, стоит ли вниманья!
Ах, у мартышки чудный хвост какой!

Правда, похоже? И вместе с тем у них ни на что не хватало терпения. Они не могли довести до конца ни одного дела. Они хватали какую-нибудь вещь, живую или мертвую, два-три дня с ней носились, а потом забывали ее или просто роняли. И могли при этом уронить до смерти... Каждая вещь, с которой носится Бандар-Лог, может быть в любую минуту уронена до смерти...

«...Нет, видно, Юра прав, и я по природе несамостоятелен, — думал Костя, возвращаясь домой. — Почему я не мог ему возразить? Ударить — это не возразить. Плохо, что я его ударил, это от бессилия. Надо было сказать ему так, чтобы он почувствовал, но я не нашел таких слов. Может быть, я еще найду, и тогда он поймет. Я не могу с ним разойтись. Я его люблю.»

Это было весной 1932 года. И той же весной Костя влюбился.

Девочку звали Вероника. Красивое имя! На небе есть созвездие Волосы Вероники — Костя читал у Фламариона. Волосы Вероники. Он повторял эти слова и видел волосы Вероники, всегда беспокойные, крупными темно-белокурыми волнами мечущиеся вокруг лица.

Вероника была подвижна, как юла, как черт, и волосы всегда летали вокруг ее небольшой головки. При каждом повороте они вспархивали и снова ложились.

Костя впервые ее увидел на занятиях в гимнастическом зале. Тонкая девочка, напряженно стоя на одной ноге, обеими руками подводила другую сзади к закинутой голове. Голубая майка и черные трусики скупно подхватывали и почти не скрывали костлявое тело подростка. Единственная стоящая ножка в гимнастической туфле напряглась до того, что покраснела.

Костя думал пройти к кольцам, но остановился и глядел на Веронику. Она скосила на него глаза, опустила ногу и встала.

— Ты чего? — спросила она, переводя дух.

— Я ничего, — ответил Костя и пошел к кольцам.

Вероника тряхнула волосами, стала в прежнюю позу и начала снова, осторожно, как стеклянную, подводить ногу к голове.

Костя был сражен. В раздевалке он небрежно спросил одного мальчика:

— Не знаешь, кто это?

— А, с ногой? — не удивился тот, как будто знал, о ком можно спрашивать. — Это новенькая, из другой школы перешла. Кажется, Вероника Викторова. Ничего, только задавака. Воображает.

Вероника Викторова...

Эту ночь он не спал. Стоило закрыть глаза — и он видел тонкие руки, напряженно закинутае за голову, старенькие черные трусики, в полосках ребер костлявую грудь, на которой еле заметны были плоские, прижатые майкой выпуклости, а главное, эту единственную, покрасневшую, чуть колеблющуюся ножку.

Он несколько раз вставал с постели, чтобы прикрыть спящую Цилю, — она спала безмятежно и не думала раскрываться. Он стоял возле нее на гладком холодном полу. «Хоть бы она заплакала, что ли», — думал он. Он стоял долго, коченел, снова ложился, боролся со своими холодными ногами, закрывал глаза, не спал и снова видел в темноте Веронику.

Потом он часто видел ее наяву. То на шведской стенке — высоко распростертую черно-голубым крестиком. То на баскетболе — нервно попрыгивавшую на упругих ногах, теребя от нетерпения колени. То на перемене — бегущую, увертливую, такую быструю, что нельзя было рассмотреть, какого цвета у нее глаза.

Нет, это не была та первая любовь, о которой пишут в книгах. Ту он знал наизусть и был к ней готов. А в нем делалось что-то страшное. Весь день он ходил одурелый, с мутной головой, видел Веронику и дрожал. А ночью не спал и тоже ее видел. Иной раз измученный бессонницей, он ложился на голый холодный пол — и становилось легче. Хóлода, хóлода ему было нужно. Чем-то холод был связан с ней, с Вероникой.

Была уже весна, ветер тянул с Невы и пахло ладожским льдом. Ладожский лед шел по Неве. Костя с Юрой вышли после уроков на набережную. Нева была холодная, густо-синяя. Льдины, зеленые, шли, громоздясь и опадая. Тяжело и медленно разворачиваясь, они сталкивались, влезали друг на друга, давили друг друга и со звонким шорохом рассыпались на длинные иглы. Что-то в ледоходе было похожее на Веронику. Глядя на лед, Костя рассказал Юре все: что влюблен. Что плохо.

— Тут нет ничего особенного, — сказал Юра. — Напрасно ты так волнуешься. Обыкновенная юношеская любовь.

— И у тебя так было?

— Сколько раз.

— Нет, у тебя так не было, — сказал, содрогаясь, Костя. — Или я тебе плохо рассказал. Я, понимаешь, вывернут. Сломан.

— Уверяю тебя, вполне заурядная вещь. Прими это как факт. Кстати, кто такая? Вероника Викторовна? Что-то не припомню такой. Должно быть, не очень хорошенькая. Я бы знал.

«Хорошенькая, — думал Костя. — Она не хорошенькая. Разве ладожский лед — хорошенький? Просто взяла меня и держит».

— Ну, ладно, я этим делом займусь, — сказал Юра. — Посмотрю, как и что. За тобой нужен надзор, а то свихнешься.

Когда Костя в гимнастическом зале издала показал Юре Веронику, тот не пришел в восторг.

— Ничего девочка. Впрочем, именно ничего. В смысле: ничего особенного. Ноги не вполне прямые. Легкий «икс».

— Что такое «икс»? — спросил Костя с отвращением. Он не должен был позволять так говорить о Веронике.

— «Икс» — это кривизна ног коленями внутрь. Обычно — следствие рахита.

«...Следствие рахита! — думал Костя, глядя на изумительные танцующие движения Вероники (она делала упражнения на бревне). — Рахит — и Вероника! Абсурд. Рахит был у Цици — ножки колесиком, а теперь все прошло, и ножки прямые, как соломинки...»

А у Вероники и в самом деле были чуть-чуть, самую малость, сведены колени. Это и сводило его с ума, когда он глядел на ее ноги.

— Пускай «икс», — сказал он. — Мне все равно.

— Ну, я вижу, ты окончательно одурел и за себя отвечать не можешь. Тебе нужно с ней познакомиться, она сама тебя вылечит. Таковую вещь страшнее всего загнать внутрь.

И Юра их познакомил.

— Мой друг, если в данном случае уместен столь торжественный термин. Константин Левин. Читала «Анну Каренину»?

— Не-а! — сказала Вероника и мотнула волосами. Как она смотрела на Юру — словно молодая пантера на укротителя.

— Это несущественно. Ну, будем считать знакомство состоявшимся. А теперь я вас оставляю одних, у меня другие неотложные дела. Пока!

Костя с Вероникой остались одни.

«Почему у других людей все получается складно, а у меня так нелепо? — думал Костя, разглядывая пол. — Юра много раз влюблялся, и ему хоть бы что. А я...»

Вероника глядела насмешливо, поколачивая ножкой об ножку, и явно ждала от него каких-то слов или действий. А он потерял их все — и слова и действия...

А у нее, Вероники, оказывается, зеленые глаза. Зеленые и игольчатые. Ладожский лед.

— Вы мне очень нравитесь, — наконец произнес Костя и вспотел. Боже, какую чушь он сказал! Какое отношение это имело к холоду, к бессонным ночам?

— Я многим мальчикам нравлюсь, — сказала Вероника. — В меня даже один взрослый дядечка влюблен. Честное комсомольское.

Что здесь происходило? Чепуха какая-то, бессмыслица. И все-таки он ее любил. Любил ли? Да, наверно, любил. Нелепость!

— Давайте пойдем когда-нибудь в кино, — предложил Костя. Вот это было лучше: вполне нейтральная фраза.

Из Вероники словно горох посыпался.

— Пойдем. Кино я люблю. Монти Бенкса видел? Шик-блеск. А «Встречный» — буза. Меня разные мальчишки в кино водят. В самые последние ряды — во! А в театре — в самые первые. В кино дорожке задние ряды, а в театре — передние. Я кино больше люблю. Только чур не целоваться! Я вас, таких, знаю. Затащит — и целоваться.

Костя шел домой и раздумывал: почему это он один такой нелепый, так не умеет жить? Вспоминалась ему восточная поговорка: «Падают камень на кувшин — горе кувшину. Падают кувшин на камень — горе кувшину. Так или иначе, все горе кувшину».

И черт его угораздил родиться кувшином, которому все горе!

И все-таки он ее любил. И они ходили в кино. Добывал, спрашивал у тети Дуни деньги на задние ряды...

Милая темнота! Как четко светлел в ней тонкий, правильный профиль Вероники! Когда она не жеманилась, не махала волосами, это была сама красота, античная гемма. Играла музыка, а Вероника молчала. Он мог любить ее, сколько хотел.

Ни разу он не поцеловал ее, даже не пробовал. «Я вас, таких, знаю...» Пусть она знает кого угодно — его она знать не будет.

Ужасен был разговор, по пути в кино и обратно. Вероника моталась и лепетала, как осина под ветром. И откуда такой поток пошлостей? Он готов был закричать ей: «Замолчи, не мешай мне тебя любить».

Туфли она называла «баретки». «Фасонистые баретки». Говорила: «У моей сестры много отрезков». Отрезами мерила счастье. А Костя до встречи с ней и не знал, что такое «отрез».

Она была сирота, жила у сестры. Не очень-то ей сладко там жилось! Кормить — кормили, одевать — не одевали. Мечтала кончить школу и выйти за «богатенького». (Одно это уменьшительное от слова «богатый» приводило Костю в ярость.) Лучше всего — за иностранца. Торгсин, боны... Ужас какой-то!

Костя слушал и изнемогал. Боже мой, как они могут соединяться: эти движения и эти слова? Эти волосы и эти слова? И как он сам тут запутался — между словами и волосами?

На лето Вероника уехала в деревню. Костя и Юра остались в городе. Они брали с собой Цилю и увозили ее куда-нибудь позеленее, подальше. Ей было уже три года, кудряшки у нее отросли, на

них даже можно было завязать бант, она была чудесна, говорила, говорила без умолку, переходя от Кости к Юре, от Юры к Косте, и оба хохотали над ее словечками. Такая крошка, до чего же она была умна! Как он ее любил! При ней он мог не думать о Веронике.

Но вечером, когда, уложив Цилю, мальчики оставались одни, снова являлась Вероника и стояла перед Костей на одной покрасневшей ножке. И снова он любил ее и разрывался.

Юра все понимал. Он даже про кувшин понимал, хотя сам был камнем.

— Видишь ли, Костя, — говорил он очень серьезно, очень сочувственно, — ты просто попал в беду. Упал. Хорошее есть выражение у англичан: to fall in love. Буквально — упасть в любовь. Вот ты и упал. Провалился. Ничего. Куда можно упасть, оттуда можно и вылезти.

«Слова, — думал Костя. — Тебя бы ко мне внутрь».

Вот и осень, начало занятий. Завтра он увидит Веронику. Завтра!

Костя подошел к ней в коридоре. Она стала еще красивее: загорелая, с отросшими волосами, и каждая прядь позолочена солнцем, словно присыпана золотой пудрой. Вероника едва кивнула.

— Пойдем сегодня в кино? — предложил Костя.

— Не знаю. Делов много. Управлюсь, может, пойду.

Вечером на обычном месте ее не было. На другой день она даже с ним не поздоровалась, посмотрела, как на пустое место.

— Не торопись кончать с собой, юный Вертер, — сказал Юра. — Я поговорю с твоей Шарлоттой и постараюсь выяснить, что к чему.

После занятий Юра поймал Веронику на школьном дворе. Она кусала травинку и переступала с носка на пятку. От нее шло беспокойство, как от молодой лошади. Она по-лошадиному косила зеленым глазом, готовая в любой момент взбрыкнуть и понести. Юра впервые начал понимать, чем она понравилась Косте, но был сух, официален.

— Послушай, Викторова, в чем дело у тебя с Левиным? Дружила-дружила, а теперь не хочешь.

— Не хочу и не хочу. А на кой он мне сдался? Нудный он. Вот с тобой я бы пошла.

— Речь не обо мне. Я, если хочешь знать, вообще такими делами не занимаюсь. Речь о Левине.

Вероника рассеянно слушала, следя глазами за чьей-то парой ног в ярко-оранжевых ботинках.

— Шикарненькие джимми, — заметила она. Потом подняла голову и взглянула на него — прямо и одновременно косо.

— Меня один дядька в кино снимать хочет, — вдруг сказала она. — Красота моя, говорит, прямо заграничная.

— Заграничная дура, вот ты кто.

Юра повернулся и ушел. В классе ждал его Костя Левин.

— Ну, как?

— Черт знает что такое. Глупа, как ягодицы.

И все-таки Костя сам подошел к Веронике. Промучился самолюбиво целую неделю, не выдержал, подошел. Она хотела вернуться.

— Вероника, я не дам тебе уйти, пока не скажешь: что случилось? Почему ты не хочешь больше дружить... ходить со мной?

— Не хочу и не хочу. Мое дело. Не привязанная небось.

Ее глаза ускользали. Эх, ему бы один раз поймать их, посмотреть в них прямо, и он бы все понял. Но нет, они слишком быстро двигались. Костя взял ее за руку и стиснул. Она стала выкручивать руку.

— Вероника, я все равно тебя не пущу, пока ты не скажешь.

Он делал ей больно, а она все выкручивала руку и покраснела малиновым румянцем.

— Пусти, тогда скажу. Подумаешь! Возьму и скажу.

Костя отпустил руку.

— Не хочу я с тобой гулять, — закричала Вероника. — Что это за гулянье такое? За все время хоть бы что подарил. Маньке Витька ожерелье справил, браслетку под золото. Да и девчонки смеются: нашла, говорят, себе кавалера. Жиды, они, говорят, все такие, сквальжные!

Костя повернулся и отошел. Он не обернулся. Совсем. Никогда. Ни разу.

Удивительно, как на этот раз Костя мало страдал. Любовь с него слезла, как кожа с небольшого ожога. Через три месяца он уже мог говорить обо всем с Юрой.

— Глупа, как ягодицы, — сказал Юра.

— Глупа — это само собой. Но ведь не свои же слова она повторяет. Нет, Юра, скажи, в чем все-таки корни антисемитизма?

— Трудно сказать. Корни нужно искать в истории. А разве мы знаем историю? Нам преподавали обществоведение, и то плохо. Ничего мы не знаем. Кругозор крота.

— Но у нас-то нет еврейского вопроса. Лучше всего об этом сказано в «Золотом теленке» — помнишь? Евреи есть, а вопроса нет. Именно так! Нет у нас этого вопроса! Пусть отдельные, глупые... как ягодицы... повторяют с чужих слов «жид». У нас это не имеет корней. В царское время правительству было это выгодно («По воле тиранов друг друга терзали народы...») — мысленно прочел Костя. У нас это никому не может быть выгодно.

— Мой дорогой, — сказал Юра. — Ты говоришь почти как Софья Яковлевна. Жаль, что она тебя не слышит — порадовалась бы. Плоды.

Софья Яковлевна преподавала у них обществоведение («общество», как это у них называлось). Член партии с 1910 года. Она лично знала Ленина. Черноглазая, фанатичная, с туго обтянутыми скулами, с туго повязанной красной косынкой на черных прямых волосах. Лет сорока — сорока пяти. Без семьи, без привязанностей,

кроме одной, поглотившей всю жизнь. «Вероятно, так выглядел Савонарола», — говорил Юра. И верно. Могла бы взойти на костер, как Савонарола. Могла бы и книги жечь, как он. «Дети, наша советская власть...»

«Кругозор крота», — сказал Юра. Ничего не скажешь, верно.

Эту зиму Костя и Юра решили посвятить кругозору. Они запоем ходили в Публичную библиотеку.

Косте библиотека казалась какой-то современной церковью. Тихо, торжественно в больших высоких залах. Пахнет книгами. На длинных, массивных вековых столах — лампы с зелеными абажурами. От каждой — круг, и в круге — склоненная голова. Время от времени кто-нибудь встает, тихо собирает книги и тихо, на цыпочках, проходит между столами. Склоненные головы остаются склоненными.

Они вошли в братство склоненных голов. Подолгу рылись в каталогах, разыскивая интересные книги. Что-нибудь подиковиннее. Сегодня это был Фрейд, завтра — Эйнштейн. Китайское искусство... История магии и колдовства...

Они делились своими находками.

— Послушай, что я сегодня прочел, — говорил, например, Костя. — Это из записей Джироламо Кардано. Автора знаменитой формулы Кардано, которую он, кстати, стащил у Тартальи...

— И карданова подвеса, которого он, кажется, не стащил...

— Того самого. Так слушай, что он пишет, этот Кардано:

«Я обладаю от природы философским и способным к науке умом. Я остроумен, изыщен, приличен, сладострастен, весельчак, благочестив, верен, друг мудрости, мыслящий, предприимчив, любознателен, услужлив, соревнующ, изобретателен, учен своими собственными усилиями, стремлюсь к чудесам, хитер, ожесточен, сведущ в тайнах науки, трезв, работающ, меланхоличен, коварен, предатель, колдун, маг, несчастный, не любящий своих, склонен к одиночеству, противен, строг, предсказатель, ревнивец, шутник, клеветник, податливый, изменчивый — вот какие во мне противоречия характера и поведения».

— Это ты к чему мне показываешь?

— Просто интересно.

— Ох, врешь. Это ты про меня, сукин сын.

В общем, Костя был, пожалуй, даже счастлив, если вдуматься. У него была Циля. У него был Юра. У него был дом — та самая комната, в которой так и не собрались переменить обои — светлые, в крупных косых клетках. И у него была тетя Дуня. Его семья — Циля и Дуня. Здесь он был спокоен. Здесь все было твердо.

А ведь он стремился к твердости, устойчивости с самого детства. И теперь он боялся бы слишком большого счастья. Как бы

не ушло. Пусть лучше будет малое счастье — за него так не боишься.

Но вот, постепенно, семья его стала распадаться. Даже тут, в малом счастье, достала его судьба.

Началось все с того, что к Шуру — младшей тети Дуниной дочке — присватался жених.

Шура была некрасива и хорошо это знала. Ей было лет двадцать восемь, и она давно перестала мечтать о замужестве, а впрочем, кто ее знает? Может, и мечтала. Во всяком случае, для Кости она была далеко от таких мыслей — невзрачная, косенькая, с крупными веснушками на носу. Краснела от любого слова, к ней обращенного. А вообще была тиха: Костя едва знал ее голос. Как будто не знала, с какого звука начать, и умолкала, не заговорив. Болезненно любила детей. Встретит Цилю в коридоре, схватит, подымет на руки и прижмет — бледная, с закрытыми глазами. Костя не любил этих судорожных порывов, но, справедливости ради, сдерживался.

Трудно было представить себе, чтобы какой-то мужчина полюбил Шуру. Но это случилось. Во всяком случае, у нее завелся жених.

Какие-то смотрины устроила тетя Дуня, или как их там — сговор, что ли. Гостей было человек тридцать. Костя, теперь уже взрослый, был приглашен к столу. Тетя Дуня раздала всем вышитые полотенца — оказывается, их полагалось разложить на коленях, а он-то и не знал. Вообще, он был в обычаях не силен — тоже пробел в кругозоре...

Тетя Дуня из всех границ вышла, чтобы не ударить в грязь лицом. На столе — водка, вина, закуски, пироги — «цельный бал», как выразилась гостья в бархатном зеленом платье с золотой бахромой. В ушах у нее качались серьги горного хрусталя, лицо — запудрено прямо по морщинам, и вообще она была страшна, Костя старался на нее не глядеть из приличия....

Он сегодня не обедал, неосторожно выпил натоцак, и теперь у него звенело в голове, и было ему грустно, горько. «Чижик, чижик, где ты был? На Фонтанке водку пил». Ему было жаль, что уже никто не может запретить ему выпить водки...

Напротив сидел Генрих Федорович, почти ничего не ел и не пил, только жевал усы. Костя впервые за долгое время всмотрелся в лицо своего старого друга... Давно он не заходил к нему, не слышал скрипки! Как много часов потеряно, как много музыки, и невозвратно! Как постарел за это время Генрих Федорович! А черная кошка Тилли — та давно умерла. «Наверно, это была кошка Амальхен», — грустно думал Костя. Впрочем, вряд ли. Амальхен, кажется, умерла еще до революции. Кошки не живут столько лет... Он смотрел поочередно на каждого из присутствующих и думал с каким-то злорадством: а ведь кошки твоего возраста все уже умерли! Впрочем, он был пьян.

...Кошки недолговечны. А люди? В сущности, и люди недолговечны тоже. Это нам только кажется, что жизнь бесконечна. А на

самом деле и мне отмерен предел. До двухтысячного года я уже не доживу. А хотелось бы... Люди не живут столько лет. Генрих Федорович это знает и, наверное, потому такой грустный...

«Вот я ходил за кругозором и был счастлив, — думал Костя, — а рядом со мной была скрипка, и я о ней забыл. Завтра же пойду к Генриху Федоровичу...»

Во главе стола сидел жених. Косте он, прямо сказать, не нравился: мордастый, румяный, красивый по-своему, с плоскими кудрями на припомаженной голове (именно кудрями он до одури поразил Шуру). На нем был распахнутый новый пиджак, красные помочи и ярко-голубая, небесного цвета рубашка, воротник проколот булавкой с шариками. Он был очень доволен собой и все время читал нравоучения. «Я про себя скажу, мамаша», — обращался он к тете Дуне. А она даже не присела за стол — все по хозяйству. Одно за другим появлялись блюда: жареный гусь с яблоками, поросенок с петрушкой в зубах... Каждое новое блюда встречалось одобрительным рокотом. Жених кричал, ел руками, но с приличием, обтираясь полотенцем. Каждый раз, когда тетя Дуня входила с очередным блюдом, жених обращался к ней: «Я про себя скажу, мамаша...», но она опять ускользала. Приходилось ему адресоваться гостям. Он объяснял им, что он непьющий, некурящий, что он «с самой титьки» был самостоятельным, не то что другие, и теперь вот до всего достиг и даже жениться может, в рассуждении площади. Себя он называл «работник прилавка», работал он в каком-то закрытом распределителе, вероятно — крал.

Рядом сидела Шура, онемевшая, вся — глаза, почти хорошенькая от счастья. Кто-то крикнул «горько!» — она стала малиновой до синевы. Жених снисходительно и, наверно, мокро ее поцеловал, а она смиренно сказала: «Спасибочки вам».

Под конец жених изрядно напился, начал куражиться: щипал Шуру в неподобающие места, икнул, выругался, раза два стукнул кулаком и гаркнул: «Все мое будет!», потом вдруг обратился к Косте и завопил:

— Знаю я вас! Я из вас сделаю Гришу с Мишей!

Костя встал из-за стола и выпрямился. Полотенце упало — к черту. Хмель уже улетучился, одна тоска осталась. Он смотрел в наглое, блестящее лицо жениха и тосковал.

— Знаю я вас! — еще громче заревел жених, продираясь к Косте.
— Не позволю!

— Чего, собственно, вы не позволите? — холодно спросил Костя.

— Не позволю! — орал жених. — Я человек самостоятельный, работник прилавка. Чтобы моя мамаша в прислугах у них жила... Пеленки жидовские стирала... Не позволю, и конец. Я работник прилавка. Я не то что жену мою Александру Петровну — слышишь, Шурка? — я, если хотите знать, и сестрицу ихнюю, Настасью Петровну, и мамашу, и всех прокормлю!

— Вы пьяны, — сказал Костя.

Работник прилавка завизжал поросычьим голосом и кинулся в драку.

Ох, с каким наслаждением Костя размахнулся и стукнул его по челюсти! Одно из величайших наслаждений — дать в морду, когда морда того стоит! Жаль женщин — они его лишены...

Жених театрально шатнулся и упал на пол. Гости заахали, запричитали, впрочем довольные даровым спектаклем. Метнулась с кухни тетя Дуня. Вышитое полотенце с петухами, со славянской вязью намочили, прикладывали к пострадавшему месту. Про Костю забыли. Он стоял растерянный. Он, гуманист, ударил человека в лицо и, о ужас, был счастлив...

На него наскочила тетя Дуня и стала выталкивать за дверь:

— Иди скорее, иди, Костенька, грех-то какой...

Готовилась свадьба. Тетя Дуня, еще больше потемнев лицом, скребла, чистила, крахмалила, гладила. На полах появлялись новые домотканые дорожки, неизвестно из каких сундуков вынутые. Фикусу подвязывали ветки розовыми лентами...

Тетя Дуня по-прежнему заботилась о Косте и Циле, но как-то сумрачно. Однажды Костя застал ее с Цилей на руках; Циля говорила: «Дудя, не плачь». Увидев Костю, тетя Дуня сразу же пришла в себя, заговорила о деле:

— Носки-то дай мне, постираю.

— Тетя Дуня, я сам. Некогда вам, я ведь вижу...

— Да уж постираю.

Костя начал искать носки.

— Годы мои, — сказала тетя Дуня. — Не те уж годы мои. Да и о девках надо подумать. Не чужая кровь — своя. Все жалко. Да и то сказать — косенькая она у меня. Вы, говорит, мамаша, бога день и ночь должны молить, что взял я ее.

— Скотина он, — пламенно сказал Костя.

— Скотина не скотина, а я своему дитя не враг.

На свадьбе Костя, разумеется, не был.

Всю ночь в соседней комнате гроыхало тяжелое, страшное веселье. Там кричали частушки, пол ходил под чьими-то слоновыми пятками, слышались визги: «И-эх!», звенела разбитая посуда, вопили «горько!...».

«Нет, должно быть, я все-таки не русский, — думал Костя, накрыв голову одеялом. — Почему бы иначе мне было так это все противно, до ненависти? Частушки, слоновьи пляски, водка, жених в голубой рубашке, кровь с молоком — этакий добрый молодец. Алеша Попович! Петушки, гребешки, вышитые полотенца — так называемый "русский стиль". Почему противна мне опера "Руслан и Людмила"? Лебеди на огромных блюдах, Баян в бутафорских лаптях... сусальные пряники... Неужели потому, что я еврей? Неверно! У меня нет еврейских корней. Я не знаю еврейского языка. Я не слышал еврейских песен. Кто же я? Где моя родина? Где моя Россия?»

«Нет, Россия — это не то, — думал дальше Костя, — это не гусли и не частушки, не битье по морде и не "И-эх!". Не этот, толстомясый, в голубой рубашке. Россия — это не благочиние пополам с грязью. Россия — это другое. Герцен был немец по матери и жил за границей, — продолжал думать Костя, но мысли его путались: он засыпал. — Но Герцен был русский, русский... Россия — это совесть. Русский — тот, у кого болит, всегда болит чистая, но отягощенная совесть. По совести узнаешь русского. Русский — это кувшин. Так или иначе — все горе кувшину. И я русский, русский...»

Костя спал.

Утром, еще сквозь сон, он услышал стук в дверь.

Костя спал и спорил с кем-то во сне, слышал стук и не мог проснуться, напротив, стук странным образом вливался в спор: что-то вроде аргументации. Если он сейчас проснется, то предмет спора — очень важный — будет забыт. Но все-таки пришлось проснуться.

— Кто там?

За дверью молчали.

Костя вылез из-под одеяла, отворил дверь. На пороге стоял Генрих Федорович, бледный.

— Я пришел проститься с тобой, — сказал он, видимо, приговоренную фразу по-русски, — я должен уезжать.

Костя еще не вполне проснулся, в голове еще звучал спор, это было очень важно, и особенно ему помог стук. Но он просыпался, и решение ускользало необратимо.

— Куда уезжать? — спросил он досадливо.

Генрих Федорович перешел на немецкий язык — так ему было привычнее. По-русски он говорил с Костей редко. Костя, постепенно просыпаясь, постепенно понимал, в чем дело.

Генриха Федоровича высылают из Ленинграда.

За что?

За немецкую фамилию.

За фамилию?

Нет, собственно, за то, что у него в паспорте стоит: немец.

И за это можно выслать? У нас? Невероятно!

Невероятно, но, видимо, это так.

Костя одевался, путаясь в брюках, Генрих Федорович ждал у порога. Он повел Костю к себе. В комнате было голо, все вещи спрятаны или убраны, и от каждой вещи там, где она стояла, лежала или висела, оставался только отпечаток. И на стене — овалный отпечаток: там, где была Амальхен.

— Я продавал свои вещи, — сказал Генрих Федорович, снова переходя на русский (так было торжественнее). — Отсюда я взял только свою одежду и Мальхен. Но скрипку не мог продавать. Скрипку я оставляю тебе.

— Генрих Федорович! Вашу скрипку? Почему вы не берете ее с собой? Ведь она легкая, много места не займет...

— Мне не нужно будет скрипку, — сказал Генрих Федорович, и, глядя ему в лицо, Костя понял — и правда, не нужно.

— Почему, почему вы мне раньше не сказали? — твердил Костя.

— Зачем? Ты бы не мог мне помочь. Возьми скрипку.

Он вынул скрипку из футляра, тронул пальцем струну (маленькое, оборванное рыдание), уложил инструмент обратно и отдал футляр со скрипкой Косте. Костя стоял, держа его, как ребенка... Как когда-то в первый раз держал в руках Цилю...

— Я сохраню ее до вашего приезда.

— До моего приезда? — Генрих Федорович чуть-чуть улыбнулся. Стало ясно, что он не вернется.

— Адрес свой, адрес оставьте, — повторял Костя со скрипкой в руках. Но Генрих Федорович сам не знал своего адреса. Пока что он ехал в Чебоксары, но его предупредили, что это еще не пункт назначения. Из Чебоксар его отправят еще куда-то...

— Куда бы ни отправили, пишите!

— Другие не пишут.

...Как он говорил: «Чебоксари»...

А в комнату Генриха Федоровича въехала Шура с мужем, Алешей Поповичем. Он получил ордер. Конечно, это он донес на Генриха Федоровича. Он и не скрывал. Когда он говорил: «площадь», слово жирно, хищно свистело у него во рту. Костина комната тоже была «площадь». Вероятно, он надеялся получить и ее — в свое время.

Тетя Дуня совсем потеряла характер. Она стала бестолкова, часто роняла вещи, те самые, которые прежде так ее слушались. Однажды, разбив фарфоровую чашку, она заплакала.

— Подумаешь, чашка, — сказал Костя. Он был воспитан в презрении к вещам. — Было бы здоровье.

— Кабы моя. Алексея Федорыча...

Оказывается, Алешу-то Поповича и в самом деле звали Алексеем.

— Потрафляю-потрафляю, — забормотала тетя Дуня, — не могу им потрафить, Алексею Федоровичу. Годы мои такие. Не те годы. Глупа стала. Алексей Федорыч — самостоятельные. Неуж я не понимаю? Они по своей солидности разве такую могли за себя взять? Давеча как стукнут по столу: давай, мамаша, отрез на костюм! А откуда у меня отрез? Целу жизнь слезами умывалась. Нету у меня отрезков. Я им говорю, а они мне: «Молчать!» Грехи.

— Сволочь он! — Костя даже зубами скрипнул.

— Что ты, Костенька, грех тебе. Не сволочи они, а только характерные...

А однажды он увидал уже совсем невероятное: тетя Дуня сидела! Он вошел, а она сидела, буквально сидела, у него за столом,

и руки положила на стол — праздные руки. Костя испугался, словно увидел ее тяжело больной. Она медленно повела на него глазами:

— Вот что, Костенька. Не иначе как вам с Циленькой съезжать отседова.

— Почему? Что случилось?

— От греха подальше.

Глаза у тети Дуни под темным платком были какие-то византийские, в тенях. Радужные синяки растеклись под ними.

— Это он тебя? — закричал Костя.

— Они, — полупшепотом ответила тетя Дуня.

— Как он смел? За что?

— Не хотят, чтобы я на вас работала. От людей стыдно, говорят. Цилечку давеча обидеть хотели, я отняла. Мне-то что? Меня-то волтузили на моем веку — твое почтение. Муж на мне горстями волосы рвал. А Цилечку не дам. А они мне как хрясь.

— Я его убью, — сказал Костя, но знал, что не убьет. Даже драться большого смысла не имеет.

«Ну, положим, я изобью его — я сильнее. Какой смысл? Разве я верну этим душу тете Дуне? Нет. А он выместит на Циле, пока меня нет дома, — подумал Костя и испугался. — Или на той же тете Дуне...»

Так что же она, всемогуща — подлость? Выходит, что так. В данном случае — так, приходится отступить перед подлостью. На сегодня она сильнее...

Пожалуй, тетя Дуня права. Цилю нужно к дедушке. Большая уже. Дедушка нас возьмет. И я — к дедушке? Нет, останусь здесь, а то он отберет комнату. Нет, я буду жить там и здесь.

Вот он и взрослый. Решил — сам за себя и за Цилю. Он погладил тетю Дуню по голове — она вздрогнула.

— Ничего, тетя Дуня, не беспокойся. Цилю я перевезу к дедушке. А сам буду жить там и здесь

Цилю устроили в столовой, за буфетом. Туда поставили ее кровать, а с одним столиком — ампирным, красного дерева — пришлось расстаться. Тетя Роза огорчалась, даже плакала, но в конце концов все уладилось: сосед по квартире согласился поставить столик у себя, а за это тетя Роза обязалась ему платить ежемесячно какую-то сумму. Дедушка мрачно шутил: «Ну, как будто все устраивается. Не снять ли нам комнату для буфета? Как было бы без него просторно!» Тетя Роза обижалась до слез. Как объяснить свою любовь к вещам, к тому же буфету? Это не просто буфет, это реликвия, ведь он стоял еще в Одессе, и его видел Хаим Гертман...

Теперь за буфетом-реликвией поселилась маленькая Циля. «Тетя Лоза, тетя Лоза!» — кричала она по утрам, и тетя Роза, всунув жилистые петушьи ноги в стоптанные туфли, запахивая ветхий японский халат, спешила на зов.

— Цветочек мой, — говорила она и брала Цилю на руки.

От ребячьей головки пахло полевыми цветами, тонкие ножки висели так безвольно, доверчиво. «Счастье мое», — говорила тетя Роза. Она и в самом деле становилась счастливой — это она-то, которая дала себе слово всю жизнь быть несчастной...

Для Цили она была готова на все. Ничего не умела — и все делала. Научилась по книге варить манную кашу и даже удерживалась, не клала туда никаких специй (специи вредны ребенку). Цилино белье, чулки, платья она стирала все вместе, по своему собственному способу: заливала горячей мыльной водой и кипятила в течение часа, помешивая палкой от половой щетки. Платья и чулки теряли цвет, белье становилось пестрым, но это неважно: главное, чтобы ребенок был чистенький. Глаженье тетя Роза считала предрассудком. Важно кипячение — оно предотвращает инфекцию. Ни один микроб не выдерживает, когда его кипятят в течение часа. «А сибирезвенные споры?» — шутил дедушка.

Так или иначе, Цилины вещи кипятились в ведре каждый день, и купала ее тетя Роза тоже каждый день — истово, но неумело, и, когда Циле попадало мыло в глаза, тетя Роза вместе с ней плакала...

И дедушка полюбил Цилю. Он мог часами с нею беседовать, серьезно, на равных правах, пряча под усами растроганную улыбку.

Костя жил там и здесь. Сначала, пока Цилия еще не привыкла, — больше здесь, чем там. Потом, когда Цилия прижилась за буфетом и даже полюбила тетю Розу, — больше там, чем здесь...

А тетя Дуня просто угасала. Ее придавила, прижала, обезличила подлость. Она стала плаксива, подозрительна. Часто говорила словами Алеши Поповича. Она ли это была?

Иногда — нечасто — она приходила в гости к Циле, чинно садилась на какую-нибудь вещь, предварительно оглядев ее, и молчала. Сперва Цилия радовалась ей, а потом отвыкла и стала дичиться. Тетя Дуня протягивала ей гостинец, а Цилия отворачивалась, пряча руки под чистый, неглаженный фартучек. Пуговиц тетя Роза пришивать не умела. Цилия ходила вся заколотая булавками: платьице — на булавках, чулки — на булавках, даже башмаки — и те на булавках. Это как будто огорчало тетю Дуню больше всего. Однажды, уходя, она сказала Косте:

— Видно, смерть за мной собирается.

— Тетя Дуня! С чего это?

— Молчи, — строго сказала тетя Дуня. — Я знаю, что говорю. За грехи мои господь меня карает. В церкву не хожу. Цилечка вон вся в булавках. Моя вина. Ох, пора мне, пора в землю сырую. Жалко вас, а пора.

Осенью у Шуры родился мальчик — слабенький, но крикливый. Назвали его Валериком. Тетя Дуня вспыхнула было, радовалась на младенчика, как когда-то на Цилю. Но Алеша Попович крепко держал ее в руках. «Мамаша, примите ребенка», — орал он, или: «Мамаша, отдайте ребенка, долго мне ждать?», или «Откуда у

ребенка сыпка? Я этого не допущу!» У Шуры было мало молока, мальчик кричал по ночам, и Алеша Попович кричал тоже. Он кричал напролет целые ночи (по крайней мере, так казалось Косте, из соседней комнаты все ему было слышно). Иногда раздавался грохот: это Попович, разгулявшись («раззудись плечо, размахнись рука») кидал в жену и тещу разные вещи... Шура плакала, мальчик плакал. Молчала только тетя Дуня, словно она была уже мертва.

Как-то ночью, когда Попович особенно бушевал, Костя не выдержал и постучался к ним. Дверь открылась, на пороге стоял хозяин в белых миткалевых кальсонах с волочащимися тесемками. Шура, растрепанная, в разодранной на груди рубашке, забилась в угол двуспального ложа. Под часами с орущим Валериком на руках стояла тетя Дуня. Из носу у нее текла кровь, и тетя Дуня ее не вытирала...

Костя осатанел и кинулся на Поповича. Тетя Дуня закричала:

— Костенька, для ради господа бога, не тронь ты их! Они в своем праве. Ребеночек плачет, а у них сердце болит. Костенька!

Поздно — Костя уже сгреб Поповича и сладострастно наподдал ему коленкой под зад. Под эти хамские подштанники. И ушел.

На следующий день, неожиданно, Попович стал очень любезен. Встретив Костю в коридоре, он заговорил о погоде:

— Обсерватория предсказывает осадки. Но только мне сомнительно. Не должно быть, чтобы осадки. И вообще, всех этих ученых разогнать надо. Дармоеды.

Костя молчал. Попович постепенно стал уходить. Ему, видимо, хотелось общаться. Уже на пороге своей комнаты он обернулся, напыжился и сказал:

— Классовый распределитель есть путь к классовому распределению.

Экий дурень! Косте даже стало чуточку жаль его. Что только в этой дурацкой душе происходит.

А с тетей Дуней действительно было плохо. Однажды Костя увидел, что она развешивает для просушки нестираные пеленки... Это был конец. Она могла еще жить некоторое время, но ее уже не было.

Ну, что ж? В общем, дома не существовало. Были какие-то обрывки, клочья. Циля, Роза и дедушка — в одном месте, комната и воспоминания — в другом. Костя часто вспоминал Генриха Федоровича и тосковал. Чего-то он здесь не выполнил, не сделал. Не пошел, не кричал. Молчание — предательство. Ему казалось, что тетю Дуню он тоже предал. А что он мог?

И все же постепенно он успокоился, а молодость шла и брала свое. Даже удивительно, как минутами он умел быть счастливым. Неистребимое что-то.

Школа никогда особенно много для него не значила, но шел его последний год в школе, и все как-то становилось зачарованным. Последние уроки, последние встречи с учителями, последние ссоры с товарищами. Последние, последние... А впереди — жизнь. Поймите, может быть, он все-таки немного любил школу?

Ребята — сколько лет прожили вместе, а он их не знает. И все — какие-то незнакомые. Мальчики с неожиданно пробивающимися, даже какими-то неприличными усиками. Девочки с тонкими талиями, с нежными, женскими голосами. Нет, это не те голоса, которые кричали ему: «дурак», «воображала»... А свой-то собственный голос — тоже иногда звучит чужим...

И преподаватели стали другими. Или просто он увидел их другими глазами. Например, заведующий Иван Поликарпович — теперь уже не заведующий, а директор. Он сам смущен своим новым званием и не знает, как жить дальше и что теперь будет? Не возвращаются ли гимназические порядки?

Прежде для Кости это был просто лысеющий человек в серой толстовке, похожий на мешок с пылью. Досадное препятствие — и только. А теперь Костя глядел на него с интересом и жалостью...

В этот последний год в школе как-то особенно часто — по пустякам — вспыхивали небольшие скандалы. После одного из них Иван Поликарпович вызвал Костю к себе в кабинет.

Сколько раз он уже стоял здесь... Знает каждую вещь. Вот старая, истертая по сгибам карта Европы. Вот цветы на окне, построенные по росту. Правофланговым — фикус. Левофланговым — кактус. Вот тронутое молю чучело вороны на одной ноге...

Все это когда-то душило его пылью и скукой. И от заведующего шли правильные, скучные, пыльные слова... Он тогда переминался с ноги на ногу и только ждал: когда же его отпустят?

Теперь он стоит в том же кабинете и видит все иным: трогательным, одушевленным. Старый заведующий, старые вещи — а за всем этим скромность, терпение, воля, труд.

У Ивана Поликарповича оглобелька железных очков, видно, отломилась и замотана суровой ниткой. Аккуратно замотана. Как задевает сердце эта оглобелька! Сам, наверно, заматывал — этими самыми неуклюжими, робкими пальцами. Нелегко ему.

— Послушай, Левин, — сказал Иван Поликарпович, — я давно хотел у тебя спросить: а не скучно тебе так безвкусно валять дурака?

И он устыдился.

А другие учителя? Огненно-рыжая Софья Яковлевна; стройная, завитая, с подмазанными губами «биологиня» Любовь Алексеевна; старый математик Василий Петрович, потерявший ногу на гражданской войне и входивший в класс, гремя костылями? Все это были люди! А он, безвкусно валяя дурака, ни разу даже не взглянул на них, как на людей... Теперь поздно, на носу — выпуск. Костя глядел на этих людей, потерянных им по своей вине, по небрежности, и радостно горевал, и почти любил их.

А Юра словно горел в эту весну. Он уже четвертый раз был влюблен, метался, дергался, паясничал и брился, забросил уроки и часто сманивал Костю за город — купаться. Восхитителен был этот ворованный отдых. Лежа на песке и сладостно сознавая себя преступниками, они говорили о будущем. Поступать куда-нибудь — только вместе! Костя еще колебался, не знал, куда его тянет. Юра решил — в Политехнический. Они займутся автоматикой. Техника будущего.

Весь в песке — и в волосах песок, и на ресницах — Юра рассказывал об автоматическом управлении. Поезда без машинистов. Самолеты — без летчиков. Нет, больше того — мысль без мозга... А какие слова: «фотоэлемент», «телеуправление», «радиолокация»...

В общем, Юра увлек Костю, и так случилось, что оба они потом стали инженерами. А Косте, вероятно, правильнее было бы стать врачом. Ничто не интересовало его так, как люди.

Вот и кончена школа.

Выпускной вечер, раздача грамот отличникам учебы (Юра — среди них, а Костя — нет), бал с контрабандным фокстротом, девочки семейкой белых березок, и с ними Вероника, как все-таки хороша, но ему нет до нее дела. И вот уже все кончено — как быстро! — и впереди свобода.

Они с Юрой остались одни в городе — готовиться к экзаменам. Целю увезли на лето к тете Лие, на Украину.

Тетя Лия, жена покойного дяди Нафанаила, дедушкиного брата, жила в небольшом местечке под Житомиром.

Костя бывал там в детстве. Не было на свете ничего милее нарядного белого мазаного домика с крупными мальвами в палисаднике, с желтым подсолнухом, который, как услужливо наклоненное блюдо, предлагал свои тесные, черные, сладкие семена. Теплая, шелковая пыль на дороге так мягко уступала босой ноге! А на краю дороги сторожем стоял статный, высокий тополь, лопоча на ветру узкими листьями на белой войлочной подкладке...

А раньше тетя Лия жила в Ленинграде с дядей Нафанаилом. Костя помнил, как они приходили вместе к дедушке: тетя Лия — преданная, сгорбленная, с тонким, красивым лицом и дядя Нафанаил — звучный, толстый, уверенный здоровяк на коротких, задорно расставленных ногах.

Он изменял ей, как говорится, направо и налево. «Бедная Лия, это же святая», — говорила тетя Роза дедушке. Дядя Нафанаил любил женщин, книги, красивые вещи. Любил жить.

До революции он был нотариусом, во время нэпа завел лавочку и преуспел. Потом вовремя ликвидировал дело и вышел сухим из воды: и вещи сохранил, и квартиру. Квартира была богатая, комфортабельная, с люстрами и картинами, с темными паркетными

полами, которые каждую неделю натирал полотер Вася. Худой, бледный, с отвисшими штанами, покрытый нездоровым потом, Вася плясал по темному глубокому полу, и хрусталики люстр подрагивали.

Тетя Лия в этой квартире жила как чужая. Она сама себе выбрала узкую комнату рядом с кухней («для прислуги»). Комната была похожа на вертикально поставленный ящик комода. В ней пахло утюгом — тетя Лия постоянно гладила крахмальные сорочки, воротнички, платки... «Нафанаил каждый день должен иметь свежую сорочку!»

На стенах висели бесчисленные карточки — все портреты дяди Нафанаила. Вот он, дорогой Нафанаил, совсем молодой, с усиками, в твердой соломенной шляпе-канотье. Вот он с теннисной ракеткой, развернутой почему-то прямо на зрителя, словно он несет дыню на палке. А вот дорогой Нафанаил совсем маленький — лет двух или трех, — в крахмально торчащем платице, и ручки в перевязочках — какой золотой ребенок! У Лии с Нафанаилом детей не было — большое горе! Один бог знает, как она хотела детей! Детей не было, и свое сердце она отдала дорогому Нафанаилу.

А дядя Нафанаил жил весело, мячиком. Он любил общество, часто ходил в гости, почти всегда один, без жены. Иногда, поздно вечером, раздавался звонок — это приходила тетя Лия, сутулая, в старой меховой шапочке, с потертой муфтой на перекрученном шнурке. Хозяйка дома приглашала ее зайти, но она не соглашалась:

— Нет, нет, не надо. Не беспокойте его, пусть веселится! Я только принесла ему шерстяной шарф, чтобы он не простудился, когда пойдет домой. Сегодня сильный ветер, а у Нафанаила такое слабое здоровье!

Нафанаилу передавали сверток с шарфом, он чертыхался, а гости смеялись.

В конце концов Нафанаил ее бросил.

У полотера Васи была жена Лида — курносенькое, белобрысое существо. Она приходила перед праздниками помогать тете Лие убирать квартиру. Шутка ли, столько фарфора и бронзы! Вот в эту самую Лидку и влюбился дядя Нафанаил. Нет, не влюбился, а полюбил. Без рассудка, без меры, как его самого любила тетя Лия.

Он поселил чету полотеров в своей квартире, отдал им лучшую комнату. Вася, разумеется, перестал натирать полы — ему и так жилось неплохо. Нафанаил попал к Лидке в какую-то рабскую зависимость, а заодно сделался рабом и полотера Васи. Такая большая любовь не знает ревности: он любил Васю за то, что Лида его любила. Он дал им дарственную запись на все свое имущество, а сбережения перевел на Лидкино имя. Спасибо, они хоть кормили его. На тетю Лию он совсем перестал обращать внимание, словно ее и не было.

Костя помнил, как тетя Лия приходила к дедушке советоваться: что делать?

Дедушка фыркал и злился:

— Старый лапацон совсем потерял разум, — говорил он. — Я знаю за ним эту черту. Но, милая Лия, вы его слишком избаловали.

— Нет, Рувим, не говорите мне плохо про дорогого Нафанаила.

— И вы его еще называете дорогим Нафанаилом!

— Он всегда будет для меня дорогим Нафанаилом. Надо знать его страстное сердце! Может быть, он сам не рад, что у него такое страстное сердце...

И все-таки тетя Лия не выдержала — уехала. Уехала на Украину, в белый домик с мальвами. Оттуда она присылала посылки — сушеные вишни, чернослив — и письма писала:

«Уважаемая Лида! Я не сплю ночи, думая о нашем дорогом Нафанаиле. Вы знаете его слабое сердце. Лидочка, не давайте ему крепкого кофе! Варите ему чернослив: у дорогого Нафанаила такой крутой желудок! А еще я беспокоюсь: или вы чините ему носки?..»

Нет, уважаемая Лида не чинила носки дорогому Нафанаилу. Скорее, он был бы рад штопать ее чулки, но она штопанных не носила: вот еще! Став хозяйкой, она располнела и обнаглела и уже, кажется, подумывала о ком-то другом вместо Васи...

Но вот что странно: после отъезда тети Лии Нафанаил как-то быстро стал угасать, стареть, худел, словно из него выпускали воздух...

Костя зашел к нему как-то за книгами, дядя Нафанаил сидел за письменным столом, спиной к нему: старик! Затылок — желтый, нездоровый, с седыми косицами. Худая, сухая рука — совсем как у дедушки — лежала на столе, барабаня пальцами. Стол был пыльный, и от пальцев оставались темные следы.

Нафанаил обернулся и, поймав Костин взгляд, чуть искривил губы улыбкой. Как и все в семье, он отлично умел читать мысли. Вот и сейчас он прочел Костины мысли, и Костя в этом не сомневался. Дядя неторопливо достал из-за шкафа пыльную тряпку, вытер стол и снова тяжело сел в кресло.

— Да, — только и сказал он.

Костя, как и все в семье, тоже умел читать мысли. И он понял, что означало «да». Да, сильное чувство, большая страсть. И с этим уже ничего не поделаешь. Придется умереть.

И в самом деле он скоро умер...

Так вот, Роза и Циля уехали к тете Лие, а Костя остался один в городе, без них. Он скучал по Циле, но все-таки был рад, что ее увезли. Полная свобода!

Он вставал в шесть, обливался холодной водой, съедал кусок черного хлеба и садился заниматься. Над столом пожелтевший от времени Ленин склонял упрямую, лобастую голову. Костя ощущал себя немножко голодным, подтянутым, свежим и ужасно умным.

Удивительная у него стала память! В нее все укладывалось без малейших усилий. А ведь в школе он учился неважно.

Шутя он выучивал заданный себе на сегодня урок и шел дальше. Он даже боялся себя — такой он вдруг стал способный. Чтобы не выучить слишком много, он вставал, подходил к окну и потягивался.

Окно открыто, за ним — пыльно-голубое небо, крыши и трубы, трубы... Прекрасные кирпичные города труб. Глубоко внизу, во дворе, звонкоголосые мальчишки играли в челюскинцев, а здесь, в городах труб, вообще не было времени.

Среди дня он обедал — снова куском черного хлеба, иногда с молоком. Не варить же для себя суп! И зачем? Что может быть лучше этой подтянутости, тощего холодка в голове?

Вечером они встречались с Юрой.

Летом в Ленинграде темнеет поздно. Солнце садится часов в одиннадцать. Костя и Юра шли бродить по городу. Солнце садилось, садилось и все не могло сесть, медлило, как уходящий гость на пороге. А после захода на светлом небе серебряно-розовыми веерами долго светились тонкие облака.

Костя и Юра шли наугад. Такая у них была игра: идти наугад и находить новые места. Они знали свой город и любили его — истые ленинградцы. Тем радостнее было найти внезапно незнакомое место: кладбище, мост, переулок.

Они ходили по набережным каких-то заштатных Невок, в кучах досок, кирпичей и соли. Пробирались сквозь щели в заборах на фантастические дворы. На одном таком дворе посредине был мертвый, небьющий фонтан в сером цементном ложе, а на стене, высоко над землей, отметка: рост Петра Великого. Здесь, по этому двору, ходил он, Петр Великий, в зеленом кафтане с красными отворотами... Они забирались в какие-то доки, склады, где пахло крысами и рогожей. Белой ночью все это казалось загадочным, пустым и странным. Дома, казармы и колокольни, как обведенные тушью, тонко отделялись на светлом воздухе. Город приподымался, вставал на цыпочки, отрывался, летел.

Один вечер особенно запомнился Косте. Поздно, уже после захода солнца, они пришли в незнакомое место. Голубоватый туман смазывал края крыш. Текла неизвестная речка, тихая, темная, в непривычно пологих зеленых берегах. На той стороне — мрачное здание с окнами в решетках. Костя спросил:

— Что это — тюрьма?

— Должно быть, — шепотом ответил Юра.

За одним из окон появился смертельно бледный человек, схватился за решетку и начал ее трясти. Значит, окно за решеткой было открыто. День прошел жаркий, а вечер — прохладный, облачный.

Чего хотел этот человек? Выломать решетку?

Тем временем из-за тюрьмы вышел месяц. Он встал узким серпом на краю крыши, и облака набегали на него, как дым.

Мимо шел пьяный, мирно беседуя с самим собой. По камню цокали его сапоги, видно подбитые гвоздями.

Юра спросил:

— Не знаете ли вы, что это за тюрьма?

— Тюрьма? Какая тюрьма?

— Да вот, напротив.

— Да это вовсе больница. Николая Чудотворца. Психи здесь живут. Психуют.

— Спасибо, — сказал Юра.

Пьяный удалился, цокая подошвами, и вслух рассуждал:

— Тюрьма? Какая тюрьма? Да не тюрьма, дом психованный. А они — тюрьма. Смешняки.

Бледный человек за решетчатым окном, под золотым теперь, минаретным месяцем все стоял, безнадежно потрясая решетку, но становился темнее, пропадал. Как будто решетку трясла темнота.

— Послушай, это ужасно! — сказал Костя.

— Что ты тут находишь особенно ужасного? — насмешливо спросил Юра. — Модель жизни.

Он сегодня поссорился со своей последней девушкой и был зол.

— Ужасно попасть в такое положение... сойти с ума.

— А тебе показалось бы менее ужасным, если бы это была тюрьма?

— Не знаю... Пожалуй, да.

— А я не согласен. Все люди более или менее сумасшедшие. Разница здесь не качественная, а количественная. Чем эти, за решеткой, отличаются от нас? Более яркими чувствами. Ярче радость. Ярче печаль. А яркость — это счастье. Не так ли?

— Нет, не так, — сказал Костя запальчиво. — Не надо мне такого счастья. И только никогда не говори мне, что это счастье...

— Ну, ну, замолол. Что тебе за вожжа под хвост попала? Никто тебе и не предлагает такого счастья.

А все-таки оно было прекрасное — это лето, со всеми ночными шатаниями, спорами, сумасшедшими домами. Юра вскоре разлюбил свою девушку («убедился в ее непроходимой глупости», — как объяснил он сам). Костя был с ним, пожалуй, не согласен. Он видел ее два раза: черная, верткая, совсем не похожая на дуру. Только взгляд у нее был неприятный — берущий.

А Юра разлюбил, встряхнулся и снова ходил гоголем.

Одно время они пробовали заниматься вместе. Тут Костя впервые в жизни почувствовал себя сильнее Юры — любопытное ощущение! Вообще-то он был слабее Юры, но этим летом, с этой легкостью во всем теле, в голове особенно, он стал страшно способным и почему-то все понимал. Понял он и Юру, которому было неприятно быть вторым, — ему, которому на роду написано быть первым. Понял и извинил, потому что стал вдруг необычайно умен и, значит, добр. Совместные занятия прекратились как-то сами собой.

А потом произошло совсем необыкновенное событие: у Кости Левина появилась девушка.

В первый раз он ее увидел, когда, оторвавшись от учебника, подошел к окну размяться. В окне шестого этажа, как раз напротив, стояла небольшого роста белокурая девушка в косынке и мыла стекла. Она стояла очень складно, закинув голову, тянулась рукой к дальнему краю окна и пела. Маленький голосок бубенчиком перебирался с ноты на ноту.

Костя был голоден как волк — сегодня он не успел почему-то взять хлеба по карточке. Засиделся за книгой, а потом было уже поздно идти. Подойдя к окну и хрустнув суставами, чтобы размяться, он подтянул живот к самому спинному хребту и с наслаждением почувствовал, что он тощ, пуст внутри и вот-вот перервется пополам.

А девушка его заметила. Она прекратила пение и уселась на подоконнике, по-детски спустив вниз босые ноги, — явно, чтобы покрасоваться. Ножки и в самом деле были ничего — полненькие, но складные, как и вся она. Засмеялась. Костя тоже засмеялся, отошел от окна и снова сел за книгу. В глубине комнаты, где стоял письменный стол, было темновато. Он знал, что сейчас девушка его видеть не может, но беспокойно, затылком чувствовал ее взгляд. Казалось, теплые пальцы берут его за уши и поворачивают голову к окну. Он сопротивлялся. Глазами он читал, а ушами чувствовал ее, и в какой-то момент книга взяла его за уши и повернула к себе. Он начал читать внимательно, как всегда теперь, радуясь своей понятливости, а про девушку забыл.

Когда он вспомнил и поглядел в ту сторону, был уже почти вечер. Девушки в окне не было.

«Вот и нет ее», — грустно подумал Костя, подходя к окну.

Необычайная тишина стояла в кирпичном городе труб. Жарким пламенем отсвечивали вдали окна. Черными точками на огромной высоте, без криков сновали ласточки. Может быть, даже с криками, но слишком высоко, чтобы их было слышно.

Он уже ничего не ждал, когда в том окне снова появилась девушка, уже без косынки, с розовыми в закатном свете волосами. Она кивнула ему, как знакомому.

«Нужно заговорить с ней, — подумал Костя, — она ждет этого. Нужно, слышишь ты, нужно!» — втолковывал он самому себе, но не мог решиться.

— Ну, как, кончили работу? — крикнул он наконец (фу ты, черт, как глупо!).

— Ну, да, — ответила она непринужденно, не повышая голоса, словно он был в той же комнате.

Вот, оказывается, как просто: не надо даже кричать.

— Вы здесь живете? — снова крикнул он (глупо, глупо, глупо!).

— Нет. Просто примываюсь. По знакомству.

— Вот как, — Костя замолчал безнадежно.

— А у вас-то, я погляжу, — звонким голосом заговорила девушка, — тоже окна, пыли-то, пыли! С осени поди-ка немытые.

«...Согласна зайти, согласна, — думал Костя с пересохшим ртом, — теперь только позвать». Но позвать он не мог, не получалось.

— Вам-то, я говорю, тоже окна помыть бы надо, — сказала она.

— Надо, — выдавил из себя Костя.

— Так я зайду, — она засмеялась. — Сегодня или, может, завтра?

— Сегодня, сегодня.

— Так я зайду, — повторила девушка и исчезла. Потом снова возникла, спросила: «Так я зайду?» — и пропала.

Сердце отвратительно стучало, ну его. Зайдет? Сказала «зайду», положительно. Нет, она сказала: «Так я зайду?» — вопросительно. Не зайдет.

А в комнате был страшный беспорядок, эпикурейский беспорядок живущего без контроля мужчины. На столе — черствые корки, старый носок, сковорода с пылью — черт знает что. Он стал запикивать все это куда попало. У них с Юрой такая спешная уборка называлась «упихательство». Еще пыль бы стереть, да неизвестно, где тряпка. Вчера еще была, где-то здесь болталась. Ох, вещи, вещи, ничего нет строптивее вещей, когда они приобретают самостоятельность!

Подмету хотя бы. Пошел на кухню за щеткой и услышал коротенький, осторожный звонок, одно слово: «дрень...» Она?

Как был со щеткой в руках, он открыл дверь. Она стояла, почти не смущенная, и улыбалась. Костя стиснул древко щетки.

— Есть кто? — опасливо спросила девушка, закрывая за собой дверь.

— Никого, — ответил Костя, не выпуская щетки, как бы обороняясь.

Она вынула у него из рук эту палку и вдруг поцеловала его в губы. Очень простой вышел поцелуй — громкий и нестрашный.

— Покажите-ка окна, — сказала она.

Все это ничего не значило, ничего. Совсем обыкновенный поцелуй, деловой приход, мыть окна. И нечего так волноваться, идиот.

— Пылищи-то, пылищи! — сказала девушка. Она смеялась. Молодец!

— Как вас зовут? — спросил Костя.

— А Клава.

Поцелуй, видно, и в самом деле был незначущим: она всерьез взялась за уборку. Достала где-то тряпку (а он-то не мог найти!), разулась, сбегала на кухню, вернулась с ведром, повязалась, подоткнула юбку. Вымыла пол, обмахнула пыль. Пробегая мимо него, она каждый раз улыбалась, показывая детские, округленные зубки. Волосы, сухие, смятые завивкой, торчали из-под косынки. Она отводила их внутренней стороной локтя. Косынка сбилась набок, Костя отчетливо видел бисеринки пота на розовых висках. Он начал уже успокаиваться: ничего «такого» не будет. Другой раз...

Клава начала мыть окна, а он все стоял дурак-дураком посреди комнаты. Кажется, она что-то говорила, он все слышал, но ничего не понимал. Он был совершенно спокоен, только не понимал, что она говорила. И наконец, понял.

— Все, — сказала Клава, сорвав с головы косынку и стоя на подоконнике. — А ну-ка, прими меня с окна.

Костя подошел и принял ее в свои ужаснувшиеся руки.

Вечер. Уже темно. Клава спала рядом, неслышно дыша. От нее пахло чистым бельем. Из открытого окна к самому сердцу тянуло прохладой. Где-то далеко, по радио, играли вальс. Бывает же такая уносящая музыка.

Костя летел высоко-высоко над землей. Ему было легко и холодно. Далеко под собой, как с вышки Исаакия, он видел маленьких людей, идущих по улице. Они были крошечные, видные с головы, и, торопливо шагая, попеременно выставляли из-под туловища короткие ножки. И среди них, такой же маленький, на коротеньких ножках, торопился куда-то он сам, Костя Левин. А другой он сам летел и смотрел на это все сверху, из чистоты и холода.

В коридоре зазвонил телефон. Костя лежал и летел. Телефон настаивал. Костя осторожно вылез из постели, вышел в коридор, взял трубку. Это был Юра. Ой, он совсем забыл, что условился зайти к Юре в половине десятого...

Видно, Юра звонил из автомата. Слышно было плохо, в трубке что-то возилось, поскрипывало.

— Ты, Костя? — спросил Юра далеким голосом. — А я ждал, ждал... Что с тобой случилось?

— Ничего. Мне хорошо.

Трубка замолчала. Костя стоял босиком на холодном полу.

— Как прикажешь тебя понимать? — спросил голос.

Теперь молчал Костя.

— Я тебя понял? — спросил голос.

— Да.

Трубку повесили.

Костя вернулся в комнату. Белесая белая ночь стояла там. На диване спала девушка. Непонятно.

Он осторожно стал укладываться рядом, обнял ее и блаженно вытянулся. Сейчас важно было одно: вернуться к тому полету в высоком небесном холоде и смотреть сверху, как торопятся куда-то кургузые человечки и как попеременно высовываются у них из-под туловища коротенькие ножки.

Так вот рядом с Костей оказалась Клава. Любил ли он ее? Должно быть, по-своему любил.

Клава была простая, добрая, умелая одинокая девушка, года на четыре постарше его. Отец ее умер, мать жила в деревне. Клава

работала в артели по производству игрушек, а жила в девичьем общежитии с аккуратно заправленными койками, с бумажными цветами и открытками кинозвезд. Прирабатывала: ходила на постирушки, мыла окна. Посылала деньги в деревню. Всегда была опрятно, хоть и незатейливо одета; в чистых хорошеньких ушах — золотые сережки. В общем, твердо стояла в жизни на своих крепеньких, бутылочками, ногах.

Костю она сразу взяла на свое попечение. Тети Дуни в это лето не было — они с Шурой и Валериком уехали в деревню. Настя тоже была в отъезде. В городе оставался один Попович, да и тот редко ночевал дома («Котует», — говорила про него дворничиха).

Клава приходила сразу после работы и пела, как канарейка, в сумрачной кухне. Она стирала Костины рубашки, готовила обед, мыла посуду. Отovarивала карточки в распределителе и все ахала: сколько талонов пропало! Сама никогда не садилась за стол вместе с Костей. Чем только она сыта была — неизвестно. Так, ущипнет кусочек какой-нибудь и снова поет, работает.

Костю она скоро совсем перестала стесняться, волосы перед сном закручивала на бумажки и засыпала быстро и деловито, поребьячи. Такую ее, пожалуй, Костя больше всего любил — спящую, смешную, надутую, с бумажными рожками на голове.

Нет, он и разговаривать с ней любил. Больше всего в ней радовала, удивляла и покоряла убежденность. Для Клавы все в жизни было ясно. Она очень хотела замуж и не скрывала этого, но на самого Костю никаких видов не имела: «Старуха я против тебя». А хотелось, ужасно хотелось счастья, с приличной комнатой, с непьющим мужем, со своей посудой. Клава любила посуду, особенно фарфор. Часто по вечерам они сидели у лампы — Костя за книгой (экзамены все же были впереди), а Клава штопала носки или пришивала пуговицы, далеко отводя руку с иглой и откусывая нитку зубами.

Она все ему рассказывала. Видела в распределителе «на Невским» приличенький гардероб — по записи. Тебе бы такой! Подружка на работе серной кислотой травилась, не померла, только лицо сожгла: во какие две дорожки! Ее молодой человек обманул и бросил, а она в положении. Соньку премировали: дали талон на пошивку туфель. А Маньке той и вовсе счастье привалило, вышла замуж по-хорошему — солидный, непьющий. Немолодой — ну так что ж? На кой она, молодость, был бы человек хороший.

Костя читал и вполуха слушал. Ему было хорошо. Казалось, сама жизнь журчит рядом — теплая, порядливая и немудрящая. Он отрывался от книги, клал щеку на жесткую Клавину руку и закрывал глаза. Она глядела на него и говорила чуть слышно:

— Кавалерчик ты мой красивенький.

Уже приближалась осень, на носу — экзамены, вечера стали темнеть, а он все жил и ни о чем не думал, забыл даже про Цилю, про Юру. Однажды вечером Юра позвонил сам.

— Как дела? — жестко спросил он.

Костя очень обрадовался:

— Юрка, ты? Какой же ты молодец, что позвонил!

— Настолько ли ты в своем уме, чтобы со мною встретиться?

— Как ты можешь сомневаться? В любое время, в любой день.

— Заметано. В понедельник, в обычное время — у меня.

— Договорились.

...Какой молодец Юра, что позвонил. Как он его любит, Юру! Он вошел в комнату. Клава сидела и плакала.

— Что с тобой? — бросился к ней Костя.

Она подняла лицо от рук, вытерла нос и улыбнулась:

— Ты на мои слезы не смотри. Наше дело бабье.

И вот они снова на улице с Юрой, только уже не белая ночь, а черный август у них над плечами. Юра — самый свой, самый нужный. Костя ему все рассказал.

— Понятно, ты ждешь реакции.

— Нисколько не жду.

— Врешь. Каждый человек, выложивший себя перед другим, ждет реакции. Бескорыстной откровенности не бывает. Некоторые ждут сочувствия. Ты ждешь анализа.

— Будь по-твоему: я жду анализа.

— Итак, — сказал Юра, — перед нами довольно заурядный случай: человек молодой, физически здоровый и не урод...

— Это мусор, — сказал Костя. — Не сори, пожалуйста.

— Ладно, — согласился Юра. — Я человек покладистый, не сутяга. Сойдемся на том, что случай довольно заурядный.

— Пожалуй, так.

— О любви, сколько я понимаю, в данном случае речи не идет.

— Мне это не так уж ясно.

— Что ж ты, любишь ее, что ли?

— В каком-то смысле — да.

— Запомни, дурень, что любовь не может быть «в каком-то смысле». Она или есть, или ее нет. В данном случае ее нет.

— А ты сам? Неужели ты своих четырех девушек любил «во всех смыслах»?

— Я не любил, а был влюблен. Это большая разница.

— То есть любил самого себя по их поводу.

— Пожалуй, что так.

Костя помолчал.

— Послушай, Юра. Я хочу задать тебе один вопрос. А ты когда-нибудь любил по-настоящему?

— Да.

— Кого же?

— Когда-то, в раннем детстве, мать. Потом — няню. Теперь — тебя и Цилю.

Становилось холоднее. Лето торопилось к концу. Клава собиралась в деревню. Почему — неизвестно. «Картошки копать, и артель надоела. Соскучила по матери». Раза два всплакнула, но ненадолго.

Костю всегда поражало ее умение коротко и красиво плакать. В этом плаче ничего не было надсадного, тревожащего. И сама она из своих слез события не делала: поплакала, как воды попила.

...Они лежали обнявшись. Клава тихонько гладила его по руке и рассказывала про деревню.

«Хорошо у нас в деревне. Лес большой-большой, грибов, ягод — страсть! Ласточка под крышей живет, сама черненькая, грудка беленькая, ножки красные, тонкие, как паучки. Кот Тимофей, старый, седой, мышей не ловит, на печке лежит: мур-мур.

Мама у меня добрая, ласковая, а несчастная. Никогда она хорошо не жила: вдова. В колхозы загоняли — не пошла. Корову отняли. Дети, кроме меня, все померли. Ух, горя! А добрая все-таки. Другие осудят, а она никогда. Я ее вот как уважаю.

Плачет. Хочется ей, чтобы я по-хорошему жила. Ей не пришлось, так мне бы. А я вот как: сам видишь».

Костя в ее руках дремал душой: хорошо ему было, бездумно. Тихо бродили маленькие мысли. Где-то в этих мыслях, краем души, он все понимал, но только очень узеньким краем. У Клавы щека мокрая — плачет. Почему же ему так хорошо, спокойно? Почему сейчас он не думает о предстоящей разлуке?

«Она, верно, ждет, чтобы я сказал: не уезжай. Скажу ли я? Нет, не скажу. А если бы и сказал — ничего бы не изменилось. Что я мог бы ей дать, если бы она осталась? "Любовь в каком-то смысле"? Юра прав — такой не бывает...».

Костя засыпал, чувствуя на плече теплую, дорогую, мокрую Клавину щеку. Ему хорошо было засыпать под тихое брожение мыслей. Последняя мысль, перед тем как заснуть окончательно, была про кувшин. Неужели это он, вечный кувшин, оказался тут камнем? Да, пожалуй, так. И Костя заснул, блаженно чувствуя себя камнем.

Клава уехала. Поезд — старый паровичок — просвистал и скрылся. Костя стоял на перроне и все разглядывал на своей помятой ладони красные рубцы от Клавиной корзинки. Это была сплетенная из прутьев, жесткая, опрятная корзинка, и в ней Клава увозила все свое достояние. А перед глазами стояло постаревшее, некрасивое Клавино лицо и жалостно дрогнувший рот над пыльным, опущенным книзу окном вагона.

Делать ему было нечего, торопиться некуда. Сегодня, попозже, надо было встретить Цилю и тетю Розу, с другого вокзала: они возвращались. Жизнь возвращалась в свое русло.

Домой ехать уже не стоило, лучше прямо с вокзала на вокзал. Уже темнело. Рано стало темнеть. Ветер трепал над перроном полинявший красный кумач с лозунгом: «Решения XVII съезда партии обязывают каждого советского писателя и критика к классовой ненависти и непримиримости».

Почему на вокзале — писатель, критик? А вот и ближе к делу: «Все на борьбу с мухой!» и еще: «Товарищ приезжающий, не забудь пройти санобработку!», «Береги вагон — это твое временное жилище!».

Идти было еще рано, не все ли равно, на каком вокзале ждать? От нечего делать Костя стал проглядывать газеты на стене — старые, пожелтевшие, оборванные по краям. Он рассеянно пробежал примелькавшиеся заголовки:

«Перерожденцы отделались выговорами»

«Хроника чистки»

«Герои-челюскинцы проходят чистку в первых рядах»

«Чистится товарищ Вайнштейн»

«Крепко ударить по рукам за бюрократизм и функционалку»

«Праздник ударников учебы»

«Конкурс родильных домов»

«Герои-челюскинцы приветствуют великого вождя»

«Ударники посылают привет великому Сталину»

...А вот и сам Сталин, в полувоенном, очень решительный. Ноги стоят плоско. Почему-то Косте сегодня показалось в этом плоском постанове ног что-то страшное... Откуда такая пыль на всем, точно на протертном вагонном стекле?

Костя любил Сталина. Да и как можно было не любить, не восхищаться? Великая страна, раздувшая навстречу будущему красные паруса, а у руля — твердый, прекрасный — Сталин. Сталь.

Когда на физкультурном параде Костя и такие же, как он, — стройные, подтянутые бело-голубые гимнасты — четко рассыпались по асфальту площади Урицкого и выстраивались буквами: «СЛАВА СТАЛИНУ», он был счастлив чувствовать себя кусочком буквы «Т» в слове «СТАЛИН»...

Откуда же эти минуты, когда вдруг показались страшными плоско поставленные ноги в высоких сапогах?

Нет, скорее на тот вокзал — встречать Цилю и тетю Розу!

Циля! Он столько времени почти не думал о ней. Какая она стала? Выросла, переменялась?

Костя попробовал представить себе Цилю, не смог и испугался. Мелькала только закинутая в смехе, кудрявая голова и узко поставленные, прозрачные зубки. Ой, Циля, Циля! И, спеша на тот вокзал, Костя волновался все больше и больше. С Цилей что-то случилось, именно потому и за то, что он так долго о ней не думал!

Он задыхался, бежал и, конечно, прибежал слишком рано. Поезд опаздывал на двадцать минут.

Костя вошел в зал ожидания и остановился, пораженный тем, что увидел.

Каменно неподвижные, каменно жесткие стояли громоздкие деревянные диваны, а на них, вокруг них, возле них на полу, люди, навалом. Человек на человеке, спят кучами. Сколько их, какие они разные и чем-то все-таки одинаковые! Какая печать горя на каждом лице! Спят и горюют во сне. Тяжелые, как камни, черно и плохо одетые мужчины — кто с бородой, кто просто небритый. Бледные матери с задремавшими детьми на руках. Тощенькие, грязнолицые подростки. Древние старухи, скрюченные горем и ревматизмом, выпершие из земли, как узловатые корни... И вещи: узлы, корзины, детские бутылки, фанерные баулы с жестяными замочками... Куда они? Откуда? Отчего такие обреченные лица? И эти руки — одна за одной, свесившиеся до полу, мертво, безнадежно, как остановившиеся маятники... Горе оптом, горе вповалку...

— Раскулаченные, — сказал кто-то рядом.

«Вот оно что», — сообразил Костя и обмер от стыда и жалости.

...Нет, Костя был настоящим комсомольцем — не за страх, а за совесть. Не просто как некоторые — вступают, и все, кто для карьеры, кто — из стадного чувства. Для него революция была личным делом. Он получил ее по наследству, владел ею, как собственник. Для многих она была просто повседневность — советская власть. Для Кости она была Революция.

Нет, он не сомневался. Усомниться значило перестать жить. А жить хотелось! Значит, надо было верить, и он верил.

Когда он видел несправедливость, ему просто было больно, но он не сомневался, нет. А иной раз ох как трудно было не сомневаться! Особенно рядом с Юрой.

Нет, он не усомнился, даже когда выслали Генриха Федоровича. Недоразумение, единичный случай. В Германии — фашисты (их Костя ненавидел!), а у Генриха Федоровича немецкая фамилия, и по паспорту он — немец. Из тех, выславших, никто не знал Генриха Федоровича, как он, Костя. Единичный случай.

А сейчас, когда он услышал «раскулаченные»...

«Кулачество как класс». Это стало ходячей фразой. И он, Костя, так говорил. Он делал доклады: «Коллективизация... индустриализация... ация... ация... ация... ликвидация... ликвидация кулачества как класса...».

Как это там, в трамвае:

Сплошной поток колхозных масс
Добьет кулачество как класс...

Да, висел такой стишок в трамвае. В те годы ленинградские трамваи были изнутри оклеены агитационными стишками:

Ударник, бей неутомимо,
Ни одного удара — мимо!

Или:

Ударник, помни: твой поход
Не на отрезок календарный,
Ударным будет каждый год
И каждый день в году — ударный!

Стишки как стишки. Косте даже нравилась их упругая, незатейливая энергия. Юра, конечно, иронизировал: «Пушкинские ямбы на службе социалистического строительства». «Эстет и сноб», — возражал Костя. А Юра даже не критиковал — он просто цитировал, и в его устах стишки становились отменно глупыми. Нет злее пародии, чем цитата. Например:

Знай, государство — это мы.
Самим себе даем взаймы!

Или, совсем коротенькое:

Октябрем
Алкоголизм уьем!

Так говорил Юра, заказывая кружку пива...

Ах, Юра. Юре все легко. Юра же не видит здесь, вповалку, это самое — поверженное, ликвидированное, «кулачество как класс»...

Над головой что-то затрещало, заскрежетало, откашлялось, и нечеловечески громкий, но невнятный голос объявил:

«Граждане, внимание. К платформе № 5 прибывает скорый поезд № 36, Киев — Ленинград. Не прошедшим санобработку места в гостиницах выдаваться не будут. Прожарка белья и верхнего платья обязательна. Повторяю. Граждане, внимание...»

Костя вздрогнул, опомнился и опрометью понесся на платформу. Их нет, их нет. Он сегодня не увидит Цию. Может быть, они с тетей Розой на какой-нибудь дальней станции, вот в таком же пыльном, зловещем зале, так же вот ночью, вповалку, спят с другими на жестких деревянных диванах...

Нет, вот они! Тетя Роза — худая, прямая, черная, с трагическим загаром на костистых щеках, а рядом — Циля, на длинных соломенных ножках. Как выросла!

— Костя! — кричит Циля, и он бросается к ней, поднимает ее высоко вверх, прижимается лицом к грубому ворсу клетчатого пальтишка и долго не хочет открыть лицо, чтобы не видно было, что он плачет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Небольшой тряский автобус мчался по шоссе мимо оранжевых гор. Пейзаж вращался. Деревья — зеленые, широкорукие — подходили, поворачивались, удалялись. То справа, то слева синим огнем вспыхивало море. Солнечный свет, прерывистый, как рыдание, бился в окна.

Напротив него сидела Рора, Аврора, любимая, косо, параллельно друг другу поставив вбок длинные ноги. Рора всегда сидела так, словно стыдилась своих длинных ног.

— Рора, ты здесь? А Циля?

Рора молчала. Он решил и посмотрел ей в лицо. Прелестное, бледноватое лицо с косо поставленными бровями, с полуоткрытым, дрожащим в неизвестности ртом: то ли засмеется, то ли заплачет. Это лицо, на грани двух выражений, как часто оно ему снилось! Наверное, он спал и сейчас, но не хотел проснуться...

Пассажиры стали выходить: Сочи.

Он соскочил с высокой подножки на мягкий, горячий, податливый асфальт, протянул руку, чтобы помочь сойти Роре. Но она куда-то исчезла. Вместо нее стоял отец. Но ведь он же умер?

— Длился ли ты после смерти? — спросил его Костя.

— Длился, но недолго, — ответил отец.

«Это про тело, — догадался Костя, — но я-то спрашивал о душе».

Отец был все тот же, с белыми неувыдаемыми зубами на поношенном лице.

— Я рад, что ты приехал, — сказал отец. — Но имей в виду: здесь никто не должен знать, что ты — мой сын. Я выдаю себя за интересного холостяка.

Автобус ушел. Роры не было.

— Пойдем, пойдем, — тянул его куда-то отец. Тоскуя, Костя следовал за ним. Они пришли в какую-то комнату — в доме отдыха, что ли? На окне, натянувшись, хлопала по ветру занавеска, то закрывая, то открывая море.

Рядом с отцом появилась молодая, бледная девушка.

— Познакомьтесь: Аллочка; Костя, мой брат.

Девушка присвистнула и подала ему узкую, ледяную руку.

Неужели отец спит с этой сосулькой? Впрочем, он уже мертвый, ему не холодно.

Девушка скрылась. Отец положил руку на стол и строго, заглядывая Косте в глаза, спросил:

— Где Циля?

— Циля под Житомиром, — виновато залепетал Костя.

— Врешь. Под Житомиром немцы.

— Я не знаю, что с ней. От них не было писем. С того самого дня, когда они с Ророй уехали...

— Снова врешь. Рора ехала с тобой в автобусе.

— Я ничего не знаю, — в безмерной тоске сказал Костя.

Тут отец откинулся в кресле, закрыл глаза и начал синеть. Костя подхватил его и уложил на кровать. Отец почему-то уже был голым по пояс, и тело его, белое, худое, с клочком вьющихся черных волос на груди, тоже стало заливаться синим, как будто под кожей пролили чернила... Костя увидел, что по этой груди, натянув изнутри синюю кожу, катается какой-то клубок, и с ужасом понял, что это — сердце. И вдруг отец, изогнувшись, вцепился зубами в этот клубок... Он грыз и ел свое сердце...

Нет, этого вынести было уже невозможно. Костя собрал все свои силы и проснулся.

Какие страшные удары слышались под одеялом! Словно кувалдой заколачивали. Слава богу, это его собственное сердце. Сейчас пройдет.

Он лежал, укрывшись с головой грубым солдатским одеялом, а сверху лежало еще что-то тяжелое — пальто. Под всем этим было тепло. Только в небольшую отдушину, которую он всегда оставлял для дыхания, тонкой струйкой сочился холод, и ветерок шевелил ворсинки одеяла.

В помещении было полутемно: окна забиты фанерой, и только наверху, под самым потолком, — застекленный просвет. Что-то там голубело, но день или вечер — понять нельзя.

У стола разговаривали двое: Михал Михалыч и Сенька, Костины соседи по общежитию. Стационар — так это теперь называется. Стационар для дистрофиков. Слово «дистрофик», впрочем, официально запрещено. Есть ослабевшие, больные... Может быть, так оно и нужно. Даже наверно так оно и нужно.

Вот Михал Михалыч — старый заводской мастер с висячими усами, лет, пожалуй, под шестьдесят (теперь не поймешь), сидит в бабьем вязаном платке, острый нос весь источен голодом, а только послушайте, что говорит.

— Молод ты еще, Сенька, а мы и не такое видели. У нас был первый голод, а опосля — второй, а этот уж третий. В первый голод почище, может, нынешнего было. В восемнадцатом году холера косила. На рынке, бывало, подойдешь к нему, а он — бряк. И дух из него вон. Руки потом моешь-моешь...

— Страшно все-таки, Михал Михалыч, — тонким голосом говорит Сенька, заводской ученик, лет четырнадцати, а на вид и того меньше, такой тощий, будто его и нет. — На фронте поди не так страшно. Светло там, ракеты пускают. Шинели теплые, ушанки меховые. Хлеба — по восемьсот в день. Тушенка...

— Это тебе не фокус — на фронте воевать, — наставительно говорит Михал Михалыч. — А ты здесь воюй.

— А как воевать? Завод не работает. Цех бомбой разбило. Тока, воды нет. Я бы воевал.

— Ты больше наблюдай, что делается. Учись. Воевать везде можно. Воют люди. Дом соседний — пятнадцатый номер — видел? Там управдом хорошо воет. Обогревательную комнату наладил. Заходи — грейся, в тесноте — не в обиде. Двенадцать градусов. Во дворе временный сортир оборудовал. Канализация-то померзла. В подвале у него вода: общественный водоразбор. Три бочки по сорок ведер, итого сто двадцать. Из Карповки набирает. Использую, говорит, естественный водоем.

— Это хорошо, — вздохнул Сенька.

— Молчи, еще не все. Обмывочный пункт при доме, дезкамера. Сам жильцов насильно волокет на помывку. В первую очередь, говорит, нытиков вымою. Нытика, говорит, как помоешь — сразу совесть в нем пробуждается, не так сподручно ему на свою слабость жаловаться, да на чужом горбу ездить. Вот так-то. Воет человек, дай бог ему здоровья. А ты говоришь — воевать негде...

— Я, дяденька Михал Михалыч, больше всего жалею, что молодой я очень. И так страшно мне умирать, так обидно! Кажется, лег бы, ничего не видел, не слышал, может, и не возьмет она меня, смерть-то...

— Лежа от смерти не отобьешься. А ты так: она к тебе, а ты ее по морде, по морде...

Станный, надтреснутый звук послышался в комнате. Словно горшок разбили. Это Сенька засмеялся.

— Тише ты, малой. Инженер спит.

...А Костя и не спал. Он лежал под одеялом, старался найти себя и не мог. Что он тут делает? Зачем он в Ленинграде? Явно, он должен быть где-то в другом месте. На фронте? Кому он там нужен, со своей рукой. На заводе? Стоит завод. Стоит за отсутствием топлива...

И все-таки он был уверен, что виноват. Страшно виноват, непоправимо. Может быть, потому, что он ничего не знает о Циле и Роре? Нет, знает: там немцы.

Как только он мог тогда их отпустить?

Но ведь никто ничего не подозревал. Нет, неверно. Кое-кто подозревал. Ходили слухи. Этим слухам приказано было не верить.

Рора с Цилей должны были ехать шестнадцатого, уже и билеты взяты, а он все сомневался. В воздухе было беспокойно. А четырнадцатого в «Правде» он прочитал «Опровержение ТАСС»:

...За последнее время в Англии и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией... Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли возможным, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и

Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны...

Он запомнил это «опровержение» наизусть, дословно. Еще бы! Сколько раз он потом перечитывал вырезку из газеты, хотел оправдать себя, подлец!

В этот день — 14 июня — Рора вернулась домой из Пассажа, где закупала на лето себе и Циля разные мелочи.

— Ну как, Костя, читал? Все еще муссируешь? Пожалуйста, не муссируй.

Она обняла его остро согнутым локтем за шею. Он совсем близко увидел зелено-карие, чуть раскосые глаза, каштановую челку, узкие щеки, трогательные, бледные, полуоткрытые губы. И, как всегда, задохнулся, точно увидел ее впервые. Они были женаты уже второй год, а он все не мог опомниться. Он взял ее обеими руками за узкую талию и приподнял в воздух. И так, в воздухе, он ее поцеловал.

— Я приеду к вам скоро-скоро.

Они уезжали. В доме был ералаш: всюду какие-то женские непонятности — резинки, купальные шапочки, шарфики, бусы. Рора укладывала чемоданы. Циля, тоненькая, вся вытянутая вверх, приплясывая от нетерпения на коленчатых ногах, помогала ей, скорее — мешала. Как она глядела на Рору — темным, облачным от счастья, влюбленным взглядом! А ведь сначала не хотела ее признавать. Когда он впервые привел Рору в «мавзолей» к дедушке, Циля даже не захотела выйти из-за своего буфета.

Молодец Рора, как она сумела завоевать Цилю! И ведь ничем. Не баловала ее, не подлизывалась. Просто была собой. Рядом с Ророй любой человек становился счастливым. А он — просто терял голову. Он любил ее, любил, любил! Почему «любил»? Разумеется, он и сейчас ее любит. Ее и Цилю. Только время исказилось, потеряло масштаб. Давно это было или недавно? Ни то, ни другое. А на самом деле прошло восемь месяцев с тех пор, как он отправил их на лето к тете Лие.

Тетя Лия. Дядя Нафанаил. Как он умер, дядя Нафанаил, года три тому назад, словно его прокололи и выпустили душу. Бедный Нафанаил! Сильное чувство, большая страсть. Видно, и отец был такой же, и он сам... Он любил Рору так, что у него в глазах темнело. Сделал ли бы он для нее подлость? Убил ли бы человека? Возможно, если б она потребовала. Но она ничего не требовала. Никогда ничего не требовала — только отдавала. Богачка Рора.

Вдруг его словно толкнуло: он вспомнил, что сегодня надо идти «туда».

Регулярно, два раза в неделю, Костя ходил на свою прежнюю квартиру — за письмами. Писем не было, но он за ними ходил. На квартиру и в домоуправление. Впрочем, домоуправление было закрыто. Как-то сразу по всему городу большинство домоуправлений

закрылось. Дворники поумирали, управхозы разбежались или тоже умерли — кто знает.

Все равно, идти нужно. Путь неблизкий, трамваев нет, а ходьба по городу только до одиннадцати.

Он заставил себя вылезти из-под одеяла, из непрочного, продуваемого тепла. В комнате было холодно и, кажется, стало еще темнее. Сеньки не было — куда-то вышел, воевать, что ли, а Михал Михалыч прилег на свою койку. Спит? Или умер? Нет, дышит.

В стационаре часто умирали. Казалось бы — чего лучше, на всем готовом, и кормят. Но многие умирали именно здесь, на покое. Вот и вчера старый заводской бухгалтер, по прозвищу Цербер. Неутомимый контролер и придира. Его убило отсутствие работы, возможность лежать...

Костя начал одеваться. Он завязал под подбородком ушанку, надел и застегнул доверху пальто, очень медленно; мешала правая негнущаяся рука и сознание, что на улице — холодно.

А в свое время как просто было выйти зимой на улицу! Человек даже не задумывался об этом. Все было просто: встать с кровати, сойти с лестницы. Все делалось само собой. Тепло было внутри, он был сытый. Сейчас ледяной холод был не снаружи, а внутри, в кишках.

У него были на сегодня два маленьких куска хлеба. Собственно говоря, один, но он разломил его на два и бережно завернул каждый в газету. На одном пакетице он мысленно написал: «туда», на другом — «обратно». Он знал, что без хлеба ему не дойти. Он положил хлеб в карманы пальто — правый и левый.

На койке Михал Михалыч, не пошевелившись, спросил:

— Идешь?

— Иду.

— Все за письмами?

— За письмами.

— Жди меня, и я вернусь, — строго сказал Михал Михалыч.

Выход был через соседнюю комнату. Там мерцал свет. Окна забиты наглухо, зато на столе стояла коптилка. Баночка, в ней фитилек, а над фитильком — дымно-радужное, колеблющееся пламечко. Из щелей тянуло, ходили тени.

Двое стариков — один в ушанке, другой в клетчатом платке — сидели и глядели на огонек, разговаривали и дышали на руки. Тот, в платке, был похож на деда-ягу, если бы такие существовали.

— ...И записал он его, значит, к себе в домработники, — рассказывал старик в ушанке. — Зарегистрировал по форме, в группоме. Там, конечно, удивились, но все ж таки зарегистрировали. Нет такого прямого закона, чтобы одни только женщины в домработницах были. У нас теперь равноправие. Ну, значит, зарегистрировал он его домработником, получил на него карточку иждивенческую, сто двадцать пять грамм, как-никак хлеб...

Дед-яга открыл рот и сказал:

— Хлеб...

— Священный хлеб, амброзия древних, — просипел с койки третий голос.

Голос был тихий, слабый, кислый, с подскрипыванием — ни дать ни взять патефонная пластинка под сработанной иглой. Да еще патефон прикрутили, чтобы не будить соседей.

Костя обернулся. Лежавшего он знал — это был профессор консерватории, Леонтий Максимович. Как его скрутило! Еще два дня назад он ходил довольно бодрый, а теперь, видно, лег насовсем. «Прочно улегся», — как говорили в стационаре. Такие умирали.

Раздался тихий свист: пластинка опять заработала.

— Амброзия. Пицца богов. Многого пришлось повидать, пока понял, что такое амброзия. А она всю жизнь здесь, под рукой лежала. Жалкие мы люди. Ничего не замечаем. Вот и здесь живем, а ничего не видим. Одни только мерзлые стены и окна забитые. А того не замечаем, что судьба дала нам новое, чудесное понимание. Только лови его. Душу хлеба видишь? Вот и лови. Не просто ешь хлеб, а с пониманием...

— Понимать-то мы и без тебя понимаем, — сказал дед-яга. — Сдохнем мы все здесь ни за малую копейку. Ноги стали пухнуть — готовь гроб. Али одеяло там какое. На санки — и в братскую. Вот тебе и понимание.

— Слабое рассуждение ограниченного человека, — просвистала пластинка.

Дед-яга ничего не ответил. Неужели Леонтию Максимовичу до того худо? Костя подошел, наклонился. При свете прыгающего маленького пламени единственное, что он ясно различил, была черная, подвижная, угловатая тень от носа, опаживавшая лицо лежавшего крылом летучей мыши. И все-таки можно было понять: этот человек умрет. Сегодня, в крайнем случае — завтра. Трудно сказать почему, но это было видно. Может быть, по какой-то придымленности черт и напряженности взгляда.

— Идете? — просипел голос.

— Иду.

— Возьмите мой шарф. Теплый.

На спинке кровати висел мохнатый шарф. Заграничный. Когда Леонтий Максимович еще ходил, он с этим шарфом не расставался. Теперь шарф висел празднично, страшно.

— Снял, не могу. Душит, — прошептал Леонтий Максимович. — Берите, Костя. Он теплый.

Костя не брал:

— Вы не понимаете, я иду далеко, в простреливаемый район. Могу не вернуться.

И вдруг Леонтий Максимович заговорил почти нормальным голосом:

— Ну, что же. Если вы не вернетесь, то, по сравнению с глубокой скорбью о вашей кончине, потеря шарфа покажется мне пустяком...

...Какой это, должно быть, был очаровательный человек в жизни!

Костя замотал шарф вокруг шеи левой рукой, неловко помогая правой. Долго возился, устанавливая шарф вертикальным щитком перед губами и носом. Особая, блокадная технология... Все на него глядели... Костя взялся за дверную ручку, собираясь с силами, чтобы нырнуть в мороз...

— Ни пуха, ни пера, — сказал старик в ушанке.

...На лестнице он понял, что еще день. В общежитии стоял вечный сумрак — берегли тепло. Здесь, на лестнице, никто его не берет. Хлопала по ветру, неистово скрипя, выходная дверь, и окно щерилось висящими на бумаге, длинными, как сабля, осколками.

Спуститься по лестнице — целая задача. Ледяная гора. Бугристые, шишковатые наледы со вмерзшими в них нечистотами. На стене белел косо приклеенный лист. На нем печатными буквами было написано:

ТОВАРИЦ, ПОМНИ!

Жилец, разрушающий квартиру,
выбрасывающий нечистоты на лестницу,
приносит серьезный ущерб государству!
ВСЕ НА ОЧИСТКУ ГОРОДА!

Кое-как, цепляясь за перила, он спустился вниз. Новым было это нудное, обморочное чувство в ногах. И, кроме того, что-то его не пускало... Что? Кажется, понял. Леонтий Максимович.

Леонтий Максимович умрет — сегодня или завтра. А ты идешь с двумя кусками — ну, ладно, не кусками, а кусочками — хлеба. Один кусок ты должен отдать ему. Один кусок амброзии.

— Но ведь у меня был вообще один кусок, — сказал Костя. — Я сам разломил его на два.

— Ну, и половину ты отдашь ему, — сказала Рора. Рора — богачка.

Костя даже пошатнулся — так ясно представил себе ее, Рору, как она стоит здесь на своих летящих ногах и колеблется где-то между улыбкой и горем. Он вздохнул и стал подниматься обратно по лестнице.

Двое стариков медленно повернули к нему фантастические головы.

— Дверь прикрой, раззява, выстудишь, — сказал старик в ушанке.

Костя прикрыл дверь, подошел к койке Леонтия Максимовича и прислушался. Было тихо.

— Уснул. Дай бог, во сне отмается, — сказал старик в ушанке.

Костя вынул из кармана пакетик и положил у изголовья Леонтия Максимовича.

— Проснется, отдайте ему. Это хлеб.

— Не звери, — сказал дед-яга.

Наконец-то он на улице. И не так уж холодно. Пока форсировал лестницу взад и вперед, успел даже немного согреться.

Стреляют, но где-то далеко, не в нашем районе.

Ветер накинулся на него с каким-то остервенением. Костя приладил в левой руке веревку от санок и пошел. Он теперь всегда ходил с санями, даже с пустыми, все равно — с ними было легче, как будто он шел не один, а с собакой.

...Так же вот Циля, когда училась ходить, брала корзиночку, и ей было не так страшно...

Циля! Где она, Циля!

Циля — у немцев. Рора и Циля — у немцев. А он — здесь. Какое безумие!

Идти было далеко. Километров пять или больше. Кто ж их мерил, наши городские километры? Раньше не мерили — были трамваи, автобусы. Теперь нет трамваев, нет автобусов — снова никто не мерит.

Все равно, идти надо. А чтобы не таким долгим казался путь, можно думать. Вспоминать.

Он уже четвертый раз ходил отсюда за письмами и по опыту знал, что, если думать, голод не так чувствуется и путь кажется короче. Только нельзя позволять себе думать стихийно. Думать надо по плану. Каждый раз он намечал себе, о чем думать. Разумеется, не всегда выполнял, но в общих чертах — да. На сегодня у него заранее было намечено: думать о детстве, самом раннем; думать об институте; думать о Юре Нестерове.

Но вот — сегодняшний сон вмешался в эти планы. Волей-неволей придется думать об отце.

Отец. Папа. Когда-то он его ненавидел. Ненавидел — из верности. Будь она проклята, однобокая верность!

Надо было быть шире, не замыкаться в своей верности. Теперь уже не исправишь... Недаром он видел, как отец ел свое сердце...

Он ведь и умер от сердца. Если верить официальному свидетельству о смерти: причина — спазм коронарных сосудов. Может быть, и не так. Ведь и здесь, в Ленинграде, нельзя верить свидетельствам о смерти. Пишут: «сердечная слабость», «пневмония», «стенокардия», а на самом деле — голод.

Впрочем, отец не голодал. Его арестовали в тридцать седьмом году...

Ночью позвонила Валентина Михайловна.

— Костя, ради бога, приходите скорей. Вы можете?

— Разумеется, сейчас приду.

Он уже все понял. Отец был крупный партийный работник. Член партии с одиннадцатого года. А на таких был форменный мор.

Собственно, все началось еще раньше, в 35-м году, когда стране пришлось ощетиниться в ответ на убийство Кирова...

Про убийство Кирова он узнал в институте, на лекции. Кто-то вошел, шепнул два-три слова профессору, и тот, ужаснувшись, роняя мел, замолчал. Вошедший поднялся на кафедру:

— Товарищи! Свершилось неслыханное злодеяние! Сегодня, 1 декабря, в 16 часов от злодейской пули предателя пал любимый вождь ленинградского пролетариата Сергей Миронович Киров!

Какой поднялся крик в аудитории! Сразу заревел никем не подготовленный митинг. Студенты, один за другим, взбегали на кафедру, поднимали кулаки, кричали, грозили:

— Товарищи, что же это такое? Революцию ударили в самое сердце!

— Месть подлым убийцам!

— Нет пощады врагам народа!

А потом — демонстрации. И он вместе с другими, с траурной повязкой на рукаве, глотая слезы, шел в рядах и кипел, и ненавидел, и клялся. Ветер раздувал траурные флаги. Черный креп — на заводах, улицах, трамваях, фонарных столбах... А газеты кричали, вопили:

— На предательский удар из-за угла революционный пролетариат отвечает всеми видами репрессий!

Если бы его спросили, и он бы ответил тогда:

— Да, репрессии. Ничего не поделаешь. Так надо.

Пятого декабря — да, именно пятого декабря! — пришел Юра.

— Газеты читал? — спросил он.

— Нет еще.

— Прочти, балда.

И Костя прочел постановление ЦИК СССР о внесении изменений в существующие процессуальные кодексы. По делам о террористических организациях и террористических актах теперь полагалось:

— следствие заканчивать в срок не более 10 дней;

— дела слушать без участия сторон;

— кассационного обжалования не допускать;

— приговор приводить в исполнение немедленно после его вынесения.

— Ловко закручено? — спросил Юра.

— Ну что ж? Это неизбежно. Мы вынуждены были так поступить. В ответ...

— Эх ты, теленок, — презрительно сказал Юра.

— Я тебя не понимаю. В такие дни...

— Да. Дни тяжелые, страшные. Ты еще не понимаешь всего их значения. Не видишь сути.

— Ну, положим. А что видишь ты?

— Я вижу, что это — грандиознейшая провокация, которую знал мир. Немцы со своим поджогом рейхстага — сущие сопляки.

— Пстой, — сказал Костя и весь похолодел. — Не хочешь ли ты сказать... Ты, комсомолец?

— Пойди, доноси.

— Подлец ты! Сам доноси. Сукин ты сын. В такие дни, когда вся страна...

— Те-те-те, — сказал Юра. — Избавь.

Ушел и дверью хлопнул.

Нет, с Юрой они довольно скоро помирились. Он не мог сердиться на Юру, здесь было его слабое место. К тому же так хотелось быть счастливым! В те студенческие дни так легко было быть счастливым! Счастье просто перло отовсюду, зеленое, как молодая трава. Не думать ни о чем — просто зарастать счастьем.

А жизнь становилась страшнее — высылки, аресты, расстрелы. Расстрелять в быту называлось: шлепнуть.

Костя не много думал обо всем этом. Снаряды ложились еще далеко от его зеленого блиндажа...

...Выслали старого доктора, Василия Никитича...

Жалко, но что поделаешь. Был связан с каким-то врагом народа. Еще должен быть рад, что легко отделался. Репрессии неизбежны...

...Арестовали популярного в институте, всеми уважаемого профессора и нескольких студентов, занимавшихся в его кружке...

Странно, а ведь совсем не был похож на врага. Да, теперь враги отлично маскируются. Если с ними миндальничать... Ведь писали ж в газетах, что готовилось покушение на самого Сталина. Страшно подумать!

Еще несколько мелких, далеких арестов...

И на тебе, прямое попадание — отец.

Валентина Михайловна открыла Косте дверь. Ну, так и есть, беспорядок, следы обыска. Только что ушли.

У Валентины Михайловны распух нос. Она сморкалась и всхлипывала: «Боже, какой ужас! Ну кто бы мог подумать!»

Костя с жалостью и отвращением, поддерживая за локоть, усадил ее на диван.

Она причитала голосом деревенской плакальщицы, голосящей по покойнику, но литературными, грамотными фразами:

— И как я буду теперь жить? Нет, вы мне скажите, чем я теперь должна жить? Опечатали обе комнаты! Я уже не могу открыть ящик комода! Там же мои вещи! Я им говорю: должна же я во что-то одеваться? Или вы хотите, чтобы я вышла на улицу раздетой? Не слушают. Не принимают во внимание. Говорю им, кричу: это же не его, это мои, лично мои вещи! Ноль внимания! Говорю им русским языком: его вещи на другой квартире. Он же пришел сюда голый. Даю ваш адрес. Ноль внимания!

Накричавшись, Валентина Михайловна как-то обмякла на руках у Кости, уперлась сырым носом ему в плечо и только вздрагивала. От нее пахло пудрой и паленой шерстью. Костя гадливо съежился и спросил:

— Ну а он как?

— Он, он... Почему я знаю, может быть, он и вправду был в чем-то замешан. У него были совершенно неподходящие знакомства. Помните, бывал у него этот, с бородой, старомодная внешность, доктор, как его?

— Василий Никитич?

— Вот-вот. Зачем было поддерживать это знакомство? Саша сам виноват. Тысячу раз я ему говорила: Саша, выбирай свои знакомства. В наше время нужно быть осторожным. Даже в газетах пишут: враг хитер и маскируется...

До чего же гадко было слушать свои собственные доводы от этой... Но все же прав был он, Костя, а Юра — нет.

Валентина Михайловна уже перестала плакать. Она в последний раз высморкалась, встряхнулась, подошла к зеркалу и легкими, мотыльковыми движениями стала поправлять волосы, с забавной гримаской на подпухшем лице:

— Нечего сказать, хороша! Нет, я вам откровенно скажу, Костя, женщина не должна позволять себе слишком переживать. Красота — это наш капитал. Она дается один раз в жизни. Не правда ли?

Она напудрилась, подкрасила губы и вот уже сидела рядом с ним на диване, как еще не обсохшая после дождя, но уже опрятная птица.

— А вы, Костя, уже совсем молодой человек, кавалер. Надо сказать, вы очень похорошели... Я бы вас не узнала!

Она потрепала его по руке.

— Что вам от меня нужно? — угрюмо спросил Костя.

— Моральной поддержки! И еще совсем пустяшного одолжения. Вы должны мне дать официальную справку — заверенную в домоуправлении, что ваш отец пришел сюда голым.

Костя встал.

— Вы настоящая сука, — сказал он. — Я уйду. И никакой справки вы у меня не получите.

Он имел удовольствие видеть на ее лице быструю смену выражений: игривое — испуганное — оскорбленное — гневное... Повернулся и вышел. За спиной он услышал разъяренный визг. Это была уже не плакальщица. Кричала уличная баба, вцепившаяся в волосы сопернице. Только это был грамотный крик. Крик с придаточными.

А потом?

Потом об аресте отца узнали в институте и потребовали, чтобы Костя официально отрекся. Тогда это было принято — отрекаться от родственников, разоблаченных как враги народа. Он этого не мог. Старался, но не мог поверить, что отец — враг народа. Он мог ненавидеть отца (и раньше действительно ненавидел), но... нет. Уговаривали его — он молчал.

И вот — комсомольское собрание в знакомых, родных до каждого гвоздя стенах института. И все против него. Те самые, с которыми он жил, сдавал экзамены, ругал дрянные обеды в институтской столовке, у которых стрелял по трешке до стипендии, с которыми сам делился последним рублем. Те, с кем шел рядом после убийства Кирова. Братья.

Теперь у них другие лица — оскаленные, враждебные.

Вот говорит Лена Рыбина — девушка, которую он одно время немного любил. И она, кажется, была к нему равнодушна. Теплая, курносая, с чистыми глазами. Вот она взгромоздилась на кафедру — еле нос торчит — и подняла над головой крохотный кулачок... За него? Нет:

— Товарищи, сейчас мы, как никогда, должны быть бдительными. Остервенелый враг...

Вывод — исключить. Искренна ли она? Да. Верит в эти слова. Она не сама их придумала — так думают и говорят миллионы. Он сам так думал, пока...

На кафедре — Марат Емельянов, в просторечии — Маратка. Парень неглупый. Часто они с Костей говорили по душам, валяясь под соснами в институтском парке. Много у него там было — в душе. Что-то он скажет?

Маратка говорит хитрее, не так прямо. У него выходит, что Костя Левин — парень неплохой, но классовая бдительность у него притуплена. Парню надо помочь. Надо разъяснить ему его ошибки. Он здесь наотрез отказался осудить своего отца, матерого врага народа. Ему кажется, что он поступает благородно. Но наше ли это благородство? Нет, товарищи. Это — классово чуждое благородство. Благородство разбойников Шиллера и других подобных подонков. Нет, товарищи! Наше пролетарское благородство — другое. Это — благородство Павлика Морозова, который не остановился перед тем, чтобы разоблачить родного отца, а в случае надобности и убить...

— Это его убили, — подсказывает кто-то из зала.

Марат сверкнул глазами:

— Я говорю: в случае надобности. Говорю и подчеркиваю.

— Так что же ты предлагаешь?

— Если не признает своих ошибок, не осудит врага народа публично, перед лицом своих товарищей — исключить.

Один за другим поднимаются на трибуну, и все, как один: исключить. Исключить. Все против него. А если кто и «за» — тот молчит.

Наконец, на трибуну выходит Юра. Все притихли. Любопытно, что скажет Нестеров, лучший друг Левина. Обычно на собраниях он помалкивает.

— Дружок перерожденца вылез, — кричит кто-то из зала. — Не давать ему слова! Рука руку моет!

— Дать слово, дать! — надрываются другие.

Председатель дает слово Нестерову. Зал затихает.

— Товарищи, — начинает Юра.

— Сами знаем, что товарищи, — кричат из зала. — Ты по существу.

Юра переживает шум, спокойно, свысока.

— Товарищи, — повторяет он, — наша страна переживает сейчас тяжелый, ответственный момент. Остервенелые враги народа...

«Что это он говорит? — волнуется Костя. — Неужели — и он против меня?»

Так и есть! Юра говорит как все, теми же газетными фразами. Прямо сыплет ими — ну и техника! Он говорит о необходимости рвать все связи с врагами народа.

В зале кто-то свистнул. Костя не верит ушам. Это — Юра? Он так удивлен, что не успел огорчиться.

И вдруг Юрина речь меняет тон. Он выпрямляется, черные глаза блеснули, узкая рука поднята. Театрально, но красиво.

— И что же мы видим, товарищи? Мы видим, что наш товарищ, сидящий здесь Константин Левин, давно уже выполнил свой гражданский долг. Только из скромности предпочитает об этом молчать. Дело в том, товарищи, что Левин порвал всякую связь со своим отцом, врагом народа, еще в 1930 году, за семь лет до того, как его отец был разоблачен нашими доблестными чекистами.

В зале зашумели.

— Да, товарищи, я отвечаю за свои слова. Я давно знаком с Левиным, часто бываю у него и за все время ни разу не видел отца Левина и не слышал, чтобы сам Левин его посещал. Я кончил, товарищи.

Раздались аплодисменты. Юра уходил с трибуны, немного позировав, как адвокат, выигравший трудный процесс...

— Левина, Левина на трибуну, — завопили в зале. Лед был сломан. Отовсюду поворачивались к нему дружеские лица, светились улыбки: «Дурак! что же ты ничего не говорил?»

Костю вытолкнули на трибуну. Он стоял, опустив голову, красный до волос.

— Говори, Левин, говори!

Погибая со стыда, он произнес:

— Нестеров сказал правду. Я не живу с отцом вот уже семь лет.

В зале опять захлопали, но кто-то зашикал. Председатель позвонил в колокольчик и сказал:

— Я думаю, что все-таки праздновать особенно нечего. Можно подумать, что Левин — какой-то герой. Как бы то ни было, он произошел от врага народа. Предлагаю вынести строгий выговор...

Собрание облегченно проголосовало за строгий выговор.

— Отделался легким испугом, — сказал ему Юра. — А ведь признайся, ты перетрусил-таки, когда я начал свою знаменитую речь?

— Мне она не понравилась, — сказал Костя. — То есть я тебе благодарен, но твоя речь мне не понравилась.

— Дурень! Запомни: с дураками лучше всего бороться их же оружием. Демагогия в наше время — великая сила. Сумел оседлать этого конька — смотришь, и жив...

После собрания Костя долгое время ходил как пришибленный. Он не мог забыть тех минут, когда вдруг оказался один.

Говорят, волки загрызают своих больных товарищей. Не дай бог оказаться таким больным волком...

.....

И правда, идти, думая, было много легче. Костя и не заметил, как дошел до самой Невы. Этак он быстро обернется. Сегодня на ужин, говорили, дадут белковый суп из дрожжей. Он вернется и поужинает. Ему обещали оставить «расход»...

Какая-то старушка с судками в кошелке остановилась на видном месте и что-то разглядывала на ярко-розовом небе. Типичная блокадная старушка, обмотанная множеством платков, худенькая, как сучок, но не умирающая, а живая. Такая, вполне возможно, и выживет — это он сразу отметил привычным глазом. Во-первых, дистрофия «сухая», без отеков — это всегда лучше. А главное — глаза — темные, блестящие, живые. Этими темными, живыми, молодыми даже глазами старушка пристально смотрела в розовое, светлое небо.

Рядом с ней остановилась другая женщина, много помоложе, даже, пожалуй, молодая, но очень уж грязная. Даже не очень худая. Может быть, продавщица в хлебном магазине? Такие не худеют...

— Ты чего смотришь-то? — спросила она старушку.

Та охотно откликнулась:

— Какая красота! Не правда ли?

— Жопа, — громко сказала женщина и пошла своей дорогой.

Старушка метнулась в сторону, часть супа, должно быть, выплеснулась из судка в кошелку. Она заахала, пытаясь поправить беду, поставила судок прямо на снег, вылила в него из кошелки какую-то жидкость, всплеснула руками, поправила платок и, робко озираясь на закат, затрусила вдоль по улице.

«...Вот такие-то старушки и защищают Ленинград», — думал Костя, идя своим путем. Он шел по мосту, и справа от него пламенело розовое небо, того чистого химического оттенка, который так возмущает в искусстве и так трогает в природе. Слева, в февральской синеве, настороженно повис тонкий полумесяц. Его словно ударило все это. Какая красота! Молодец, старушка. Оборванная, голодная, немытая — а видит красоту. А он — слеп.

Когда же он ослеп? Должно быть, с самого начала. Сразу, как началась война. Или потом, на фронте, когда прочел в газете страшные слова: «житомирское направление...»

Да, после того он ослеп. Но в этот день он еще видел, и то, что он видел, было страшно. Черный, ощеренный, вооруженный до зубов лес и красная ракета, кровавой улыбкой осветившая небо...

Фронт, война... Как это быстро прошло. Он не успел почувствовать, что воюет. Да разве он воевал? Подвешивал бомбы, протирал ветошью стволы... Он и оглянуться не успел, как его ранило.

— Осколок разбил кость, разорвал ткани, прекратил жизнь сосудов. В девяноста девяти случаев из ста такую руку ампутировуют. Один случай из ста остается. Принял решение — сохранить руку.

Это сказал хирург у операционного стола. Принял решение и сохранил руку. Вот она — болтается сбоку, как лишняя. Врачи говорили, что подвижность со временем восстановится: массаж, гимнастика... Сиракузы. Это у Достоевского врач посылал чахоточного мальчика в Сиракузы, а у того башмаков не было...

Впрочем, какое это теперь имеет значение? Все представления сместились. Все, что было важно, выцвело, отодвинулось. Вперед вышли совсем простые, изначальные вещи.

Хлеб, жизнь, близкие... Родина.

Обледеневший, горбатый мост остался позади. Но что-то случилось с ногами. Он не чувствовал больше общения со своими ногами и испугался: не дойду. Он вынул пакетик с хлебом и понюхал. Сейчас или на обратном пути? И не успел решить, как уже съел хлеб, грубо, по-дурацки, весь сразу. Не успел разжевать как следует. Ох, глупо! Надо было разделить на крошки и каждую есть отдельно, долго-долго. А теперь все кончено: нету хлеба.

...Да, о чем это он думал? О самых простых, изначальных вещах. О том, что с войной все стало на свои места. Грозно — но просто. Сомнений не было. Вот когда они наконец соединились — справедливость и верность!

Даже Юра это понял. Он, который всю жизнь во всем сомневался.

...Юра зашел попрощаться перед отъездом на фронт, в самые первые дни. Щеголеватый, подтянутый, тонкий в поясе, пилотка лихо надвинута на правую бровь, глаза темные, серьезные.

— Эким ты франтом, — сказал Костя.

— Не без того.

Юра еще туже обтянул спереди и собрал торчащими складками сзади новую, жесткую гимнастерку.

— Пилотка-то! Смерть девкам.

— Пилотка, как известно, должна делить правую бровь в ангармоническом отношении.

— Ну-ну. Выпьем, что ли, на прощанье?

Костя порылся в шкафу и извлек на свет божий запыленную бутылку. Вишневая. Откуда? Кажется, в позапрошлом году тетя Роза принесла, когда он болен был.

— Ликерчик, товарищ Плюшкин?

— Козявки и всякая дрянь напичкались было туда, но я весь сор повынул и теперь вот чистенькая, я вам налью рюмочку.

— Ишь ты, как шпарит. Прямо по Гоголю? Еще не забыл?

— Никогда не забуду.

Костя налил две рюмки и включил радио. Играли «Интернационал». И по тому, как Юра выпрямился, подтянулся, еще больше постройнел, Костя понял, что Юра — с ним.

— За это? — спросил Костя глазами.

И Юра ответил, тоже глазами:

— За это.

Путь еще далекий, надо держаться.

Костя шел и держался за веревку саней. С санями было легче, казалось, что он — не один. Их приходилось подтягивать, подбадривать, поправлять, когда полозья съезжали вбок. Кажется, минутами он даже разговаривал с ними. Ветер усилился и больно, сбоку, сек лицо обледеневшим снегом.

Впереди, довольно далеко, шел человек, плохо видный между сугробами. Он шел как-то странно, непрямо, сбивчиво и мало подвигался вперед. Костя почти догнал его, когда увидел, что человек не идет, а кружится, ходит кругами. Он петлял по снегу, как заводной, и круги становились все меньше и меньше. Покрутившись на одном месте, человек стал на колени и лег.

Костя подошел. Человек лежал ничком на снегу и не шевелился. Костя повернул его набок и увидел стеклянные, оскаленные глаза. Человек был мертв.

Кто знает, может быть, он был уже мертвый, когда шел и петлял — по инерции. Это бывает. Человек умер, а ноги идут.

Следовало что-то сделать для мертвеца, кликнуть, что ли милиционера, но где они все, милиционеры? Может быть, тоже умерли? На улице — ни души.

Костя подхватил мертвого под мышки — правая рука плохо помогала — и стал для чего-то оттаскивать к стене. Тут он усадил его, прислонив спиной к мерзлomu камню. Шапка сползла на лицо — он ее поправил.

— Уютно ли тебе? Прости меня, братец. Ничего больше не мог для тебя сделать.

И Костя пошел дальше.

Дороге этой, кажется, не будет конца. А идти надо. Остановишься — смерть. Ляжешь в снег — смерть.

Но вот человеческие голоса. Идут двое, разговаривают. Сладкой обыденностью пахнет людская речь. Костя прислушался. Говорил степенный, пожилой, видно — рабочий:

— Был дом — и нет дома. Гитлер что сделал.

...Ничего, слабость прошла. Можно опять идти.

Теперь уже совсем близко.

Здесь был каток, где он в первый раз увидел Рору. Каток тогда был обнесен деревянным забором. Забор сожгли. На пустыре свистит ветер...

Первая встреча с Ророй.

Это было зимой, два года назад, когда он, молодой, сильный, сытый и сам того не замечавший, пришел на каток. Он только что сдал (блестяще) предпоследнюю в жизни сессию и был рад, рад!

Ветер и движение. Над катком приплясывали разноцветные лампочки. Духовая и глупая музыка летела надо льдом. Костя любил духовую музыку, хотя знал, что это — не высший сорт.

Залихватски раскатываясь, он нечаянно толкнул какую-то девушку. Она упала. Он нагнулся и не сразу ее разглядел. Какой-то хаос из длинных ног, локтей, коньков, торчащей юбочки с меховой опушкой... И среди хаоса — лицо. Брови, поднятые к вискам, и на крупных, бледноватых губах нерешительная гримаска: то ли ей больно, то ли сейчас улыбнется.

— Простите, ради бога! — Он подхватил ее и поставил на лед. Она улыбнулась.

Ух, каким счастьем опажнула его эта улыбка! Он молчал, дурак дураком, и лупил на нее глаза. Она стояла на своих длинных, стройных, параллельных ногах, поправляя вязаную шапочку.

— Боюсь, что я вас ушиб. Не очень больно?

— Ничего, будем знакомы, — сказала она, подавая руку, — Рора.

Он проводил ее домой. Нога у нее все-таки немного болела. Он узнал про нее все. Студентка строительного института, будущий архитектор. Немного художница — это уж для себя. Таланта нет.

Любит кататься на коньках. Часто бывает на этом катке. Он тоже? Это приятно. Будем встречаться.

«Рора», оказывается, уменьшительное от «Аврора».

— Умные родители назвали ребенка крейсером.

Она немного картавила: крейсер... И в ответ на каждое воркующее «р» у него падало сердце. Кто это говорил с ним из прошлого? Нет, не надо.

...Это звучало как одно слово голубя. Аврора. Рора.

Он пришел.

Дом стоял большой и страшный, черный как уголь. Ни одна щель не светилась в окнах. В газетах пишут: за плохое затемнение — пять лет.

Он вошел в подворотню, пересек неузнаваемый двор, весь в сугробах и ямах, открыл дверь на черную лестницу. Шесть этажей предстоит ему. Шесть жизней.

Внизу, на лестнице, светилась щель в двери — домоуправление. Открыто? Это новость. Неужели оживает город?

Какая радость: открыто домоуправление! Он толкнул дверь и вошел.

На столе горела свеча, перед нею сидел незнакомый человек в перчатках, на которых не таял снег. Вероятно, новый управдом. Он спал.

Костя его окликнул. Управдом проснулся и поднял к нему бледное, отечное, пожелтое лицо.

— Вам чего?

— Простите, я из сорок восьмой квартиры, Левин. Не было мне писем?

Он знал, что почтальоны, по слабости, часто не доносят письма до верхних этажей.

— Писем не было, — сказал управдом и опять заснул.

Шесть этажей по обледенелой лестнице. Шесть жизней.

Вот и шестой. Он остановился на площадке, задыхаясь, перевел дух.

Полная темнота. Он нашарил замочную скважину, повернул ключ. Дверь скаречно закрипела. В коридоре пусто, пахнет мышами. Он нащупал свою дверь и вошел. Здесь было светлее, чем в коридоре, и почему-то пахло снегом. Ах, вот почему — часть потолка была разрушена, в пролом свисали искореженные чердачные балки, а в просвет видно было небо с неяркими звездами. Странно все-таки глядеть на звезды сквозь потолок собственной квартиры!

Письма, если они есть, должны лежать на столе. Так договорился с почтальоном. Схватился за карман: вот досада! Забыл спички, болван.

Или потерял.

Спички были драгоценностью. В этом месяце выдали: рабочим и ИТР — по две коробки, служащим и иждивенцам — по одной. Костя, как ИТР, получил две коробки, одну раздарил курящим, а другую сберег. И вот — потерял. Эх, растяпа!

Придется искать ощупью. Стол был завален известковым мусором, как строительная площадка. Мусор был ледяной, и у него заоченели пальцы. А тут еще он наткнулся на Рорины кисти — щетинистые, засохшие, затвердевшие на морозе — и испугался. Он уже ничего не ждал, как вдруг нащупал плоский конверт — письмо!

Письмо. Наконец-то!

Только как его прочитать? Спичек нет.

Черт возьми, должны же у кого-нибудь на свете быть спички!

Прошлый раз в квартире были живые люди. Тетя Дуня умерла еще в начале блокады, но кто-то из семьи, несомненно, был жив — хлопали двери, слышались шаги. Он зашел в соседнюю комнату, бывшую Генриха Федоровича. Темно и пусто.

В другой комнате на кровати под ворохом тряпья кто-то лежал. — Эй, люди! Есть тут кто? — тихо позвал Костя.

Никто не отзывался. «Мертвый», — решил Костя. Так и есть — под тряпками лежал мертвый человек, холодный и твердый, должно быть умерший уже давно. Волосы длинные — женщина. Кто это, Настя? А может быть, Шура? В темноте не узнаешь.

Ему нужно было достать спички, во что бы то ни стало. Он пошарил на полке. Помнится, здесь тетя Дуня держала спички. Разумеется, ничего нет. Смешно было их здесь искать. Спички — ценность. Хлеб...

Тут он вспомнил управдома со свечкой. Скорее туда!

...Вниз идти — не вверх. И все-таки тяжело.

В домоуправлении свет уже не горел, было пусто. Ушел и свечку унес...

В древности люди умели добывать огонь трением, высекать его из кремня. Умения утрачены... Костя сидел, держась за письмо. «Отдохну немного и пойду стучаться по этажам. Не может быть, чтобы ни у кого не было спичек».

Прошло несколько минут, и, глядя в темноту, он увидел где-то повыше своего лица тускло-оранжевую зубчатую ниточку. Неужели свет?

Да, это дали свет. Чудо! Слабо раскаленная оранжевая ниточка дрожала в темноте, вспыхивая и опять пропадая, а Костя уже разрывал конверт, напряженно вглядываясь и не видя букв.

Ниточка наконец окрепла. Костя читал. Письмо было от тети Лии:

«Дорогой Костенька, я уже не знаю, или ты получишь это письмо, или нет. Мне обещал передать его через партизан один верный человек.

Ой, Костенька! Не знаю, как и сказать тебе про наше горе.

После смерти дорогого Нафанаила я думала, что все во мне высохло и нет больше сердца, чтобы горевать. А вышло, что есть оно у меня, сердце.

Дорогую Рору и дорогую Циленьку взяли от нас еще в августе. Немцы говорили, что в лагерь, но я уже знала, что на смерть. Так оно и было.

Сначала они хотели взять только Циленьку. На нее был донос, что она еврейский ребенок. Про дорогую Рору они ничего не знали. Циленька испугалась. А Рора сказала ей: ничего, я пойду с тобой. Чего ты боишься, глупая? В лагерь нас берут. Ты же была в пионерлагере.

И Циленька успокоилась. А немцам Рора сказала: берите и меня, я тоже еврейка. Они взяли.

Ушла дорогая Рора — такая красавица, веселая, даже губы нарисовала. Но никуда их не увезли — всех расстреляли.

Теперь я тебя спрашиваю, Костенька: что же делается на свете? Или есть наш еврейский бог, или его нет? И зачем я, старая старуха, осталась жить? Я только мечтаю, чтобы это не было долго. Время пришло идти и мне к дорогому Нафанаилу.

Теперь я не знаю, Костенька, где ты есть и прочитаешь ли мое письмо. Думаю, что ты воюешь с немцами. Так знай, это не люди. Бей их и бей без всякой пощады, чтобы и семени их не осталось на земле.

Твоя тетя Лия».

Он сидел, положив голову на холодный клеенчатый стол. Сидеть было странно покойно, только резал щеку какой-то твердый предмет, карандаш, должно быть.

Лампочка над его головой давно уже, помигав, погасла. Ничего. Он успел три раза прочесть письмо, выучить его и усвоить. Все так.

Удивителен был этот покой. Тишина. Все внутри замерло. Ни одной мысли.

Первой мыслью, которую он осознал, была мысль о хлебе. Хотелось есть.

Он встал, завязал ушанку, поправил шарф, взял за веревку сани и двинулся в путь.

Он шел туда, домой, где были люди, немного тепла, немного еды и где для него, наверное, был оставлен белковый суп из дрожжей.

Он шел упрямо, наклонясь против ветра, и санки, как послушная собачка, бежали с ним рядом.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«...Результаты голосования:

Двадцать три — за, два — против, и один бюллетень признан недействительным.

На основании подсчета голосов комиссия считает принятым решение:

Присвоить Левину Константину Исааковичу ученую степень кандидата технических наук.

Следуют подписи членов комиссии».

Кто-то хлопнул в ладоши — раньше времени. Председательствующий строго поглядел поверх очков.

— Товарищи члены совета, нам предстоит утвердить протокол. Кто за утверждение? Так. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Протокол утверждается единогласно.

...Аплодисменты. Ух ты, как долго.

Председатель совета — директор института Сергей Петрович Пахомов — тяжело обвисая пузом, спустился с помоста и обеими руками несколько раз потрянул руку Константина Левина. Синие свинные глазки ласково глядели из-под взъерошенных, седоватых бровей. Руки у директора были полные, бледные, холодные наощупь, в крупных веснушках — каждая с гривенник. Он мял Костину руку и никак не мог отпустить. Слава богу, отпустил. Начали подходить с поздравлениями другие...

Отовсюду руки. Сколько их! На минуту мир обратился в плакат: сонмище добрых, дружеских протянутых рук.

Интересно, кто же все-таки голосовал против? Среди тех рук, которые он сейчас пожимает, наверняка есть две — против. Нет, зачем о них сейчас думать? Вон сколько радостных рук — каждая «за».

И вот среди рук одна — дороже всех. Тонкая, смуглая рука. Юра. Друг. Нет, больше друга — брат. Нет, ничего нет больше друга. Друг.

— Поздравляю, старик. Молодцом.

— Спасибо, Юра. Без тебя бы...

— Ну, пошел. Ересь.

Подошла Анна Игнатьевна. Широкое, некрасивое лицо сияет, кожа под крашеными полосками редких бровей покраснела пятнами.

— Ну, поздравляю, — сказала она басом. — Теперь вы себе можете представить ощущение только что родившей женщины. Совершенно одно и то же. Я-то знаю, мне приходилось и то и другое...

— Стараюсь, Анна Игнатьевна.

— Ну-ну.

Руки, руки. А вот и профессор Поспелов, Николай Прокофьевич. Острый нос, острый кадык — весь углом.

— Слушал вас с удовольствием. Не так уж часто приходится слышать речь культурного человека. Особенно в вашем поколении. Позвольте, однако, заметить, что в слове «проведены» ударение ставится на последнем слоге.

— А я как сказал?

— Проведены.

— Какой ужас! Так и сказал?

— Да, к сожалению.

— Не понимаю, как это могло случиться. Я сам этого терпеть не могу.

— Ничего не поделаешь. Веянье времени. Я сам однажды с трибуны сказал: «современный».

А вот и лаборант Володя — розовый, с вертикальным вихром и несимметричными ушами. Мальчик только-только из десятилетки, а толковый. Вот кто подлинно рад — как за самого себя. Жмет руку, словно насос качает.

— Спасибо, Володя, милый.

Подошла стенографистка, Надюша Пустовойтова.

— Поздравляю, Константин Исаакович. И знаете, за вами очень легко было писать. Я почти ничего не спутала. Только в одном месте, какие-то статистические процессы...

— Стохастические, Надюша...

— Ой, наврала. Вы потом посмотрите стенограмму?

— Конечно. Только я не люблю читать свои стенограммы. Очень уж глупо получается. Читаю и думаю: неужели я и вправду такой дурак?

— Это не вы один.

— Что? Все дураки?

— Нет, я не это хотела сказать. Я хотела сказать, что, когда записываешь, даже совсем точно записываешь, устная речь меняется. Говорит человек — умно. А запишешь — глупо. Может быть, он, когда говорит, скрашивает чем-нибудь, улыбкой, что ли.

— Ого, Надюша, а вы, оказывается, можете говорить длинные речи.

— Это я редко. Так я занесу стенограмму? Где вас найти?

— В лаборатории, как всегда.

Зал, группками, беседуя, начал расходиться. Костя вышел в коридор. Еще тянулись к нему запоздалые руки, но в основном все было кончено. Кандидат.

Его подхватил под руку Юра.

— Еще раз поздравляю. К тебе не пробьешься. Хорошо держался. В ответе на вопрос Яковлева чуть-чуть сбился: надо было определеннее подчеркнуть роль запаздывающего звена.

— Да, пожалуй... А Васильев-то? Со своим философским вопросом? Насчет познаваемости мира?

— Хотел выслужиться. А что вышло? Ох, трудно дураку жить на свете...

— Да ну его к черту. Слушай, Юра, я счастлив.

— Естественно. Я тоже в аналогичной ситуации был счастлив.

— Постой, мне приглашать нужно. Помоги-ка мне. Все разбежались.

— Ничего, разыщем. Кого приглашать?

— Старика, разумеется. Оппонентов. Поспелова. Анну Игнатьевну. Лабораторию, конечно, всю. В общем, на твое усмотрение. Только учти — комната восемнадцать метров. Сегодня, ровно в восемь.

— Васильева звать?

— Черт с ним, пригласи на разводку. Без хорошего дурака вечер не вечер. Ну, беги скорее.

— Добро.

Они разошлись в разные стороны — приглашать. «Как это делается? — размышлял Костя. — Меня самого часто приглашали, а я не запомнил — какими словами? "Позвольте пригласить вас сегодня ко мне?", или: "разрешите пригласить вас...", или: "я бы хотел пригласить вас на небольшой вечер по поводу сегодняшнего события"? Фу ты, пошлость какая! "Я бы хотел..." Почему "бы"?».

Он подошел к Анне Игнатьевне.

— Анна Игнатьевна...

— Что, Костя? Вы позволите мне, старухе, называть вас «Костя»?

— Что вы, Анна Игнатьевна, какая вы старуха. Не позволю.

— Брови щиплю. Губы мажу. Стараюсь не опускаться. А все-таки по сравнению с вами я старуха.

— Анна Игнатьевна...

— В вашем-то возрасте я еще ничего была. Вам сколько? Тридцать пять?

— Тридцать один.

— У, совсем мальчик. А седины-то у вас порядочно. Я думала — тридцать пять. Или сорок, но молодо выглядите.

— Анна Игнатьевна, позвольте вас пригласить...

— На банкет? С удовольствием. Люблю поесть, грешным делом.

— Это не банкет, а небольшой вечер, у меня дома...

— Еще лучше. Спасибо. Адрес давайте. В восемь? Приду не раньше десяти. Купаю внука.

...Уф, удалось-таки пригласить. Но сколько времени ушло на одну Анну Игнатьевну! Ничего, лиха беда начало.

Через полчаса дело было сделано. С помощью Юры он пригласил всех. Даже больше. Юра перестарался. Откуда-то набралось до тридцати человек...

— Куда я их рассажу?

— Ничего, не все придут, — сказал Юра. — В крайнем случае устроишь филиал в санузле. Ну, привет.

— А ты куда?

- Домой.
- Да, тебя-то я и не пригласил.
- Полагаю, это излишне. Так в восемь?
- В восемь.

Юра потупился и, отвернувшись, спросил:

— Мне одному приходиться? Или с Лилей?

Костя на секунду замялся.

— Ты знаешь, я всегда буду рад видеть тебя с Лилей. Но ведь мы же всех приглашали без жен... А впрочем, как ты сам... Ну, приходи с Лилей... Юра, да что ты, неужели обиделся?

— Обиделся? Абсурд. Все ясно. Приду один.

Юра ушел. Костя остался в лаборатории. Плохо, неладно получилось с Юрой. Эх, дурак я, дурак! Надо было самому пригласить Лилю. Не догадался. Просто не пришло в голову.

Он не любил Юрину жену.

Когда они встретились после войны, Юра был уже женат. Он сошелся где-то на фронте с женщиной-врачом, старше себя лет на десять, да так и остался с ней. Звали ее вычурно, с претензией: Леонилла Илларионовна. Костя всегда путался в этом каскаде «л». Юра называл ее Лилей. Нежное такое, девичье имя. Наверно, Юра ее любил: зачем бы иначе женился? Но что там можно было любить?

Юра привел ее сразу, как только вернулся в Ленинград. Юрина жена... Вот уж не подумал бы! Высокая, нескладная, в линялой гимнастерке с плохо пришитыми погонами майора. Жилистая шея все время вертелась в широком воротнике. Если ей нужно было посмотреть куда-нибудь, она поворачивала не глаза, а шею. Что-то свиное... Ногти хирурга — коротко, по самое мясо, срезанные, окрашенные йодом. Она крутила самокрутку и, вертя шеей, бесцеремонно оглядывала комнату.

— Небогато, — сказала она.

Он и сам знал, что у него небогато, но в их кругу это как-то не принято было замечать.

Она села за стол и сразу же стала рассказывать, как сегодня вскрывала абсцесс на ягодице.

— Гной так и брызнул. Засыпала стрептоцидом. На фронте в таких случаях мы применяли фумигацию, дымоокуривание. Дно раны очищается, процесс грануляции идет быстрее... Черви...

— Лиля, — умоляюще сказал Юра.

— Твой товарищ, кажется, не девушка?

Костя поспешил уверить ее, что нет.

Юра, ему не надо было ничего объяснять. Он сразу понял, что его жена Косте не понравилась. Они никогда об этом не говорили, только один раз, потом, и по другому поводу, Юра сказал:

— Ты мало что понимаешь.

Костя и в самом деле мало что понимал. Чем держится эта семья? Он не любил бывать у них и был-то всего раза три-четыре, не больше.

У Юриной жены была от первого брака дочь Наташа, лет двенадцати, калека. Туберкулез позвоночника. Она лежала, не вставая, на узкой железной кровати, в гипсовом корсете по самые плечи, и могла только двигать руками и чуть-чуть приподнимать голову. Кровать стояла у окна. Рядом с Наташей всегда лежало зеркало, чтобы можно было смотреть, что делается на улице. У девочки было узкое, бесцветное личико и большие, серьезные, немигающие глаза — точно такие глаза Костя видел однажды в зоопарке у лемура, ночного животного. Лемур сидел в клетке и горевал. Кругом толпились, курили. Лемур был серьезен. Какой-то ребенок бросил ему конфету — лемур даже глазами не повел...

Эта непроницаемость всегда пугала Костю в Наташе.

А Юра любил ее — это было видно. Садился к ней на кровать, брал в руку ее тонкие, вялые пальцы, и она улыбалась одним уголком рта.

— Как жили, что видели? — спрашивал Юра.

Наташа отвечала детским-детским тоненьким голоском:

— Машину видела, красную. Собачка проходила, и с ней тетя...

Когда Юра глядел на Наташу, лицо его трудно было узнать — такая доброта, мягкость... Никогда его Костя не видел таким. Даже с Цилей...

А на работе Юра был прежний — ироничный, подтянутый. Они вот уже три года работали рядом, рука в руку. Если бы не он, ничего не было бы: ни работы, ни защиты, ни степени...

Костя обернулся: кто-то вошел. А, это Надюша.

Она стояла у стола — небольшая, полненькая, незаметная, с ясным овальным лицом и спокойными синеватыми глазами.

— Я принесла стенограмму.

— Ну-ка, давайте.

Костя просмотрел четыре машинописных листа, поправил текст в двух-трех местах:

— Ну что же, вполне прилично. Я даже не выгляжу в вашем изложении таким уж полным идиотом.

— Спасибо.

Необычайное спокойствие, шедшее от этого лица, возможно, было связано с его овальной формой... Яйцевидная форма вечности... И вдруг, неожиданно для себя, Костя сказал:

— Послушайте, Надюша. У меня к вам странная просьба. Я сегодня пригласил к себе кое-кого из товарищей. Не согласились ли бы вы помочь мне? Ну, похозяйничать, что ли... Стол накрыть... Еда уже куплена, вино — тоже.

— А вы... Хорошо, я согласна.

— Ладно, по рукам. Занесите-ка стенограмму куда нужно и сразу — ко мне. День-то рабочий ваш кончился.

— Только, я думаю, мне надо переодеться?

— Зачем? По-моему, вы и так прелестно одеты. Я без шуток.

— Стульев мало, — сказала Надюша.
— На кухне есть табуретка, — вспомнил Костя.
— Несите, не помешает. Только это капля в море.
— Поставим чемоданы, радиоприемник. Сергея Петровича — на радиоприемник, а? Свесится с обеих сторон.

— Нет, уж это нельзя. Знаете что? Подвинем стол к тахте, на нее человек шесть усядутся.

— Низко.

— Ничего. Посадим высоких.

Передвинули стол. Бутылки и рюмки пошатнулись и успокоились.

— Ну как, с точки зрения буржуазных стандартов? — спросил Костя.

Надюша критически оглядывала стол. Еды, правда, было много, еще непривычной после войны, еще дорогой, красивой еды. Бутылок — тоже много, и на каждую Надюша надела гофрированный бумажный воротничок. С этим все в порядке. Но сервировка... Откуда только натаскал эту посуду хозяин? Щербатые тарелки, разнокалиберные рюмки, граненые стаканы, даже мензурки...

— Не нравится? — спросил Костя.

— Еда нравится, посуда — нет.

— Как же быть?

— Постойте... у соседей взять?

— Соседи на даче.

— Ну, у других соседей, через площадку.

— А вы можете?

— Я могу. А вы — нет?

— Я не могу. У меня просто мороз по коже идет, когда нужно обращаться к незнакомым людям.

— Все люди — знакомые.

— Хорошо вам, наверно, жить!

Надюша не ответила.

— Так я пойду через площадку, — сказала она, помолчав.

— И я с вами. Была не была!

Они позвонили в дверь напротив — клеенчатую, строгую, с медными гвоздиками по краям. Им долго не открывали. Наконец послышались шаги, и взъерошенный старик высунул голову.

— Вам кого?

— Здравствуйте, — сказала Надюша. — Мы из квартиры напротив. Мой знакомый, ваш сосед, Константин Исаакович, — вот он сам тут, — сегодня защитил диссертацию.

— А я тут при чем? — спросил старик.

— Мы празднуем сегодня и пришли вас пригласить. А заодно хотим попросить у вас немного посуды.

«Молодец, Надюша, — подумал Костя, — как она просто и славно его пригласила. Я бы не догадался.»

Старик был удивлен, но польщен, видимо.

— Знаете, милая девушка, — сказал он, — я никогда не хожу в гости. Вредный обычай. Нажрут, напьются, а за ними убирай. Разве в еде счастье?

— Конечно, не в еде. Но ведь такой случай...

— Ну, ладно, идем, посмотрим в буфете. Вы тоже, товарищ, проходите, чего там.

Они прошли в темноватую комнату, где царил буфет. Старик распахнул дверцы.

— Что понравится, — гордо сказал он.

Надюша даже ахнула. Вот это посуда! На верхней полке — тонкие розовые рюмочки с золотым ободком, ниже, стопками, сероголубые тарелки с белыми цветами, такие же блюда, салатники, соусники...

— Гарднер, — лаконично сказал хозяин.

— И это можно взять?

— Я сказал: что понравится.

Надюша стала отбирать посуду.

— Костя, несите рюмки, только осторожно, не разбейте. Я возьму тарелки, и этот салатник, и мисочку...

— Это соусник. Вы, молодежь, даже не знаете, что такое соусник.

— Будем знать. Спасибо. А блюдо, для бутербродов — можно?

— Все можно.

— А ваша жена... не рассердится?

— Я один, — сухо сказал старик.

Он взял стопку тарелок, прижал подбородком, хотел нести.

— Что вы, не беспокойтесь. Спасибо, мы сами. Ну, какой же вы милый! А как вас зовут?

— Иван Михайлович.

— Я не забуду. Спасибо, Иван Михайлович, вот Костя идет, он возьмет тарелки. Так мы вас ждем. Непременно. В восемь часов.

Стол пришлось накрывать заново, но зато какое получилось великолепие!

— Это еще дореволюционные тарелки, — сказала Надюша. — Фабрики Гарднера. Теперь таких нет.

— А вы любите посуду?

— Очень люблю. Но у меня ее нет и никогда не было.

— А я ничего не понимаю в посуде, и в одежде тоже. Но, глядя на этот стол, я понимаю, что вы все очень красиво устроили.

— Только мне нужно причесаться. Есть у вас гребень?

— Есть, но...

Костя конфузливо достал гребешок с обломанными зубьями.

— Ничего, давайте.

Она распустила волосы и стала причесываться. «Что-то есть все-таки в длинных волосах, — подумал Костя. — Стриженная женщина всегда одинакова, а с косами — распушит их и другая...»

У Надюши были светлые, тонкие, негустые волосы и широкий, чистенький пробор посередине. Прямой пробор — классический, годный только для ясных, правильных лиц. Когда она причесалась, гладко, туго натянув волосы по обе стороны пробора, лицо стало еще больше похоже на белое яичко. А она, оказывается, хорошенькая! Как это он раньше не видел? Впрочем, он и на настоящих-то хорошеньких не смотрел.

Звонок — гости.

Первым, на свою беду, пришел лаборант Володя. Бедный первый гость — всегда ему плохо. Володя стоял, мял руки и не знал, куда себя девать.

Вторым появился самый почетный гость — Сергей Петрович. Ну, скажите на милость, что с ними двумя делать? Сажать за стол? Рано.

К счастью, вернулась с кухни Надюша. Она-то знала, что делать с гостями и как их занять. Она сразу усадила директора в кресло, попросила Володю откупорить бутылки, чем тот охотно занялся, а сама села рядом с Сергеем Петровичем и заговорила — спокойно, открыто, доброжелательно, словно век была с ним знакома, а ведь никогда поди с ним и не разговаривала... Через три минуты она уже знала имена директорских внуков, знала, что жена его — на даче, дача хорошая, только переплатили, а любимую его таксу зовут Жулька.

Звонки, звонки... Гости собирались.

«Как это она всегда знает, что нужно? — думал Костя. — Кому что сказать, куда посадить, что спросить? Я этого не знаю. Мне не хватает настоящего ума. Ум — это знать, что к чему».

Он здоровался, здоровался, а гости все шли.

Вот и Иван Михайлович. Он переоделся в черную пару — даже не в пару, а тройку с жилетом. От него пахло нафталином и парикмахерской. В обеих руках он нес большой букет пионов и преподнес его Надюше:

— В вашу честь.

Она даже руками всплеснула:

— Спасибо! Красота какая!

Где-то раздобыла вазу (Костя и не знал, что у него есть ваза) и поставила цветы в центр стола.

— За стол, пожалуйста, — сказала Надюша.

Вечер складывался удачно: все как-то сразу сели, не чинились, не церемонились, сели, заговорили.

В те первые послевоенные годы люди еще не успели привыкнуть к хорошей еде. Накрытый стол с розовой колбасой, желтым сыром, светлым сливочным маслом сам по себе был картинкой.

— Натюрморт, — сказал, садясь за стол, Николай Прокофьевич.

Все были веселы, Надюша — прелесть, Костя был счастлив.

Директор института встал.

— Товарищи, — сказал он, постучав ножом по бутылке. — Налейте бокалы! Разрешите мне поднять тост за того, которому мы все обязаны нашими достижениями. За величайшего полководца всех времен и народов, корифея науки, любимого и дорогого учителя и вождя — товарища Сталина! Ура, товарищи!

«Ура» прозвучало довольно нестройно. Все густо зашевелились, встали, потянулись друг к другу рюмками.

...Каждый чокнется с каждым. Сколько это будет раз? Число сочетаний из «п» по два. Чему равно «п»? Здесь, кажется, двадцать пять человек. Двадцать пять на двадцать четыре, поделить на два — триста. Триста чоканий. Каждый с каждым. Пропустить нельзя.

Когда Косте было неловко, он всегда начинал считать.

Отчокались. С облегчением сели, выпили, зажевали, заговорили.

Скоро стало совсем шумно. Люди быстро пьянели — не столько от вина, сколько от хорошей еды.

— Нет, вы подумайте, друзья, — сказал Николай Прокофьевич, — если бы нам показали такой стол четыре года назад!

«Какие все милые, — думал Костя, — какие веселые».

Поднялся Юра.

— За нашего товарища. За моего друга. За нового кандидата наук Константина Левина. И пусть ему всегда будет так хорошо, как сегодня.

Костя встал. Другие тоже встали, потянулись к нему рюмками. Кто прямо через стол, кто с обходом. Фу ты черт, глупый обычай, а трогает до слез. Юра взял его за отворот пиджака и поцеловал:

— Кажется, первый раз в жизни.

Подошел Володя. Вино в розовой рюмке вздрагивало:

— Константин Исаакович! Вы даже не знаете, что вы для меня сделали!

— Глупости, Володя! Что я такого для тебя сделал?

— Вы смотрели на меня, как на человека.

Николай Прокофьевич тоже подошел — нарядный, но нестриженный. Крахмальная манишка — горбом на груди.

— Странный обычай — чокаться, не правда ли? Откуда он возник? Никогда не встречал в литературе.

— Не знаю, Николай Прокофьевич. Не все ли равно? Чокнемся!

— Ну, ученого из вас не выйдет. Ученому не может быть все равно.

— Что поделаешь? Видно, не быть мне ученым. Останусь так. Чокнемся, Николай Прокофьевич! Можно вам налить?

— Да уж налейте.

Костя взялся за бутылку. Николай Прокофьевич взвизгнул:

— Ах, что вы делаете?

— А что? — спросил Костя.

— Вы наливаете через руку. Как это можно?

— А почему нельзя?

— Юноша, вы очень необразованы. Надо бы знать, что через руку наливают только палачу.

— Вот не знал. Откуда бы мне это знать?

— А я откуда знаю? Читать надо, книжечки надо читать, молодой человек. Эх, поколение! Так и быть, чокнемся.

Вот и еще кто-то подошел с рюмкой: Надюша. Костя увидел сверху ее чистый, девичий пробор и поднятые к нему спокойные глаза.

— За ваше счастье, — сказала она.

— За ваше, — ответил Костя.

На минуту эти два счастья соединились.

Тут слово взял Иван Михайлович.

— Разрешите мне от лица, так сказать, соседей и жилпуправления. От лица актива. За прелестную хозяйку этого дома!

Юра кинул вопросительный взгляд. Костя покраснел, замотал головой: «нет, нет». Гости зашуршали: «как? мы и не знали! давно?» Надюша встала.

— Это ошибка, — сказала она без тени смущения. — Я не хозяйка. Меня попросил Константин Исаакович похозяйничать здесь только один день. И я охотно согласилась.

— Тем более! — заревел Иван Михайлович. — Тем более надо за нее выпить!

Все захлопотали, заулыбались, стали пить за Надюшу.

...Звонок. Все насторожились, словно ветерком подуло. Кто бы это, так поздно?..

Нет, это Анна Игнатьевна. Вошла, роскошно декольтированная, в парчовом платье, щедро показывая мощные окорока рук.

— Купала внука! Это явление! Нет, товарищи, я знаю: все бабушки так говорят, но не могу удержаться: мой внук — необыкновенный! Какое развитие для пяти месяцев! Костя, дорогой! Дайте я вас поцелую.

Ей налили рюмку.

— Милый мальчик, милый, — сказала она и прослезилась.

— Я или внук?

— Оба.

Она чмокнула его в щеку, стерла отпечаток помады своим носовым платком и пролила вино ему на брюки.

— Ничего, это к счастью.

— Все к счастью сегодня, Анна Игнатьевна.

И правда, все было к одному — все было к счастью! Какие-то, один за другим, говорились тосты самые обыкновенные, но сегодня они звучали иначе. За науку! За будущее! Все тянулись друг к другу, чокались и пили. За науку! За будущее, черт возьми!

Первым собрался домой директор. Снова жал Костину руку. Его уговаривали остаться — всем казалось, что без него никак нельзя, но он ушел — и стало еще веселее.

Средоточием вечера явно был Юра. Возле него все время бурлило веселье.словно из него бил источник смеха. Бог знает, что

он говорил — а все смеялись. Может быть, тут дело было в голосе. Когда Юра говорил таким голосом — чуть зажатым, горловым, с запиночкой, — не смеяться было невозможно. Он рассказывал в лицах, как он сдавал заказчику договорную тему. Тему он представлял почему-то в виде арбуза, который заказчик должен был проглотить. И проглотил. Подумаешь, сюжет, — а все дошли со смеху. Анна Игнатьевна стонала, размазывая по лицу ресницы. Даже Николай Прокофьевич сказал:

— Вы бы могли сделать карьеру. В вас погиб замечательный клоун.

— Меня можно рассматривать как братскую могилу целого ряда специальностей, — серьезно ответил Юра.

Костя сидел рядом с Надюшей и все время чувствовал ее присутствие. Он мало пил и не был пьян — только уравновешен и счастлив. Он смеялся вместе со всеми, но не терял своего чудесного равновесия. Надюша спокойно поворачивала туда и сюда гладкую голову, наблюдала — едят ли гости, у всех ли есть хлеб, не пора ли заменить тарелку. Никакой хлопотливости. На все у нее было времени ровно столько, сколько нужно. Время от времени она вставала, подходила к кому-нибудь, наклонялась над ним с радушной улыбкой, что-то ему предлагала, передвигала тарелки, и Костя неуютно ощущал рядом с собой пустой стул и не мог дожидаться, когда она сядет. Каждый раз, как она садилась, он вздыхал облегченно. Что-то было в этом от детского ощущения: «мама рядом».

Всех удивил Васильев. Вдруг он попросил слова: «Хочу поднять тост».

— Не тост, а бокал, — крикнули ему. — Тост не поднимают, а пьют.

— Неверно, — перебил кто-то, — не пьют, а предлагают...

— Ну, кажется, здесь никто толком не знает, что делают с тостом.

— Произносят, — сказал Николай Прокофьевич.

— Хочу поднять бокал, — сказал Васильев, — и произнести тост.

— Валяй.

Васильев встал, поднял рюмку и прищурился.

— Пью за то, чтобы никто из здесь сидящих не сел.

Вот так тост! Гости частью засмеялись, частью были шокированы. В общем, смутились. Кто-то выпил рюмку, кто-то отодвинул свою.

— Ай да дурак, — шепнул Юра Косте. — Как ты думаешь, это он по наивности или нет?

— Черт его знает. Ничего нет загадочней души дурака. Разве что душа подлеца.

— Ну тут-то уж нет никакой загадки.

— Нет, как раз загадка глубокая. Ведь каждый подлец внутри себя прав. Не может же он жить, сознавая, что подлец?

— Это ты прав, пожалуй.

Гости ушли, последним — сосед Иван Михайлович. Он был пьян и целовал Надюше руку — раз за разом, не мог прекратить.

— Да я за вас... Да я за вас на тот свет пойду. Только скажите.

— Дорогой Иван Михайлович, зачем мне посылать вас на тот свет?

— А вдруг понадобится?

— Хорошо, я учту.

— Посуда! Я не то что посуду, я жизни для вас не пожалею. А вы за него замуж не выходите. Не стоит он вас.

— Да я и не думаю за него выходить.

— А то выходите, черт с ним. Посуду в приданое отдам.

— Посуду я перемою, Иван Михайлович, а Костя вам завтра отнесет. Ладно?

С трудом удалось переправить Ивана Михайловича через площадку. Стоя одной ногой в своей квартире, другой — на лестничной клетке, он все продолжал объясняться в любви. Наконец дверь за ним закрылась. Костя и Надюша вернулись к притихшему, разоренному столу.

— Правда, весело было? — сказала она. — Я так смеялась. А теперь вымою посуду.

— И я с вами.

Они убрали все со стола и снесли на кухню. Поставили греться воду.

— Кота нет? — спросила Надюша.

— Какого кота?

— Домашнего. Или кошки.

— Нет. А зачем вам?

— Чтобы остатки не пропадали.

— Нет. У меня пропадают.

— А на лестнице кошки есть?

— Должно быть, есть. Никогда не интересовался.

Она собрала все остатки в бумагу и открыла черный ход. Костя вышел за ней.

— Кис, кис, кис, — звала Надюша.

В полутьме лестничной клетки, под закопченной лампочкой в десять ватт, волосы у нее светились золотыми паутинками.

Откуда-то появилась пара голенастых, ободранных котов. Воинственные, бойцовые коты, крышеходы. Они с жадностью набросились на еду. Каждый ел и рычал на другого.

«...Как в сказке, — думал Костя, — девочка, ученица феи, и при ней — коты...»

Вернулись на кухню. Вода уже согрелась.

— А передник у вас есть?

«Нет у меня ни передника, ни кота», — подумал Костя.

— Чего нет, того нет. Старый пиджак годится?

— Давайте.

Надюша надела пиджак задом наперед, и он оказался ей почти до колен. Костя застегнул пуговицы у нее на спине. Она загнула рукава и стала мыть посуду. Костя вытирал.

Рюмки она перетерла сама. Дышала в каждую, протирали и глядела на свет.

— Кажется, все.

Она оглядела строй розовых рюмочек, стопки тарелок.

— Завтра отнесете это все Ивану Михайловичу. Расстегните пуговицы. А теперь я пойду домой.

— Надюша, только не подумайте ничего плохого, но зачем вам уходить? Ведь поздняя ночь, ни автобусов, ни трамваев. Я, конечно, вас проводил бы, но дело не в этом. Вам далеко?

— На Петроградскую.

— Ну вот, а вы устали. Оставляйтесь-ка. Я вас уложу у соседей, я знаю, где они оставляют ключи.

— Я боюсь.

— Ну, знаете, я не пошляк.

— Да не вас я боюсь, вот смешной. Боюсь, что соседи будут недовольны, что без их ведома кто-то ночевал.

— А они не узнают.

— Как сказать? Вдруг утром приедут неожиданно, и на тебе — жилища.

— Вот и хорошо. Я вижу, вы уже согласны, вы очень мило улыбнулись. Сейчас достану ключи.

На обычном месте, на кромке дверной рамы, ключей не оказалось. Где они могут быть? Он обыскал все возможные места...

— Нету ключей.

— Ну что же, не вышло, значит.

— Надюша, будет очень глупо, если из-за каких-то дурацких ключей... Ночуйте у меня. Я могу пойти на кухню.

— Нет, зачем на кухню? Я вообще не вижу здесь ничего особенного. Ведь спим же мы в одном купе с посторонними? Я даже охотнее переночую у вас, чем у соседей.

— Умница! Вот уж не думал, что вы такой молодец. Только вот горе: у меня нет простынь.

— Это ничего. Я ведь не из неженков.

— Я тоже. Это будет очень нахально, если я вам положу скатерть?

— Ту, на которой мы сегодня пили? Ну, нет. От нее, верно, пахнет селедкой. И красным вином. Целые лужи налили и солью засыпали.

— А еще говорите: не из неженков. Нет, не бойтесь, я вам не эту предлагаю, а другую. Девственно чистую.

— Прекрасно.

Костя вытащил скатерть и стал стелить Надюше на тахте.

— А вы?

— Я на сундуке. Видите сундук? Я на нем половину жизни спал.

- Вам же коротко.
- Стул приставлю.
- Смотрите, вам будет неудобно.
- Мне — неудобно? Мне не может быть неудобно.
- Мне тоже.
- Ну, ложитесь, Надюша. Я выйду в коридор, а вы пока ляжете.

Потом я войду, вы отвернетесь к стенке, и я лягу.

- Нет, мне надо сначала помыться.

— Мойтесь, пожалуйста. Вот полотенце, чистое. Мыло на полочке справа.

— Пойду, а вы пока ложитесь. Или, может быть, вам тоже надо помыться?

- Зачем? Я уже сегодня мылся.

— Я так и знала. Мужчины вообще редко моются по собственному желанию больше раза в день.

— Иногда моемся, но мы не фанатики. Можно иной раз лечь и не помывшись. Особенно в день защиты диссертации. Сегодня я и без мытья хорош.

- Так и быть, не мойтесь, а я пойду.

Костя постелил себе на сундуке и лег. Ого, как он, оказывается, вырос с тех пор, как последний раз спал на сундуке! Ноги свисали на добрых полметра. Он повозился-повозился и переложил тюфяк на пол. Получилось прекрасное ложе. Вытянулся — здорово!

Вошла Надюша.

- Уже на полу, — спокойно сказала она.

- Да, вырос из сундука.

- Ну, отворачивайтесь.

Костя отвернулся. Она ходила, поскрипывала, чем-то шелестела, наконец, легла. Жестко закрипела крахмальная скатерть.

- Вам удобно?
- Великолепно.
- Свет потушить?
- Пожалуйста.

Свет погас. В комнате постепенно заголубело. Белая ночь. Голубая.

- Надюша, вы не спите?
- Нет, Костя.
- Можно вам задать один вопрос?
- Пожалуйста.
- Вас никто не ждет дома? Не беспокоится?
- Нет, я одна, как Иван Михайлович.
- И раньше были одна?
- Нет, я была замужем.
- А ваш муж...
- Его нет. Он погиб на войне.
- Простите, что я спрашиваю. Это нельзя?
- Нет, кажется, можно. Вы ведь по-хорошему спрашиваете.

— А детей у вас не было?
— Был один. Он умер. Во время блокады.
— Простите, Надюша, милая.
— Ничего, Костя.
— Вы плачете?
— Ничего, Костя. Это хорошо — иногда поплакать. Не думайте, что вы мне напомнили. Это всегда со мной.

— Костя, вы спите?
— Нет, Надюша, не сплю.
— Я вам все про себя рассказала, а вы мне — ничего.
— Это верно. Я расскажу. У меня была жена, Рора, Аврора. И сестра Циля. Перед самой войной я их отправил к тетке, под Житомир. Когда немцы заняли Житомир...

— Не надо, молчите, Костя. Я все поняла.

— Костя, вы еще не спите?
— Нет, дорогая.
— Вы плачете?
— Совсем немножко.
— Костя, вы очень любили Рору?
— Очень.
— Это плохо, что мы сейчас о ней разговариваем?
— Нет. Я сам об этом себя спрашивал и решил, что не плохо.
— Почему-то считается, что нужно молчать о самом важном.

Верно это?

— Отчасти верно. Нет. Все зависит от того, как говорить.
— Но трудно же всю жизнь молчать.
— Говорите, Надюша.
— Ну вот. Я тоже очень любила Сережу, мужа. Но маленького я любила больше. Он ведь совсем недолго жил, а я его больше всех любила. Главное, это было почти одновременно. Накануне получила извещение, а на другой день мальчик умер. Я думала — так не бывает. Не верила. У меня все спуталось. Я виновата перед Сережей: из-за маленького я ему почти не уделаила горя.

— Я это понимаю.

— Ну, спите, Костя.

— Надюша, я вас расстроил, вы не спите и все вздыхаете. Экий я болван.

— Нет, милый, не упрекайте себя. Напротив, я рада, что все вам рассказала.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Давайте.

— Знаете, сегодня я себя чувствовал невероятно, колоссально счастливым. За все нормы!

— Как это хорошо!

— И знаете, не только из-за диссертации. Ну, конечно, и из-за нее тоже. Но не только. Во-первых, я очень почувствовал, как-то по-особенному, что у меня много друзей. Кроме того, мне показалось, что и в науке у меня кое-что получается.

— А раньше вы в этом не были уверены?

— Нет. В сущности, я не ученый. Пожалуй, мне не надо было заниматься техникой. Скорее, мне надо было стать врачом. Как мой дедушка. Он прекрасный врач, до сих пор работает, несмотря на годы.

— А кто еще у вас есть, кроме дедушки?

— Сестра его, тетя Роза. Я вас как-нибудь туда сведу. Любопытная пара.

— А ваши родители?

— Оба умерли. Мама умерла, когда мне было тринадцать лет. А отца посадили в тридцать седьмом году. Он умер в тюрьме.

— Как страшно.

— Да. Я с отцом не был особенно близок, но все-таки был уверен, что он ни в чем не виноват. До сих пор уверен. Если бы он не умер, я убежден, его бы выпустили.

— Костя, всех невинных выпускают?

— Хочу думать так, Надюша, милая.

— И я хочу. Но иногда не удается. Страшнее всего, что никто никому не верит. Все про себя что-то думают и молчат.

— Говорим же мы с вами сейчас...

— Это так редко бывает. Вы меня не боитесь?

— Нет, не боюсь.

— И я вас. Как это хорошо.

— Надюша, у вас никого не сажали?

— Из близких — нет.

— А кто у вас есть из близких? Хочу все про вас знать.

— Очень мало, почти никого. Отца я плохо помню, он умер, когда я была совсем маленькой. Мама долго болела и умерла, незадолго перед войной. Мы остались с братом, он работал на заводе, а я поступила на курсы...

— А брат где теперь?

— В Новосибирске. Мы иногда переписываемся, но редко. У него семья, ему не до меня. А у вас кто самый близкий?

— Юра Нестеров. Вы его знаете.

— Юрий Борисович? Знаю.

— Это мой самый близкий друг. Ближе брата. А что, он вам не нравится?

— Откуда вы взяли?

— Чувствую: он вам не нравится.

— Он очень несчастный.

— Почему вы так думаете?

— По глазам.

— Кто знает, может быть, вы и правы. Я всегда думал, что кто-то, а он создан для счастья. Помните: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

— Я не люблю такие фразы. Они слишком законченные.

— Я тоже не люблю, но эту фразу говорит у Короленко безрукий человек...

— Костя.

— А?

— Я еще хочу спросить у вас одну вещь. Можно? Только это очень личная вещь.

— Спросите. Если слишком личная, я просто не отвечу.

— Костя... у вас после Роры были другие женщины?

— Были. Немного.

— Ну и как это было?

— Сначала меня тянуло к ним, а потом казалось, что наелся мыла.

— Я это понимаю. А у меня никого не было. Не то чтобы никто не хотел. Я не могла.

— Понимаю, Надюша.

— Надюша, вы спите?

— Кажется, сплю.

— Ну, спите, родная. Спокойной ночи. Хотя, пожалуй, правильно будет: спокойного утра.

— Спокойного утра, Костя.

Он заснул, обнимая подушку, чувствуя костями бедер сквозь тюфяк благословенную жесткость пола. Он заснул совершенно счастливый. Ему снились хорошие сны. Ветер какой-то дул над морем, летела сиреневая пыль. Он проснулся свежий и трезвый, не понимая, почему он на полу и который час. Потом он увидел спящую женщину. Утренний солнечный луч, жиденький, отраженный от какого-то стекла, лег ей на лицо, но она спала, совсем спокойно.

Он потихоньку оделся, подошел к ней и сел рядом с нею на пол. Пол был прохладный и гладкий. Он сидел и смотрел в ее лицо, спокойное и простое. Светлое лицо с бровями, позолоченными солнцем.

Она, должно быть, почувствовала, что на нее смотрят, и проснулась. Удивительно просто она проснулась. Только что ее не было здесь и вдруг стала здесь, вся сразу.

— Надюша, вы только не подумайте, что я пошляк. Я полюбил вас.

Синеватые глаза дрогнули, но только на мгновение. Они снова стали спокойными и ответили ему, и выходило, что да.

- Юра. Я должен сказать тебе одну вещь. Я женюсь, даже, можно сказать, женился.
- Вот как! А на ком, если не секрет?
- На Надюше Пустовойтовой.
- Ага! Напророчил-таки старик.
- Какой старик?
- У тебя на защите, неужели не помнишь?
- А, Иван Михайлович. Он, знаешь, в нее просто влюблен.
- Что и говорить, опасный соперник.
- А ты что скажешь? Про Надюшу.
- Ну, что же... Женись, если так нужно. Она славная, — Юра улыбнулся, — таким яичком.

Дело в том, что они начали вдвоем одну большую работу. «Кормили свою обезьяну сахаром», — как выражался Юра. Только для души, никаких выгод эта работа им не сулила. В дневное время работать для души не удавалось — заедала текучка, заказные, договорные темы. Они оставались в лаборатории по вечерам. Собирали некое устройство, или машину, или модель — называй как хочешь. Им самим еще не все было ясно.

Машину они окрестили «Пантелеевна». По замыслу, она должна была реагировать на свет, на звук, выполнять команды. Собирали они ее из подручных материалов.

— Хороша, канашка! — говорил Юра. — Бред шизофреника.

И в самом деле, Пантелеевна была на редкость уродлива. Приземистая, кургузая, размером с домашнюю черепаху, и обликом, пожалуй, напоминала черепаху — в грубом панцире, тупорылая, с единственным глазом на морде.

Пантелеевна еще ни разу не бегала. Чаще всего ее электрические кишочки лежали отдельно от корпуса на лабораторном столе. Юра копался в проводниках, время от времени чертыхаясь, а Костя проверял схему, писал уравнения. Он был уверен, что искать ошибку вслепую, пробами — ползучий эмпиризм. Но и он-то не больно успешно искал ошибки. Беда в том, что он не мог ограничить свои идеи. Стоило ему сесть за работу, как уже появлялась новая идея.

— Недержание идей, — ругался Юра. — А как это осуществить — ты подумал?

— Ты же знаешь лучше меня. Ну,образи.

— Словом, «бензин ваш, идеи наши». Запомни, дурень, что в технике одна идея, без «как осуществить», — голый нуль.

— Это я знаю. Знаю, что и я без тебя — нуль.

— Подхалим чертов.

А Пантелеевна тем временем лежала на столе с развороченным брюхом... Удается ли ее хоть собрать-то?

Костя уходил домой, ночью думал о машине, и ему становилось кое-что ясно. На работу он приходил с совершенно новым принципом. Все, что они до сих пор делали, — чушь.

— Можешь ли ты хоть раз прийти в институт без новой идиотской идеи? — кричал Юра. — Очень тебя прошу: держи свои озарения в тайне!

Он сердито брал инструмент и, положив перед собой схему, начинал копаться в Пантлеевне.

— Ну-ка, покажи, что там у тебя? — говорил он спустя полчаса. — Воображаю, какой это перл изобретательской мысли!

Костя скромно клал перед ним набросок схемы с формулами и начинал объяснять.

— Очередной бред. Парижская академия, если не ошибаюсь, еще в 1700 году запретила принимать на рассмотрение проекты вечного двигателя.

— Это не вечный двигатель.

— Столь же идиотично.

— Нет, ты не ругайся, а вдумайся.

Юра фыркал. Иногда листок с формулами отправлялся в корзину. («Ну, чего ты достиг? Все равно, я помню», — говорил Костя.)

Но бывало и так, что, приглядевшись, Юра начинал понимать, принимать. Сам того не желая. И тогда кричал еще громче:

— Это что у тебя? Производная? Кто же так пишет производную? Курица лапой. Ну и почерк, черт тебя возьми совсем.

Почерк у Кости действительно был так себе. И всегда-то, а теперь, после ранения, и вовсе. Зато он умел писать правой и левой рукой примерно одинаково. И вообще, дело не в почерке: Юра начал придиратся по мелочам, значит, по существу заинтересовался, принял.

— Кто так рисует сумматор? А это что? Сопротивление или индуктивность? — орал Юра. Костя был доволен.

— Ну что ж, — говорил наконец Юра, — давай попробуем. Опять три месяца работы — псу под хвост.

...И теперь он думает, что с работой кончено! Из-за Надюши! Нет, он не знает, какая у меня Надюша.

Костя и сам-то не до конца знал, какая у него Надюша, — узнавал и дивился.

Дома теперь стало совсем по-другому. Светло стало дома. В больших окнах — кристально чистые стекла, до того чистые, как будто их и нет. Надюша повесила занавески, завела кота. Книги прибраны, пыль вытерта... Эх, да разве в этом дело? Кот и передник... Все это было частью чего-то другого.

Он любил сидеть рядом с ней. Как он любил сидеть рядом с ней, положив голову на ее полную, туго обтянутую грудь! Он клал туда

свою тяжелую голову и закрывал глаза. Она дышала ему в лоб и тихонько целовала корни волос. Ему было спокойно, твердо.

Мужья, говорят, ссорятся с женами. У них это было невозможно. Надюша — и ссора! Просто смешно.

Она все о нем знала. Про работу, про Пантелеевну. Не то чтобы он ей все рассказывал. Нет, связанных рассказов не было. Часто он удивлялся: ничего не рассказывал, а она знает.

— Откуда ты знаешь? — допытывался он.

— Господи, разве ты не помнишь? В среду на прошлой неделе ты сказал: «черт возьми», и я, конечно, все поняла.

Она помнила все — когда что было, где шли, что видели, о чем говорили. Он — не так. Он забывал.

С соседями она жила душа в душу. Странно, раньше ему казалось, что у него довольно противные соседи.

Они въехали после капитального ремонта на освободившуюся, выморочную площадь. Ту самую, на которой раньше жили тетя Дуня, Настя, Шура, Алеша Попович... Маленький Валерик. Из них никого не осталось. Одни умерли, другие пропали. Алешу Поповича, верно, убили на войне. Во всяком случае, он не вернулся. Был бы жив — вернулся бы. Не бросил бы площадь.

Когда явился с ордером новый жилец, Костя встретил его в штыхи:

— Это комната фронтовика. Ее не имеют права занимать.

— Я на законном основании. Вот документы.

— Ключа я не отдам, — сказал Костя.

Жилец ушел и вернулся с милиционером.

— Ну что вы, гражданин, бузуете, — сказал милиционер, — скучно даже.

Костя устыдился и отдал ключ. Ему-то что, в конце концов?

Жильцы въехали и сразу начали скандалить. Их было трое: муж, Иван Филимонович, белобрысенький бухгалтер лет сорока; жена, Ольга Федоровна, пышная, атлетическая дама, на голову выше его ростом, и дочь Виолетта, очень вертлявая, подросток.

Скандал обыкновенно начинался рано утром.

Ольга Федоровна начинала рыдать басом:

— Ох, не могу! Опять ты разбил мое сердце! И это уже в который раз. Ну, говори, что у тебя с этой мерзавкой? Какие фигли-мигли, потаскун?

— Оля, успокойся, — смиренно отвечал Иван Филимонович. — Тебе ничто не грозит.

— О я несчастная! Зачем я связала себя с этим Казановой? Только подумать, какие люди меня любили! И я всеми пренебрегла ради ничтожества! Ради белобрысой болонки! Ты слышишь? Тебе я говорю или нет?

— Я слышу...

— Ты что же, ко мне никаких чувств не питаешь?

— Я питаю...

— Где же они? Говори, негодяй!

— Спать не дают, — хныкала Виолетта. — Ну и родители...

Когда это очень уж надоело, Костя стучал кулаком в стену, и ненадолго становилось тише.

А вот Надюша сразу подружилась с Ольгой Федоровной. Та приходила к ней изливать горе, плакала и говорила:

— Золотой вы человек, Надежда Алексеевна! Редкое сердце!

Костя подсмеивался над этой дружбой, а Надюша говорила:

— Ты не понимаешь, она неплохая. Она очень добрая.

Виолетта тоже часто приходила к Надюше.

— Как вы думаете, тетя Надя, пойдут мне высокие каблуки?

— Наверно, пойдут. Ты будешь очень хорошенькая девушка.

— Да, но как долго ждать... Пока вырастешь, с ума можно сойти.

Тетя Надя, а у вас есть туфли с каблуками?

— Есть.

— Можно примерить?

— Пожалуйста, вот они.

Виолетта взгромождалась на каблуки и, жеманничая, прохаживалась туда-сюда.

— Красиво?

— Очень.

— Тетя Надя, а есть у вас губная помада?

— Чего нет, того нет.

Однажды Костя, вернувшись с работы, застал у себя Ольгу Федоровну. Она лежала в истерике, а Надюша поила ее водой.

— О, не могу, не могу, — выла Ольга Федоровна между двумя глотками, расплескивая воду по груди. — Сегодня этот негодяй сказал мне, что любит другую. Нет, я этого не переживу. Я отравлюсь. Пошлите телеграмму моему любовнику в Гдове. Пусть знает, я умерла!

— Ольга Федоровна, успокойтесь, воды выпейте.

— Нет, я отравлюсь. Дайте мне не воды, а яду! Яду мне! Нет, пошлите телеграмму моему любовнику в Гдове!

— Хорошо, я пошлю.

— А где адрес? Я даже адреса не помню. Любовь была мимо-летна. Нет! Яду мне! Нет, я передумала. Назло ему останусь жива. Дайте мне пальто, я пойду на улицу отдаваться первому встречному!

— Успокойтесь, лягте, Ольга Федоровна.

— Пальто мое, пальто! Пустите меня, я иду на улицу.

— Ольга Федоровна, ну как же вы пойдете?

— Ногами...

В конце концов ее успокоили, напоили валерьянкой, и она заснула.

Костя даже взмок от усилий (это он держал Ольгу Федоровну, не пускал отдаваться). Вытирая лоб платком, косясь на Ольгу Федоровну, кулем лежавшую на тахте, он подмигнул Надюше, но та

не откликнулась. Только серьезная жалость на лице — ни тени улыбки.

Скандалы продолжались, и снова Ольга Федоровна приходила отчаиваться, а Надюша серьезно ее утешала.

— Ты не понимаешь, Костя, — сказала она однажды, — нет смешного горя.

Нет, он уже начинал понимать... А больше всего он понял, когда Надюша сказала ему:

— Знаешь, Костя, у нас с тобой будет маленький.

Дома все было хорошо, а на работе последнее время не ладилось.

Во-первых, Пантелеевна капризничала. Кроме того, Володя, их единственный помощник, который раньше охотно оставался по вечерам мотать сопротивление, взял да и влюбился. Сразу после конца рабочего дня убегал — невменяемый, с горячими красными ушами.

Начальство начало коситься. Однажды в лабораторию зашел сам Сергей Петрович.

— Слышал я, слышал о ваших опытах. Целые вечера сидите. Институт пустой — а у вас свет. Покажите-ка мне, что вы тут изобретаете?

— Нечего еще показывать, Сергей Петрович.

— Не бойтесь, не украду.

— Что вы, разве об этом может идти речь?

— А что, приоритет в наше время — дело серьезное. Я бы вам все-таки советовал обсудить. Вынести, так сказать, на суд общест-венности...

Директор ушел.

— Пришли, понюхали и ушли, — сказал Юра.

— Чего ради он явился? — спросил Костя.

— Этого я не знаю. Знаю только, что нам надо торопиться. Спокойно работать нам не дадут.

— Кому мы мешаем?

— Разве не видишь? Он пришел разнюхать, по какой линии он может за наш счет поставить очередную галочку. Либо «за здоровье» — выдающееся изобретение, честь для института. Либо «за упокой» — разоблачение лжеученых. Ему совершенно все равно. Лишь бы галочку поставить.

— Ну, Юра, ты слишком мрачно смотришь на вещи.

— К сожалению, наоборот. До сих пор всегда оказывалось, что я смотрю на вещи недостаточно мрачно.

...Пантелеевна лежала на столе, как обычно, колесиками вверх, из растерзанного брюха торчали спутанные разноцветные провода. Юра копался в этой путанице.

— Кто последний ее собирал?
— Я, — сказал Костя.
— Черт тебя возьми, руки у тебя или...
— Если ты имеешь в виду мою правую руку, то она действительно «или». Пора бы знать.
— Ну, не лезь в бутылку. Ты знаешь, о чем речь. Какой дурак паяет, не отметив на схеме?
— Тут все отмечено.
— Черт возьми, — взорвался Юра, — надо быть окончательным идиотом...

— Ну, знаешь, так можно и терпение потерять.
— Успокойся, это я идиот, я.
— Дай я попробую.
— Отойди, неполноценный.
...Дружба дружбой, а всему есть предел. Костя отошел, поглядел в окно. До чего же там сине! Опять вечер. Надюша ждет, наверно. Позвоню-ка ей.

— Слушаю, — сказал доверчивый голос. У него сразу отлегло от сердца.

— Надюша, это я.
— Как там у тебя?
— Не клеится. Ты ложись спать, ладно?
— Нет, подожду. Я сделала пирог. У меня в гостях Иван Михайлович. Была Ольга Федоровна.

— Ну, как она?
— Ничего. Выкрасилась в блондинку. Довольно красиво.
— А ты как?
— Хорошо.
— Ну, ладно, не скучай, родная.
— Я не скучаю.
— Целую.
— Тоже.

Костя вернулся к лабораторному столу.

— Ну, нашел?
— Не отвлекай. Впрочем, дай паяльник! Вот оно! Нашел-таки! Костя включил паяльник. Запахло канифолью.
— Ну-ка, давай! Пусть попробует еще раз взбрыкнуть!

...Все! Пантелеевна стояла на ногах, на всех пяти колесиках. Если на этот раз схема не откажет — должно выйти.

— Испытаем?
— Ладно. Только я уже ни во что не верю. Туши свет.

Костя погасил свет, Юра зажег карманный фонарь и скользнул лучом по столу, по стене. Луч был яркий, серебряный.

— Включай Пантелеевну.

Костя щелкнул тумблером на выпуклой спинке. В Пантелеевне что-то загудело.

— Есть. Даю сигнал.

Луч света, прямой, как лезвие, упал на тупое рыльце с одним глазом. Пантелеевна колебнулась, словно раздумывая, и медленно, нерешительно двинулась к свету...

— Так. Даю запрет.

Юра свистнул в милицейский свисток. Пантелеевна остановилась. Слушается!

— Отсчитываю время. Так. Пятнадцать, двадцать... тридцать секунд. Запрет снят.

Пантелеевна, скрипя всеми частями, поплелась к свету.

— Отлично! Запрет!

Опять свисток. Пантелеевна ползет дальше.

— Черт тебя возьми! Запрет же, запрет!!

Два свистка подряд. Пантелеевна испугалась, качнулась и рухнула набок, скребя воздух колесиками. Поставили — опять завалилась.

— Фу ты дьявол, центровка! А все ты.

— Надо сместить центр тяжести книзу.

— Надо, надо! А о чем раньше думали? Давай свет.

Костя включил свет. Пахло паленой резиной. Колесики вертелись все медленнее и остановились.

— Сдохла, — мрачно сказал Юра.

— Но ведь ходила же она, ходила!

— Ну, знаешь что, на сегодня хватит. Я больше не хочу эмоций. Техника на грани фантастики — стыдно глядеть!

— Юра. Я всю ночь не спал, думал о Пантелеевне.

— Нечего тебе было больше делать?

— Нет. Ты послушай, что я надумал. Давай попробуем выработать у нее условный рефлекс.

— Темновато.

— Сейчас она знает один рефлекс — безусловный. Свет — идет. Звук — останавливается. А что, если давать ей свет (безусловный раздражитель) и подкреплять звуком? И тогда на звук у нее выработается условный рефлекс.

— То есть?

— Она будет идти по одному звуку, хотя света и нет.

— Гм... забавная идея.

— А я думал, ты будешь ругаться, как всегда.

— А я и буду. Только потом.

Снова Пантелеевна — в который раз! — легла на стол для кардинальной переделки. Они сидели над ней каждый вечер допоздна и, разумеется, ссорились. Володя вернулся из своей любви, как из командировки, и, не говоря лишних слов, к ним присоединился. Склонив низко над столом вихрастую голову с потухшими ушами, он молча мотал сопротивлениия.

А в один прекрасный день явился Николай Прокофьевич.

— Вы здесь, говорят, любопытную штуку затеяли.

— Вилами по воде писано, — буркнул Юра.

— А что? Отличный способ писать! Куда лучше, чем что попало выбивать на камне.

Костя кратко изложил ему идею. Он сразу понял, но объявил ее тривиальной.

— Где полет? Где фантазия? Нет, надо замахиваться на большее. Надо научить ее понимать слова. Выработать условный рефлекс на слово, а не на простой свисток.

— Это будет матерное слово, — мрачно сказал Юра.

— Ну, скажи на милость, зачем нам эти непрошенные помощники? — спросил он, когда Николай Прокофьевич ушел. — Ну, чего ты его прикармливаешь? Придет, поболтает, время отнимет, а толку — нуль.

— Нет, он хороший старик. Образованный.

— Что нам, образования не хватает, что ли? Рук нам не хватает. Головы у нас и у самих есть.

— Неважного качества.

Юра помолчал и вдруг сказал:

— А знаешь, мне иногда хочется все это послать к черту. Блошиный цирк.

— Ну, что ты? Что за настроения?

Юра повернул к нему измученное лицо. Эх, поседел-то как! Да ведь и я тоже... Рано мы седем, ровесники Октября...

— Именно к черту. Уехать куда-нибудь подальше, в колхоз, совхоз... Бухгалтером.

— Никто тебя не возьмет бухгалтером, с твоей ученой степенью.

— Скрою.

— Ничего ты не скроешь. В трудовой книжке все написано.

— И то правда. А то уехал бы! Все осточертело. Каждая мелочь — проблема. Фотоэлементов нет. Или есть где-то, но не предусмотренные планом, а значит, недоступные. Фанеры какой-нибудь паскудной, листа дюрала, проволоки — и то нет. Должны были запланировать в прошлом году! Денег не жалеют, кругом — сотни-сячные приборы, штаты раздуты, бездельников — полные штаны. А копейки на необходимое оборудование нет. На свои купил бы — негде!

— Это неизбежные ограничения. Необходимый контроль.

— Дышать нечем. Кругом — один контроль. Все по рукам и ногам связаны. Никто не работает, все только контролируют. Гипертрофия контроля. Это как раковая опухоль, пожирающая полезные, рабочие клетки!

— Что ж ты, рабочая клетка, предлагаешь отказаться от контроля?

— В значительной мере — да. Пора наконец понять, что честных людей большинство. Лучше пусть один вор украдет, чем у милли-

онов честных руки будут связаны! А какие потери от вечного контроля! Инициативы нет. Ответственность — бумажная. Все упоенно перебрасываются бумагами. Как-то я подсчитал количество бумаг, облепивших самую пустяковую из наших работ, и в ужас пришел! Ведь на их производство затрачено больше времени, чем на саму работу!

— Это ты прав. Но нельзя же опускать руки, бросить работу.

— Сил не хватает. На что я, например, сегодня угробил рабочий день? Боролся с социалистической законностью.

— То есть как? Побил милиционера? Что-то новое.

— Нет, до этого еще не дошло. Но дойдет. Сегодня мы с директором битых три часа соображали, по какой статье провести расходы. Необходимые, но не запланированные. Два преступника. Целый день хитрили, чтобы обойти закон. Оба честные люди. И обоим ясно, что если не нарушать закон — никакая работа идти не может. Органически!

— Постой, постой. Конечно, есть недостатки, так называемые перегибы. Но ты уж очень оптом осуждаешь. Как теперь говорят, «огульно охаиваешь». Можно подумать, что ты... не советский человек. Прошу извинения за кучу штампов.

— Советский я, черт возьми, со всеми потрохами советский, каким же мне еще быть? Тут родился, тут умру, тут и плеваться буду.

— Плюйся. Тебе же хуже.

...Некоторое время они молча работали. Костя давно заметил: чем больше ссорились, тем успешнее шла работа. В этот день Пантелеевна впервые продемонстрировала условный рефлекс...

Костя, чуть ли не со слезами на глазах, смотрел на ее крутую спину. Любимое животное! Жаль, нельзя ее угостить чем-нибудь вкусным.

— Юра! Вышло-таки, вышло!

— Да.

— Разве ты не рад?

— Ну, рад.

— Мы еще поработаем немного, усовершенствуем механизм забывания и тогда продемонстрируем. На Ученом совете. Вообрази эффект!

Юра молчал.

— Нет, ты только подумай, какие тут перспективы открываются! Статью напишем — гром среди ясного неба!

Юра молчал.

— Юра, почему ты так грубо молчишь?

— Я старался выбирать выражения, но, как видно, не преуспел.

— Научная статья должна быть сухой, как порох.

Костя обрадовался. Это говорил прежний Юра — заносчивый, отделанный, немного фразер.

Опять вечер. Опять они сидели в лаборатории, на этот раз писали статью. Пантелеевна отдыхала на полке.

— Как я бываю рад, когда вижу тебя таким, — сказал Костя. — Есть еще порох в пороховницах!

Нет, ошибся: Юрино лицо замкнулось, словно щелкнуло.

— Юра, скажи на милость, что с тобой?

— Со мной? Решительно ничего.

— Не ври. Я тебя знаю много лет. Я научился за эти годы тебя понимать. С тобой что-то неладно.

— Ты разучился за эти годы меня понимать.

«Вот тебе и дружба, — подумал Костя. — Может, я зря ему все спускаю? Обнаглел.»

— На чем же мы остановились?

— Преобразование Фурье входного сигнала...

— Ага: преобразование Фурье входного сигнала...

— Кстати, сегодня мне надо уйти пораньше, — сказал Юра, глядя на часы.

— А в чем дело?

— Есть надобность.

— Содержательное сообщение! На свидание ты, что ли, идешь?

— Ну, на свидание.

«Этого нужно было ожидать, — думал Костя по дороге домой, — да, этого нужно было ожидать, и все-таки это грустно. Законно, но грустно».

«Домой, домой, — думал еще Костя, — много лет у меня не было такого слова: домой. Надюша, дом».

Он ехал в морозном, гремящем трамвае с плюшевыми окнами. Трамвай мотался из стороны в сторону, как припадочный.

Который день, который месяц он возвращается домой не раньше одиннадцати? Бред какой-то. Время летит. Только что было лето — и уже зима. Даже газету — стыдно сказать! — прочесть некогда.

Он вынул из кармана мелко сложенную газету, потертую на сгибах. Вчерашняя? Нет, позавчерашняя. Почитать, что ли? Что там происходит в мире?

Крупный заголовок бросился ему в глаза:

«ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ АНТИНАРОДНУЮ ГРУППУ ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ!»

Что еще за критики такие? Где-то люди ходят в театр, пишут критические статьи... В другом мире. Дальше, чем на Луне.

«Космополитизм, — прочел он, — это чуждость жизни и интересам своего народа. Холуйское преклонение перед буржуазной культурой Запада и столь же холопское непонимание русской национальной культуры».

Театральные критики... Есть же такая прослойка общества. Ни одного, кажется, не встречал. Да и где? В театре и то не был года два. Надо будет сводить Надюшу. Не пойдет, пожалуй. Очень уж заметно, что в ней — маленький. Мальчик, я почему-то в это верю...

«...Позиция последовательного безродного космополитизма, злобно ненавидящего все русское...»

Ого, ну и дают! Хорошо, что у нас это невозможно. У нас, в точных науках, все просто. Доказал теорему — и она верна. Верна и верна, без оговорок. Открыл экспериментальный факт — и он существует. Любой может повторить опыт. Повторить и проверить. Ошибся — пеняй на себя. Нет, это хорошо, что я занялся техникой. А все Юра. Кстати, он стал невозможным в последнее время.

«...Эстетизм рождается раболепием перед низкопоклонством...» Это — уже каким-то двойным хлюстом. Раболепие, да еще перед низкопоклонством. Фу-ты черт, ерунда какая.

В углу вагона разговаривали двое: пьяные, но интеллигентные.

— Россия — родина приоритета, — сказал один.

Великолепно! Расскажу Надюше.

А Юра-то. На свидание пошел...

Выйдя из института, Юра пошел к автобусу.

«Только бы кто-нибудь из наших не сел, — подумал он, — начнутся вопросы: куда? А то еще поедут до самой той остановки...»

Никто из «наших» не сел.

Автобус прыгал, потертые сиденья подрагивали, вверху метались ременные петли. Кто-то проделал в оконном льду две круглые дырочки: гривенник приложил. Когда-то и он проделывал такие дырочки, давно, в другой жизни.

Напротив сидела смешная девушка с заячьим личиком. Шарф на голове зашит колпачком, и острый кончик торчит кверху, под стать носу. Ему вдруг захотелось ехать долго-долго и все смотреть на дырочки во льду, на колпачок, на девушку. Сколько пассажиров в автобусе, и каждый может ехать дальше, свободен, свободен, а я должен слезать.

«Боюсь я, что ли? — спросил он себя и ответил: — Боюсь».

— Улица Воинова, — закричала кондукторша. Тоже счастливая — едет дальше!

Он встал и боком, неохотно прошел к выходу. На улице морозный туман.

— Знойко, — сказала кондукторша и улыбнулась. Он засунул руки в карманы и шагнул в мороз, вобрав голову в плечи.

«...Боюсь, определенно боюсь. Я трус? До сих пор не знал. Считал себя даже храбрым. На фронте... Да что на фронте? Там не страшно. Дело делаешь, кругом — друзья. А это...»

Вот и дом. Единственный в городе дом, который все знают. БОЛЬШОЙ ДОМ. «Большой» — не прилагательное. Мало ли их,

просто больших. Существительное: «Большой дом». Скажи так, и каждый вздрогнет.

Гладкая гранитная стена Большого дома вертикально поднималась прямо на асфальте. Без цоколя. Высоко над головой — окна первого этажа, а под ними — стена, отвесная. Любопытно, у других домов тоже так?

Он поглядел на противоположную сторону. Там стояли дома — милые, простые, скромные, как свечки. И у каждого — цоколь, хоть небольшой, а цоколь. Как же так — прямо из асфальта? Какое-то приличие было тут нарушено...

Он шел рядом с Большим домом, и дом виделся ему большим кораблем, жестоко рассекающим асфальтовую воду.

Он вошел в тяжелую дверь. Бюро пропусков: полукруглые окошки, тишина. Люди кругом — больше женщины, заплаканные. Он и сам-то, верно, хорош. Только что не заплаканный.

Он просунул в окошко повестку. Безликий сержант — видны только плечи и руки — молча выложил пропуск.

«Комната 235. К майору Авдеенко». Опять к нему!

Кабинет майора Авдеенко был мрачен. Обитые коричневым гранитом, даже на вид холодные кресла. Диван с лицом дота. Стены — землисто-желтые. Большой портрет Сталина, маршальские звезды. Над столом — картина, верно, трофейная, в аляповатой золотой раме. На картине — натюрморт: яблоки, виноград, битые зайцы.

Майор Авдеенко не поднял глаз, только сказал: «Садитесь». Юра сел в кресло. Так и есть — холодное. На голом письменном столе бронзовая девушка, тоже голая, держала зеленый абажур, зябко сжав длинные, округлые ноги.

Майор не поднимал глаз и что-то писал, шевеля губами. Это был еще не старый человек, круглый, свежий, с небольшой лысиной. Когда он заговорит?

Зазвонил телефон.

— Майор Авдеенко на проводе. Так точно. Слушаю вас, товарищ полковник. Так точно, была такая. Пока что отказывается давать показания. Думаю, справимся. Есть, товарищ полковник. Учтем.

Он положил трубку и снова стал писать. У Юры начали дрожать руки. Он крепко сцепил их на колене и ждал.

Ждать было трудно. Он старался успокоиться, думать о постороннем. Не мог. Все время наворачивалась Наташа. И Лиля. Как она узнает, закурит, скажет: «Ну...»

Наконец майор поднял голову и, как бы сам того не ожидая, обнаружил в кресле посетителя.

— Ну, что скажете?

— Это вы что скажете, — резко ответил Юра. — Это вы меня вызывали, а не я вас.

— Ай, ай, как грубо, — сказал майор и несколько раз покачал круглой головой направо и налево.

— Говорите скорей, зачем вы меня вызвали?

— К чему торопиться? — спросил майор и снова стал писать.

...Убить бы его сейчас. Застрелить или лучше задушить и топтать, долго топтать ему лицо. Вот эту гладкую, бритую, мерзкую щеку...

Юра даже отвел глаза, чтобы скрыть свои мысли, и стал с ненавистью глядеть на битых зайцев. Когда он повернулся к столу, майор уже не писал: он сидел поджавшись, как кошка перед прыжком.

— Побеседуем, — сказал он, закрыв правый глаз.

— Я буду только отвечать на ваши вопросы.

— Отлично. Знаете, зачем я вас вызвал?

Правый глаз открылся; закрылся левый.

— Не знаю.

— Вы непонятливы. Прошлый раз я с вами говорил вполне определенно.

— Чего вы от меня хотите?

— Вы должны помочь нам.

«...Куда бы убрать глаза, — думал Юра, — чтобы не прожечь его насквозь?.. А что если сказать: идите вон, будьте вы прокляты? Тогда — гибель. Не его гибель — близких».

Он увидел Наташу в узкой железной кровати и одну-единственную слезинку в немигающих глазах.

— Чем помочь? — спросил он через силу.

Майор сидел и попеременно закрывал то правый глаз, то левый. Закрывая глаз, он обрывал фразу, и она шла кусочками...

— Вы... отлично... знаете... чем.

— Ничего я не знаю. Ничем не могу вам помочь.

— Ладно. Шутки в сторону, — майор встал, и Юра тоже. — Шутить с вами я не намерен. Извольте — будем говорить в открытую, раз вы так непонятливы. Вы работаете в крупном институте... нас интересуют там некоторые люди. Вы должны помочь нам получить о них сведения.

— О каких людях?

— Сначала дайте согласие, потом узнаете, о каких.

— Я не дам согласие.

— Очень жаль. Думаю все-таки, что дадите.

Майор сел и пригласил его жестом — садитесь. Юра сел. Какая-то игра: встать — сесть.

— Я не дам согласия.

— Позвольте узнать: почему?

— Я не приспособлен для этого... не в моем характере.

— А я, думаете, приспособлен? — очень ласково спросил майор.

Удивительно менялось у него выражение лица.

— О вас я ничего не знаю.

— Узнаете! — крикнул майор и стукнул кулаком по столу.

Бронзовая девушка покачнулась, он обеими руками ее удержал в равновесии.

— Узнаете! — крикнул он уже потише и стукнул кулаком уже осторожнее.

«Наверно, все это, — думал Юра, — предусмотрено какой-то адской инструкцией, и крик, и ласка, и даже попеременное закрытие глаз...»

— Я вас слушаю, — сказал Авдеенко.

Юра молчал. В уме он ругался: подбирал слова, одно грязнее другого, шевелил языком, произнося их неслышно, яростно.

— Что вы там жуετε?

— Зубы болят.

— У нас хорошие врачи. Вылечат.

Юра молчал. Майор снова переменял выражение лица. Сейчас оно было сосредоточенно-грустное.

— Очень-очень жаль, что вы так упрямы. Вам будет хуже.

Он повернулся к сейфу, лягнул замком, вынул папку и положил на стол. «Дело №...» — прочел Юра вверх ногами. Майор листал подшитые бумаги.

— А, вот, нашел. Ну-ка, послушайте одну фразу. «Большую часть своего времени я трачу на борьбу с социалистической законностью». Ну-ка, чья это фраза? Не узнаете?

— Нет.

— А все-таки побледнели.

— Ничего я не побледнел.

— Ваша это фраза, ваша! — рявкнул майор.

— Можете кричать сколько хотите, я не скажу вам ничего другого. Я этой фразы не знаю.

«...Говорят, они бьют. Такой может... Размахнется — и по зубам. Я не выдержу. Я его тоже ударю. Я не смогу с собой справиться...»

— Жаль, что вы так несговорчивы, — сказал майор на прощанье. — Надо беречь свое и чужое время. Вместо того чтобы по-хорошему договориться, придется нам вызвать вас еще раз... и еще... и неизвестно, чем все это кончится...

Он позвонил. Вошел сержант.

— Товарищ Ковальчук, проводите посетителя.

Улица, мороз, туман, воздух, воздух... Как роскошно пахнет мороз! Какое счастье — нюхать мороз! Вон отсюда, забыть!

...Откуда мерзавец мог взять эту фразу? Фраза, несомненно, моя. Но я же ее никому не говорил, кроме Кости.

Кроме Кости...

Позор, мерзость! Гнать эту мысль сейчас же! Надо быть последней сволочью, чтобы усомниться в Косте!

Вот что они делают с людьми! Хочешь не хочешь, переведут тебя в сволочи! Не дамся!

Он бежал домой.

Леонилла Илларионовна лежала в постели и читала. На ней была розовая ночная рубашка, на носу — очки. Прямые, густо

пересыпанные сединой волосы скромно заложены на уши, за дужки очков.

У него защемило сердце. Старушка!

Она заметила его и вздрогнула.

— Юра, ты? Я испугалась.

Застигнутая врасплох, она поспешно совала очки под подушку.

Он отвернулся.

«Бедная! — подумал он. — Бедная моя, родная».

Он поцеловал ей руку. Тонкие, сухие, окрашенные йодом пальцы. Те самые пальцы, что копались в его внутренностях, спасли ему жизнь. Которую, может быть, не следовало спасать...

— Девочка моя. Любимая.

«Есть же люди, которые дышат, имеют право жить?» — думал Юра, отпирая лабораторию своим ключом. Ну вот, Костя еще не пришел. А ведь договаривались на семь.

Как одиноко вечером в лаборатории. Как мрачно. А тут еще эта чернота внутри.

Рассказать Косте? Было бы легче. Нет. Даже не в том дело, что дал подписку молчать («Берегитесь, все ваши действия нам известны»). Нет, не в этом дело. Просто не могу увидеть в Костиных глазах жалость. Живого — к мертвому.

Терпи и молчи. Как тот спартанский мальчик с лисицей. Молчи, когда тебе едят внутренности.

— Няня, няня, что они со мной делают, куда деться?

На полке Пантелеевна жутко отсвечивала единственным глазом. Нет, страшен был не этот глаз. Страшны были другие глаза — множество мертвых, черных глаз, что глядели из темных углов.

...и миллионом черных глаз
смотрела ночи темнота
сквозь ветви каждого куста...

Кажется, Тютчев. Нет, Лермонтов. У Тютчева:

Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!

Тоже неплохо.

Он зажег полный свет, щелкнул выключателями, пока не зажглись все лампы. Темнота убыла, попряталась...

...Записывающие приспособления... Подслушивающие устройства... Нехитрая штука. У них, должно быть, грамотные инженеры. Обыкновенный микрофон. Где-нибудь за шкафом или в углу, под раковиной. Очень просто: ставят микрофон, и все записывается на пленку. Потом стенографируют — и в папку. Дело №...

Он обошел лабораторию, заглянул в углы, за шкафы, под столы. Ничего, ничего похожего. За одним шкафом почудилось ему какое-то тиканье. Прислушался — так и есть. Тикало нерегулярно, но отчетливо. Он перевел дух. Фу ты, черт. Наверно, жук-древоточец. Жука испугался.

Показалось ему или нет, что крышка одного из шкафов как-то странно сдвинута? Несимметрично. Раньше как будто этого не было. Так и есть — перекошена, и между нею и телом шкафа зазор шириной в добрый палец... А может, так и было? Живешь с вещами, а не знаешь их в лицо...

Он влез на стул и обеими руками приподнял крышку. Темно, пусто, пахнет пылью.

Дверь щелкнула — кто-то вошел. Ну вот, застали... Нет, это Костя. Вошел румяный, с мороза. Счастливый!

— Ты что делаешь? Зачем туда взгромоздился?

Юра слез, отряхивая пыльные руки.

— Ничего, я так... осматривал.

— Зачем?

— Ну, проверял проводку.

— В шкафу?

— Отстань от меня, ради бога.

— Да что с тобой? Честно слово, мне иногда кажется, что ты не совсем нормален.

— Может быть, ты и прав.

— Юра, я пошутил. Сам не понимаю, как я мог такое сказать. Ну, прости меня! Юра? Юра же!

— Работать так работать. Ты ужасно иногда глуп.

— Кстати, — спросил Юра, потягиваясь, когда, написав два параграфа, они собрались домой, — как тебе нравится вся эта свистопляска?

— Какая?

— А ты что, газет не читаешь?

— Давно не читал. А что?

— Сколько времени все кругом гудит: космополиты, космополиты... А этот младенец, уронив соску, спрашивает: а что?

— Да, я что-то читал, но, признаться, не очень внимательно.

— Скобочки заметил?

— Какие скобочки?

— Ты туп. — Юра взял со стола газету. — Найду и ткну тебя носом. Смотри.

«...Проходимец Мельников (Мельман)...» «Безродный космополит Яковлев (Хольцман)...»

— Усвоил?

— Ты думаешь... — Костя побледнел. — Не может быть!

— Типичная позиция идиота. Отрицать очевидное.

Не может быть!

Он сидел в библиотеке, над подшивками газет. Милая беленькая девушка — хозяйка абонемента — уже несколько раз проходила мимо. Читателю дурно? Может, воды ему дать? Нет, неудобно, пальцем в небо попадешь. А читатель все сидел и листал ломкие шуршащие листы. В сущности, он уже это читал — но не понял. О, идиот!

Белинский! Знал бы он, бедный Белинский, во что превратят его имя благодарные потомки. Имя-плеть.

«...С небывалой силой звучат в наши дни слова Белинского: "Признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве... Космополит есть какое-то ложное, бессмысленное, страшное и непонятное явление, какой-то бледный, туманный призрак, недостойный называться священным именем человека"..."»

И вот — бредут по страницам бледные, туманные призраки, потерявшие имя человека. Борщаговский, Гурвич, Вайсфельд, Хольцман, Житомирский, Мазель, Герцович, Гальперин, Кац, Шнеерсон и прочие, и прочие...

Витиеватая, цветистая ругань.

«...Известный космополит Борщаговский выступил с блудливым докладом...»

«...Модель доходил до чудовищного утверждения, будто эстетствующий космополит, выродок в искусстве Мейерхольд является крупным деятелем советского театра...»

«...Отщепенец Березарк, известный отрицательным отношением к пьесе Ромашова "Великая сила"..."»

— Читальня закрывается, — сказала беленькая девушка, — завтра приходите.

Нет, с него довольно! Все понял. Домой, только домой!

Надюша, родная.

— Костя, что с тобой?

— Дай тебя обнять.

Он нагнулся, обнял ее и отчаянно поцеловал. Милая! Как она трогательно становилась теперь боком, чтобы он не чувствовал ее живот. Глупая! Он опустил на колени, обнял их, а к животу прижался лицом.

— Костя, дорогой, с тобой что-то случилось, плохое.

— Я просто сидел в библиотеке и читал газеты.

— А, понимаю. Ну, встань. Сядем поговорим.

Они сели. Костя укусил кулак.

— А я-то, слепец, идиот, ничего не понимал!

— Нет, я понимала.

— Как же можно жить тогда? Ты мне скажи, Надюша, как можно жить?

— Костя, милый мой. На свете бывает разное. И страшное тоже бывает. Разве мы с тобой не видели самого страшного? И смотри — мы живы, мы вместе. И он — с нами. Родится — маленький, смешной... Начнет говорить, ходить... А когда-нибудь про наше время скажут: свежо предание...

— Ого, Надюша, оказывается, ты умеешь произносить длинные речи!

— А как же. Иди сюда, милый.

Удивительное существо Надюша! С кем только она не дружит. Например, с Мишей, водопроводчиком.

Тот уже несколько лет — с самой войны — работает при домоуправлении: грязный малый лет сорока, почти всегда пьян, перед каждым праздником ходит по квартирам выпрашивать на поллитра. Много лет знает его Костя, а никогда к нему не присматривался, даже когда, конфузясь, давал ему на чай. А теперь Миша сидит за столом, пьет чай и откровенничает:

— Надежда Алексеевна. Жизнь моя — сплошной казус и круговорот. Круговорот и казус...

Надюша слушает, и в самом деле ей интересно.

А однажды Костя пришел домой и застал там Юрину жену, Леониллу Илларионовну. Она сидела не на стуле, а как бы при стуле, похожая на сову: настороже, выпрямившись, широко открыв круглые глаза. Гражданская одежда ее не красила: черное платье, несвежий воротничок, на коленях пепел. Увидев Костю, она затопилась.

— Господь с вами, будьте здоровы, — клюнула Надюшу в лоб и ушла.

— Зачем она приходила? — спросил Костя.

— Просто так. Ты не думай, она хорошая.

— Возможно. Только зачем она так вертит шейей?

— Наблюдает. Она внимательная.

Несколько дней спустя Косте самому пришлось признать: она хорошая.

Дело было ночью. Надюша его разбудила.

— Костя, вставай. Ольга Федоровна отравилась.

— Чем?

— Не знаю. Иван Филимонович постучал, говорит: отравилась. Идем туда.

В комнате был беспорядок, на кровати, вся лиловая, лежала Ольга Федоровна, изо рта у нее пузырилась серая пена. Иван Филимонович, помятый и растерянный, в плохо застегнутых брюках, суетился у кровати, переставляя с места на место маленькие ноги

в голубых носках. На тумбочке, на столе, на кровати — всюду валялись пустые пузырьки с красными этикетками: «наружное».

— Что она выпила? — спросил Костя.

— Не знаю, — сказал ломая руки, Иван Филимонович. — Вероятно, все, что в доме было наружного. Я ей физически не изменял.

Ольга Федоровна сипела, закатив глаза.

— Неотложную вызвали?

— Да. Сказали: машины в разгоне. Ждите.

— Костя, я позвоню Лиле.

— Звони, только скорее. Нет, лучше я сам.

...Длинные гудки. Никто не подходит. Неужели спят, не слышат? Нет. Подошла сама Лилия.

— Леонилла Илларионовна, это Левин. Да, Костя Левин. Простите ради бога, что беспокою вас в такое время. Наша соседка отравилась. Неотложная не едет.

— Чем? — спросил деловой, металлический голос.

— Неясно. Что-то наружное. Много.

— Буду сейчас.

Костя вернулся. Ольга Федоровна лежала и сипела. Иван Федорович повторил:

— Я ей физически не изменял.

Виолетта, неизвестно откуда взявшаяся, подошла и ударила его ногой. Иван Федорович обеими руками схватился за лысину, застонал и сел на пол.

Звонок. Неужели Лилия? Не может быть, слишком скоро. Так и есть: она.

Костя с трудом ее узнал. Суженный точный взгляд, прямая, гордая шея. Королева! Она подошла к кровати, перебрала пузырьки, понюхала каждый...

— Все вон, кроме Нади. Надя, воды. Буду делать промывание желудка.

Костя и Иван Филимонович вышли. Виолетта сопротивлялась, хныкала.

— Девочка, я сказала: уйди.

— Идемте к нам, — предложил Костя.

Виолетта вся тряслась. Костя уложил ее в свою постель, закутал. Она заснула почти мгновенно.

Иван Филимонович застенчиво сидел на кончике стула, подобрав голубые ножки.

— Я ей физически...

— Знаю.

За стеной что-то происходило. Лилась вода, слышны были стоны, шаги. Кто-то входил, выходил на кухню, снова входил.

Иван Филимонович заплакал.

— Какая женщина! Я любил ее, честное слово. Что мне было делать? Я полюбил другую... Как честный человек...

— Молчите, — сказал Костя.

Снова звонок. На этот раз неотложная. Костя отворил. Пухлая дамочка в белом халате долго возилась в передней. Потом стала мыть руки. Костя с полотенцем ей прислуживал.

— Где больная?

Костя постучал в дверь.

— Кто там? — спросила Леонилла Илларионовна.

— Неотложная.

— Уже не нужно. Впрочем, войдите. Есть адреналин? Дайте. Ну, что вы там копаетесь? Давайте аптечку, я сама. Есть адреналин!

Дверь закрылась.

Костя вошел к себе. Иван Филимонович, по-заячьи вздрагивая, сидел на своем краешке, стараясь занимать поменьше места.

— Что там? — спросил он, подняв молящие глаза.

— Не знаю. Вводят адреналин.

— Значит, есть надежда?

— Наверно, есть.

— Константин Исаакович, выслушайте меня. Я...

— Молчите.

Они сидели, каждый на своем стуле, долго-долго. Часы пробили два, половину третьего, три... В половине четвертого в комнату вошла прекрасная женщина.

— Все. Будет жить.

— Юра, знаешь, меня поразила Лиля...

Юра отвернулся.

— Ты меня словно орденом награждаешь. Новость сказал.

Но все-таки он был рад. Улыбка так и ползла на его губы. Он ее стряхивал, а она все ползла — умильная, глупая, такая не Юрина улыбка.

А статью они кончили. Писали-писали, все казалось, что ей конца нет, и вот — кончили. Отдали на машинку — и все.

— Что же теперь мы будем делать? — спросил Костя.

— Не знаю. Пантелеевна себя изжила. Не могу больше смотреть на ее одноглазое рыло.

— Я тоже.

— Придумаем что-нибудь другое. Чем бы дитя ни тешилось...

— Я уже придумал. Слушай, Юра...

— Помолчи. До завтра я не хочу говорить о работе.

— О чем же нам еще говорить? Ведь за душой у нас ничего, кроме работы. Нищие духом.

— Редкий случай, когда я с тобой вполне согласен. — Юра вынул гривенник, положил на стол и обвел карандашом. — Вот наш кургозор.

— Если у тебя такой, то у меня...

Костя долго искал копейку, нашел и тоже обвел. Два кружка на зеленой бумаге. Два кругозора.

— А помнишь, — спросил Костя, — как мы с тобой ходили в Публичную за кругозором?

— Да, братец, с тех пор мы стали кандидатами наук. Это сильно сужает поле зрения. Закопались в свою науку, как кроты. Прельстились простыми закономерностями.

— Ну, не слишком-то простыми...

— Ха! Самая сложная из наших задач на порядок проще самой простой задачи из жизни общества. Там ничего еще не сделано.

— Есть же общественные науки?

— Практически нет. Есть шаманские заклинания.

— А «Капитал»?

— Ну, Маркс создал нечто вроде науки, для своего времени, своих условий. Его беда, что он не знал математики. Некоторые его законы так и просятся на язык дифференциальных уравнений...

— Да, я тоже об этом думал.

— Это просто очевидно. Помнишь о расширенном воспроизводстве? Первое подразделение, второе... Производство средств производства, производство средств потребления, и атата, и атата...

— Припоминаю.

— Так это же совсем элементарно, если грамотно изложить.

Юра написал систему дифференциальных уравнений.

— Видишь? Тут коэффициент — доля потребляемых средств, а тут — доля средств, отводимых на расширение. Заметь, коэффициенты могут быть как постоянными, так и переменными.

— В самом деле, забавно.

— А главное, можно аналитически вывести условия, при которых процесс расширенного воспроизводства будет устойчивым.

— То есть без кризисов?

— При известных условиях — да.

Костя еще раз прочел уравнения, подумал и написал формулу.

— Такие условия?

— Именно.

— Черт возьми, это же очень интересно.

— Мне это пришло в голову на политзанятиях. Пока этот болван Зайцев мусолил: первое, второе подразделение... боясь отойти от «Капитала» на волосок, даже не решаясь буквой обозначить переменную... Помнишь? Нет, тебя в тот раз не было. А я был, и сидел, и со скуки вывел уравнение. Потом сдуру вышел и написал их на доске.

— Написал?!

— Да, попутал бес.

— Юра, а ты не сказал, что к чему?

— Нет, успокойся, никто ничего не понял. Но все равно, это было глупо. Сказано: «Не шути с женщинами, эти штуки грубы и неприличны». Козьма Прутков.

— Юра, ты уверен, что никто ничего не понял? Про равновесие?
— Н-не совсем. Кто-то сзади хихикал.
— А Зайцев?
— Ну, он-то совсем ничего не понял. Совершенный кретин. Еще не произошел от обезьяны.

— А вдруг произойдет? Несладко тебе будет.

Юра внезапно оглянулся и замолчал.

— Ты чего?

— Ничего, так.

— Послушай, Юра. Что происходит кругом? Ты что-нибудь понимаешь?

— О чем ты?

— О космополитах.

— Кое-что понимаю.

— И что?

— Вопрос сложный, — Юра говорил нехотя, через силу. — Обстоятельств здесь много.

— Почему это стало возможным у нас? И почему сейчас именно?

— Думаю, есть объективные причины.

— В чем они?

— Младенец! Израиль. Государство израильское. Какое-то отечество появилось у вашего брата...

— Какое там к черту отечество? Для кого из нас оно отечество? Да пошли меня туда...

— Знаю, знаю. «Из перерусских русский», как кто-то про кого-то сказал, кто и про кого — уже не помню. Живописная фраза. Но все-таки с фактами надо считаться.

— Какие факты?

— У многих евреев — родственники за границей, теперь — в Палестине или к ней тяготеют... Вот и получились вы в своей стране иноземцами.

Костя выругался.

— Не принимаю я этого. Да просмотри меня всего насквозь... Я и языка-то еврейского не знаю, никогда не слышал. И таких большинство.

— Любезный, неужели ты думаешь, что кого-нибудь интересует твоя личность? Ты — единица в некоей рубрике, и дело с концом.

— Не верю я, не могу поверить...

Скрипнула дверь, и оба вздрогнули. Вошел Николай Прокофьевич. Старик за последнее время частенько стал заходить к ним, слушал споры, давал советы... А советы были дельные. Башковитый старик. Оба привыкли к нему, не боялись.

— О чем спор? — спросил Николай Прокофьевич петушиным голосом.

— Об антисемитизме, — брякнул Костя.

— Ух ты! Так-таки об антисемитизме? И что же вас заинтересовало?

— Исторические корни антисемитизма, — напыщенно сказал Костя.

— Вообще или в нашем отечестве?

— Главным образом в нашем отечестве.

— Гм, — задумчиво сказал Николай Прокофьевич. — Трудная тема. У этого дерева много корней. Глубокие корни. Проследим, например, один корень. В нашем отечестве, как вы знаете, в семнадцатом году произошла революция. Слыхали? И вот после революции, как грибы после дождя, полезли кверху евреи...

— А отчего?

— Отчего? — Он поднял вертикальный палец. — Очень просто. Русская старая, потомственная интеллигенция была частично уничтожена физически, частично оказалась в эмиграции. Оставшаяся часть — пришипилась, съежилась, понемножку саботировала, вы этого помнить не можете, а я помню. Сам саботировал. Все мне казалось, что беспорядку много. После — привык. Знаете, в беспорядке даже особый шарм нахожу.

— Ну а еврей? — спросил Костя.

— Погодите, всему свой черед. Знаете ли вы, что, если бы не хронический беспорядок, мы, может быть, и войну бы не выиграли? Попробуй-ка немецкого рабочего перебросить с его заводом куда-нибудь в Сибирь. Морозы, жилья нет, брр... Немец — культурный человек: лапки кверху — и сдох. А наш рабочий, к беспорядку привычный, воспитанный на авралах да на латании дыр, копает себе земляночку, разгружает станочки, смотришь — через месяц-другой работает завод, продукцию выпускает. Мы, русские, как клопы. Нас вывести нельзя. А знаете, до чего живуч клоп? Где-то я читал, что в покинутых зимовках на севере через десятки лет находили живых клопов. Каково? Мороз шестьдесят градусов, жрать нечего, а живет. Молодец клоп! Кстати, с чего я начал?

— С евреев. От еврея до клопа, — сказал Юра.

Николай Прокофьевич строго покосился на него горячим глазом.

— Ну, вот, я и говорю, что после революции сильно стали прорастать евреи. Были у них преимущества перед нашими. При равной худородности — бóльшая культурность. А народ вообще способный...

— Николай Прокофьевич, а разве бывают народы способные и неспособные? — спросил Костя.

— К сожалению, бывают. А с евреями — статья особая. Вековые-то преследования даром не прошли, выковали и характер, и волю, и сплоченность. Любовь к детям. Любовь к родичам. Это ведь коренные черты еврейские. И мудрость... Приходилось вам говорить со старым евреем, который все понимает?

— Приходилось. У меня такой дедушка.

— Это — мудрость особая. Горькая такая, спокойная... с юмором. Разговариваешь с ним и сам себя чувствуешь этакой балаболкой... Я ведь, в сущности, пустой человек... А? С чего я начал?

— С антисемитизма, Николай Прокофьевич.

Старик трубно высморкался.

— Это со мной бывает. Говоришь-говоришь и забудешь, куда вел. В Средней Азии есть такие реки: никуда не впадают, все по арыкам расходятся. Вот эдак и я. По арыкам пошел.

Ну так вот. Восстановим ход мыслей. После революции в большую силу вошли евреи. Это я, впрочем, уже говорил. И не один раз. Старческая болтливость. А дело-то в том, что досада, раздражение против евреев все время в народе копилось. Знаете такое рассуждение: почему он, а не я? Чем он лучше меня? Страшная штука. Русские, в сущности, делятся только на две категории: антисемиты и погромщики.

— А кто же вы, Николай Прокофьевич?

— Я? Что за вопрос! Конечно, погромщик. Антисемит — он идейный. Это человек страшный. Немцы — те антисемиты. С системой. А погромщик — тот попроще. Он — человек добрый, он евреям зла не желает, а вот увидит, что по переулку пух из перин летает, — и он туда. И заметьте, у каждого погромщика есть свой любимый еврей. Мойша там или Ицка, которого он во время погрома себе под кровать прячет. Так что вы, Костя, рассчитывайте. В случае чего — милости просим.

— Спасибо, Николай Прокофьевич.

— Знаете, как по-старинному благодарят? Один: «салфет вашей милости!» А другой — «красота вашей чести!» Это я недавно в одной книге прочел. Так о чем же я? Снова забыл. Ах, да. Антисемитизм все время тлел в народе потихоньку, только ходу ему не давали. Теперь — дали. Ох, страшное дело, когда крикнут народу: ату его!

— Да не крикнули же, Николай Прокофьевич!

— Шепотом крикнули. Я ведь об этом думал. Знаете кривую Пеано?

— Нет, не знаю, — сказал Костя.

— И вы не знаете? — прищурился Николай Прокофьевич.

— Тоже не знаю, — сказал Юра.

— Молодежь! Сливки технической интеллигенции, а общее образование — как у кормилицы. Так слушайте. Итальянский математик Пеано (чур меня, не к ночи будь помянут, типичный иностранный ученый!) построил особую кривую. Эта кривая заполняет квадрат, то есть проходит через любую точку внутри квадрата.

— Разве так может быть?

— То-то и есть, что может. Да я вам покажу, как она строится. Дайте-ка лист бумаги.

Старик начертил квадрат.

— Вот, извольте видеть, как она строится. Рано или поздно такая кривая пройдет через любую точку квадрата.

— Вижу, — сказал Юра. — Действительно, забавная штука. Не вижу только связи с нашим разговором.

— По арыкам пошли, Николай Прокофьевич? — спросил Костя.

— На этот раз не по арыкам. Кривая Пеано имеет к нашему разговору прямое отношение!

— А именно?

— Видите ли, до революции была черта оседлости. Заметьте — черта, кривая. Это была обычная, честная кривая. По одну сторону от нее евреям можно было жить, по другую — нельзя. Теперь у нас тоже есть черта оседлости. Только это — не обычная кривая, а кривая Пеано. Она проходит через каждую точку территории. И ни в одной точке не ясно — можно там жить или нельзя?

Божья коровка, из небольших, ползла вверх по травинке перед самым его носом. Травинка гнулась. Дойдя до конца, божья коровка каждый раз падала на землю лапками вверх, некоторое время барахталась и снова начинала свое восхождение.

Костя взял ее, посадил на палец и подул ей в крылышки. Она затрепыхалась, выпустила из-под желтого панциря черные слюдяные занавесочки и улетела.

Если смотреть так близко, олений мох-ягель кажется лесом. Каждый ствол — крохотная березка, покрытая инеем. Спичка, которую он бросил, закуривая, лежала в этом лесу, как бревно.

...Маленький мир со своими происшествиями, со своим маленьким, медленным временем. Божьей коровке тоже, верно, казалось, что она занята делом. Когда она ползла вверх и падала, происходили события и текло ее собственное, божьекоровское время.

Давно же он не был в лесу, не видел этой сухой, теплой, колючей земли с пепельной подкладкой. Бесплодная, прелестная северная земля. Он осторожно поцеловал ее и оглянулся — не видит ли Юра?

...На пляже было пусто — ни души на всей дуге, сколько видит глаз. Ноги тонули в сухом, податливом, сероватом песке. В песке было много палочек, пробок, сухих черноватых водорослей, и все это пахло морем. Подумаешь, море: мелкое, ручное, смиренное, а пахнет...

Они разделись

— Поймай, Юра, что это у тебя? Ты был ранен?

— Ну да. А что?

— Почему ты мне не говорил никогда?

— А чего говорить? Подумаешь, заслуга какая! Не повезло, стукнуло. Это не заслуга, а вина.

— Глуповато.

— Почему? Ранен — виноват. Заболел — виноват, так тебе, сукиному сыну и надо. Попал в тюрьму — виноват. Умер — трижды виноват.

— Это какая-то ересь, да еще книжная.

— Есть отчасти. Мы ведь до того сформированы книгами, что иногда трудно разобрать, где мы, где они...

«Был ранен, а мне не сказал, — думал Костя, — как же я теперь спрошу его, что с ним?»

Они долго шли в море — по колени, по бедра, по пояс — и наконец вошли в теплую, светлую, сладкую воду. Юра плыл сильным, щегольским кролем, Костя — спокойным брассом, рассекая воду перед лицом горизонтально сложенной лопаточкой рук. Ему было жаль погружать голову, он оставил глаза над водой, и перед ними было все море — атласное, полосатое, теперь уже вечерне-сиреневое. Море на уровне глаз. Он видел и словно дышал глазами. Видел дымки черноватых туч над серьезным оранжевым краем неба, и лиловую голубизну вверху, и спящую чайку, строго белевшую на валуне, — видел и не мог надышаться.

Заплыли далеко. Юра вынул из воды мокрую кудрявую голову и лег на спину. Костя лег рядом и спросил:

— Хорошо?

— Очень, — неожиданно просто ответил Юра.

...Юра, говорящий просто! Бедный, с ним действительно нехорошо...

К станции они выходили уже ночью и сбились с пути. Днем все это выглядело иначе. А ночь была светлая, развернутая, теплая, с поющими комарами. Облака в небе — жидкие, как болтанная простокваша, и между ними кое-где бледные звезды.

Они шли по шоссе, остро шуршащему галькой. Вдруг Юра остановился:

— Смотри, что это?

Впереди загадочно зажигались и гасли попеременно два красных глаза. Гас один, зажигался другой.

— Переезд, — объяснил Костя. — Предупреждающие огни. Поезд идет. Обождем.

Постояли.

— Костя, — сказал Юра странным голосом и оборвал.

— Что? Говори!

— Нет, это так...

— Не ври. Ты что-то хотел мне сказать.

— Ничего особенного. Просто я вспомнил... одного человека. Он, когда говорит, тоже открывает — то один глаз, то другой...

— С этим человеком что-то связано? Говори. Не тяни душу.

— Не сейчас. Еще не сейчас. После когда-нибудь я тебе все скажу. Обещаю. А пока что — не приставай. Можешь ты наконец не приставать ко мне?

— Не ори. Припадочный. Разумеется, я приставай не буду. Когда я к тебе приставал?

— Всю жизнь.

Мимо, истошно крича, пронесся поезд с горьким дымом и искрами из трубы. Красные огни погасли.

Домой приехали поздно.

Костя поднялся по лестнице и хотел открыть дверь своим ключом, но не успел. Ему открыла Ольга Федоровна и сразу громко заплакала.

— Ольга Федоровна, что случилось? Ради бога... Надюша?

Ольга Федоровна подняла черный шелковый подол, громко высморкалась и рыдая сказала:

— Константин Исаакович, у вас сын родился.

Спустя десять минут, после всех ахов, охов и расспросов, он позвонил Юре.

— Юра! Какая новость! У меня сын родился!

— Тоже — новость. Давно знаю и поздравляю. Только что хотел тебе звонить.

— Откуда ты знаешь?

— От Лили, конечно. Она же и отвезла Надю в больницу.

И вот они сидели за столом и пили за нового человека, маленького, загадочного, про которого только и известно, что он — мужчина. Наташа не спала, и ей дали самую капельку, с чаем. Все говорили о сыне. Как это непривычно звучало: сын! Косте было стыдно, но он гордился. И тем, что мальчик, и весом, и ростом.

— Леонилла Илларионовна, а средний рост какой?

— Пятьдесят. А ваш — пятьдесят семь! Гренадер!

Она была весела, в ударе.

— Исключительно правильные роды. Молодец, Надя! Очень интенсивная родовая деятельность. Когда отошли воды...

Костя смотрел ей в рот, слушал. И он когда-то считал эту женщину неприятной! Вот дурак!

Тут раздался тонкий, словно ненастоящий, голосок с кровати:

— А как вы назовете мальчика? — спросила Наташа.

Костя поднял рюмку и поглядел Юре в глаза:

— А ты как думаешь? Как мы его назовем?

— Не знаю.

— Юрой, конечно! — заорал Костя. — И будут у нас два Юры: большой и маленький.

— Не надо, — вдруг сказал Юра.

— Ты с ума сошел. У нас с Надюшей давно решено: если мальчик, то Юра.

— Черт с тобой. Называй, как хочешь.

Только прощаясь с Костей под утро, Юра сжал ему руку и сказал:

— Спасибо, друг.

Странно быть отцом.

Особенно таким — теоретическим — отцом, который и сына-то своего ни разу не видел.

Всю эту неделю, пока Надя не выписалась из больницы, он провел как-то суматошно. Непрерывно звонил телефон, поздравляли. Как будто весь город радовался, что у него сын. Механически он отвечал на единственный вопрос, на который мог ответить:

— Четыре. Пятьдесят семь.

— У, богатырь! — говорили ему. А он гордился.

В вестибюле родильного дома он каждый день с удовлетворением читал замечательную строчку: «Левина Н. Мальчик. 4 кг. 57 см.».

Он приносил цветы. Много цветов. Целые вороха пионов — малиновых, белых, розовых, пахнущих лимонном, с каплями воды на холодных лепестках.

Надюша писала коротко: «Дорогой Костя! Чувствую себя хорошо. Спасибо за цветы. Из еды ничего не надо. Мальчик тоже здоров. Крепко целую. Н.».

Он вертел в руках записку, ища в ней чего-то нового. Снова перечитывал список. Ему казалось, что все с завистью читают именно его строчку: Мальчик. Четыре. Пятьдесят семь. Его сын и в самом деле был в списке самым высоким! Но не самым толстым... Была, оказывается, чудо-девочка: четыре восемьсот... Костя невзлюбил эту девочку. Презирая себя, он сказал какой-то бабушке, тоже внимательно изучавшей список:

— Не в весе счастье.

У нее-то были двойняшки, две девочки, кило восемьсот и два сто... И рост самый жалкий: по сорок семь сантиметров!

А дома все было кувырком. Люди, люди...

Пришла Анна Игнатьевна, принесла ворох пеленок, оставшихся от внука, который ходил уже в штанах, как взрослый.

— Берите, Костя! Пеленок никогда не может быть слишком много.

— А сколько их должно быть? Десять?

— Как минимум сорок. Вы не представляете себе, сколько раз в день он делает.

Костя купил приданое, но там было всего десять пеленок. Зато были чудесные рубашечки, чепчики... Когда росла Циля, таких вещей не было. Циля...

Он принес коробку Анне Игнатьевне. Она спросила:

— А подгузники?

Циля росла без подгузников. Он даже не знал, что это такое.

— Эх, дети, дети! А еще рожают. Ладно. Принесу подгузники. Она чмокнула его в щеку и ушла, хлопнув тремя дверями.

Ольга Федоровна все время толклась в комнате и «переживала». Приходила Виолетта, делала большие глаза:

— Нет, он совсем маленький? Как интересно!

Иван Михайлович принес собственного изделия стульчик с отверстием:

— Ребенка надо с ранних лет приучать к опрятности.

Приходил водопроводчик Миша:

— Наше с вами! Как у вас: водопровод действует?

— Да, спасибо.

— Уборная действует?

— Да.

— Хочу убедиться.

Вошел в уборную, заперся и заснул. Разбудили его. Вышел:

— Вы меня, конечно, простите. Выпил в честь Надежды Алексеевны с сыночком. Похмелиться бы.

Получив нужную сумму, он отбыл.

Звонил дедушка:

— Алло, Костя! Как ты себя чувствуешь в роли отца?

— Чудно.

— Ничего, бодрись, мальчик. Я тоже в первый раз стал прадедушкой. Ничего не поделаешь... Роза целует. Мы приедем.

На работе всю эту неделю Костя почти ничего не делал. У него что-то спросили, и он, по привычке, ответил:

— Четыре. Пятьдесят семь.

А вообще, ему казалось, что это все — не по-настоящему, что он только играет в отца...

Но когда в приемной больницы навстречу ему шагнула настоящая Надюша, только очень бледная и тоненькая, с огромными обведенными глазами, а рядом с ней — нянечка с голубым свертком, только тогда он понял, что все — настоящее...

— Надюша, родная! — Он поцеловал ее в щеку, в губы — не посмел.

— Папаша, примите ребенка, — сказала нянька.

Костя взял сверток неловкими, разучившимися руками.

Надюша улыбнулась:

— Поцелуй и его.

Он отвернул край одеяла. Там было что-то оранжевое, пушистое, как абрикос. Не сразу он понял, что сын спит, что глазки прикрыты лиловатыми, подпухшими веками, а на этих веках — трогательные, беленькие, растопыренные реснички. Какое-то обилие уменьшительных...

— Здравствуй, — сказал он и поцеловал сына в лобик. Его потрясла нежность кожи: он поцеловал крыло бабочки...

Так они двинулись вперед все трое: семья.

— Милая моя! Это было очень страшно?

— Не очень, — ответила Надюша.

Когда Леонилла Илларионовна, прощаясь, благословила ее поцелуем в лоб и тяжелая, высокая дверь приемного покоя захлопнулась за нею, Надя оробела. Это была мясорубка, равнодушно глотающая живой, боящийся, страдающий человеческий материал. Отсюда не было хода назад: ход был только вперед, и она сделала шаг вперед и вошла.

За столом сидела очень опрятная, немолодая сестра в крахмальной белой повязке. Она что-то писала и любезно сказала: «Садитесь».

Надя села на краешек клеенчатой койки. На стене висели плакаты: различные виды родовых осложнений, неправильных положений плода. Самое неприятное было лицевое: ребенок, неестественно загнув голову, выставлял вперед лобастое личико с закрытыми глазами...

— Первые роды? — спросила сестра.

— Вторые.

— Аборты? Выкидыши?

— Не было.

Сестра записывала.

— Осложнения во время беременности? Рвоты? Отеки?

— Ничего не было.

— Венерические болезни?

— Нет, конечно.

(«Наличие венерических заболеваний отрицает», — вслух записала сестра.)

— Какие инфекционные болезни перенесли?

Надя молчала, прислушиваясь к себе изнутри. Опять схватка. Ее подняло на девятом валу боли и медленно отпустило. Сестра не торопила ее.

— Инфекционные болезни?

— Корь... Скарлатина... кажется, ветряная оспа... не помню.

— Дизентерией не страдали?

— Не помню. Кажется, нет. Нельзя ли поскорее — мне очень худо.

— Все идет нормально, — сказала сестра, — все по порядку.

«Корь, скарлатина...» — записывала она.

— Разденьтесь. Ложитесь. Так. Свободнее дышите, свободнее...

Так. Все нормально. Когда начались схватки?

— Два часа назад или около того... Собственно...

— Рассчитывайте на двадцать часов. Первые роды?

— Вторые.

— Рассчитывайте на десять часов. Бодрее, больная! Одевайтесь.

Вот ваше белье.

Было холодно. Надя надела короткую и широкую рубашку, очень чистую и влажную на ощупь, и завязала у ворота грубые тесемки. Кроме рубашки ей дали выношенный байковый халат мышино-сиреневого цвета. И на рубашке и на халате были большие

черные штемпеля. Ноги она погрузила в огромные, стоптанные, непарные тапочки. Одна черная, другая коричневая.

«Все», — подумалось ей. Со вступлением в эти тапочки кончилась всякая самостоятельность. Больше от нее ничего не зависело.

Нет, тот, первый раз было не так страшно. Она рожала в бомбоубежище, при керосиновой лампе. Кругом падали бомбы, а страшно не было. Здесь — куда страшнее. Наверное, потому, что очень светло и все белое. Белые стены, белые шкафы, белый безжалостный свет.

— Идемте, мамаша, — сказала сестра.

Опять схватка, на этот раз сильнее. Надя изогнулась, закусив губы и постанывая. Сестра ждала, спокойно, равнодушно. Потом повторила тем же тоном.

— Идемте, мамаша.

Они вышли в коридор.

— Посидите здесь, — сказала сестра и ушла.

Надя села на белый деревянный диван. Она вцепилась в свои колени и раскачивалась — так было легче терпеть. Схватки шли все чаще, одна за другой, как будто само время распухло и пульсирует.

Невозможно. Невозможно. Невозможно больше терпеть. Сестра не возвращалась. Казалось, когда она вернется, все станет на свои места: ее куда-то уложат, помогут.

Мимо прошла женщина в халате, неся какую-то медицинскую галантерею. Надя обратилась к ней:

— Простите, я здесь сижу уже давно...

— Когда родила? — строго спросила женщина.

— Я еще не родила...

— Чего ж тогда по коридорам ходишь? Не положено.

— Меня посадили тут и оставили.

— Посадили, так и сиди. Раз не родила, сейчас положат. В предродилку или в родилку, как полагается. Не забудут, не бойся.

— Я не боюсь, — сказала Надя. Женщина ушла.

Мимо прошли две молодые, миловидные сестрички, оживленно беседуя.

— И костюмчик себе справила, и пальто габардин. Видела? На свадьбу приглашает. Приходите, говорит, девочки, — сказала черненькая, повыше.

— Ты в капроновом пойдешь? — спросила другая, розовая.

Такие миленькие девушки... Наверно, они ей помогут. Не может быть: человеку плохо, а все идут мимо.

— Послушайте...

Удивительно, как сразу заперлись оба хорошеньких личика. Оживление отлетело — одна строгость и скука.

— Мы не отсюда, — сказала черненькая, и они прошли.

Два санитаря пронесли носилки. На них лежала молодая женщина с совершенно синим лицом. Большая коса мела пол, голова моталась из стороны в сторону. Женщина ритмично хрипела...

...Терпеть было уже совсем невозможно. Нужно было сейчас же, сейчас же куда-нибудь лечь, или встать, или выпрямиться, или сунуть куда-нибудь голову, или совсем оторвать ее, что ли. Надя услышала, как кто-то кричит, и испугалась, поняв, что это кричит она сама.

Появилась еще одна женщина в халате — полная, добрая, пожилая. Надя вцепилась ей в руку.

— Тут, видно, скоро, — сказала она. — Ну-ка, ложись погляжу. Чего тут, прямо в родилку.

«Родилка» была высокая, белая палата. Белый свет резал, как тысяча ножей. Стояло несколько высоких, тоже белых, не то столов, не то кроватей. Человек шесть женщин сидело и лежало на этих высоких подставках. Воспаленные лица, спутанные волосы. Некоторые ломали руки, другие терли поясницу, бедра... Одна сидела, укусив свое колено. Было сравнительно тихо. Но вдруг грубо закричала одна, ей ответила другая, и как-то сразу вся палата наполнилась многоголосым криком.

— Ишь, распелись, — заметила пожилая сестра.

— Орут, кобель с ними, — злобно отвечала другая, тощая, как сухая треска. — Небось когда с мужиками валялись, не орали, а приговаривали: «Васенька, обойми меня, Васенька, поцелуй меня послаже!» Тьфу, суки!

— Ващенкова, сейчас же перестаньте, — прикрикнула молодая женщина, судя по шапочке, врач. — Вы не имеете права тут ругаться.

— Права не имею? — ощерилась та. — А ты найди другую за эти деньги горшки ихние выносить!

Повернулась и пошла к двери. Из-под темной юбки и завязанного сзади халата торчали коричневые вяленые ноги...

Надя вдруг, ни с того ни с сего, заплакала. Ей стало жалко эту сухую, злую женщину, которую, должно быть, никто не любил, которую, верно, сильно обидел какой-то Вася... К ней подошла пожилая.

— Ну, чего плакать-то? Больно? А ты свободно, киселем лежи, не дуйся. Надо будет дуться, я скажу. Кричать охота — ори, не стесняйся. Видишь, как у нас? Чистый концерт. Что твоя фигова гармония.

«Вот я легла, и все-таки невыносимо, — думала Надя. — Куда от себя деться?»

Ей вдруг ужасно захотелось в то темное бомбоубежище, где так укромно было рожать, где ее завесили простыней и не было этого жуткого света... Помогала ей бабушка-соседка и все приговаривала:

— Потерпи, моя ласточка.

«Хоть бы кто-нибудь меня пожалел...»

Ей было очень-очень плохо, и время от времени она кричала, но к ней никто не подходил. На соседнем столе рожала та самая, молоденькая, с большой косой. Она обмотала косу вокруг шеи, словно желая удавиться, и уже не хрипела, а рычала. Вокруг нее толпилось много людей и среди них один — должно быть, главный —

пожилой мужчина с засученными рукавами, с резиновыми перчатками на сухих волосатых руках. Женщине давали наркоз...

«Все в порядке», — сказал врач, и в руках у него очутилось что-то непонятное. Он передал это сестре.

— Мальчишка. Здоров. Уродец. Похож на Максима Горького, — сказал он, шлепнув новорожденного и отошел.

...А Надя уже не понимала, что с ней, и сколько человек стоят у ее стола, и кто стоит, и кто с ней разговаривает, все равно — мужчины это или женщины. Было уже не так больно, как раньше, но худо, невообразимо худо. Ее выворачивало наизнанку, она больше не понимала, где «внутри» и где «снаружи». Она ясно чувствовала, что умирает...

«Наверно, это душа с телом расстается, отрывается душа от тела», — подумала она.

И тут все кончилось. Сразу. Ей стало легко и холодно. Она лежала — пустая, холодная и страшно счастливая. Безбрежно, безбожно счастливая. Только в такие минуты понимаешь, что такое счастье! У ее ног кто-то равнодушно произнес: «Мальчик».

— Покажите, — попросила она чужим шепотом.

Ей показали ребенка. Повиснув на руке сестры, он отчаянно кричал и трясся, сводя и разводя маленькие красные руки, уронив длинную голову с кровавой опухолью сбоку...

— Бедный-бедный, — сказала Надя.

«...Неужели меня можно было так понять? — думал Юра. — Что я такого сказал, что он меня так понял?»

Голова отчаянно болела, просто раскалывалась.

Он вошел в телефонную будку. Кругом — никого. Набрал номер.

— Можно майора Авдеенко?

— Майора Авдеенко? А кто его беспокоит?

— Нестеров.

— Сейчас.

Он держал трубку. В ней слышны были шаги, потом отдаленный голос: «Авдеенко...» И еще раз: «Авдеенко». Может быть, это кровь у него в ушах говорила «Авдеенко»... Опять шаги. И голос, уже другой:

— Майор Авдеенко говорить с вами не может.

— Скажите ему, что у меня очень важное дело.

— Майор Авдеенко говорить с вами не может. Когда будет нужно, мы сами вас вызовем. Действуйте согласно полученным инструкциям.

Все. Короткие, наглые гудки. Он ударил трубку кулаком, швырнул ее мимо крюка, и она заболталась на проводе, призрачно попискивая...

Что делать? Что делать?

Он бежал по улице. Издевательски золотой осенний день смеялся над ним всеми своими солнечными пятнами. Будь проклято все, все!

Вчерашний разговор с майором Авдеенко... Что я такого сказал? Ничего! Просто рвался наружу. Скорее уйти! Я же ничего не сказал! Почему же этот мерзавец решил, что я на все согласен?

— Нам известно, что вы часто разговариваете, ну, скажем, неосторожно. Продолжайте в том же духе. Люди будут чувствовать себя с вами свободнее. Это в наших интересах.

Почему я тут же не разматерил ему все, не отказался ясно, категорически? Испугался? Нет, честное слово! Просто хотел уйти. Не мог находиться в этом кабинете. Понял все, только когда ушел. Не спал всю ночь. Решил позвонить с утра: «Вы неверно меня поняли. Я ни на что не согласен».

Нет! Оказывается, этот прохвост не согласен! Он не согласен со мной говорить!

Не выйдет у него ничего! Ничего, ничего я для них не сделаю! Клянусь! Перестану говорить свободно! Буду тише воды, ниже травы. Буду молчать. Отмолчусь. А его я убью. Вызовет — убью.

Вот и институтский подъезд. Как он любил раньше свою работу! А теперь туда страшно войти, словно за порогом — чума.

Он взял себя в руки и вошел.

Костя, весело насвистывая, возился над новой установкой.

— Слава богу, пришел. Где ты шляешься? Тут у меня не ладится с обратной связью.

— Увеличить емкость, — механически сказал Юра.

«На кого похож, — подумал Костя, — бледный, взерошенный. Видно, не спал всю ночь. Ну и дела. Бедная Лиля! Спрашивать не буду. Сам скажет — обещал».

Костя торопился домой, чтобы помочь Надюше с купаньем. Мальчику было уже три месяца, и он так прочно вошел в жизнь, словно всегда был. Костя очень любил его купать, понимал теперь Анну Игнатьевну («Купала внука»).

Юрка лежал в ванночке — сосредоточенный, блаженный, на вдвое сложенной пеленке. Надюша намыливала его ладонью. Мальчик дрыгал кривой розовой ножкой и бил пяткой по воде. Летели брызги. Костя приготавливал кувшин для обливания, истово смешивал холодную и горячую воду, орудовал градусником... Так, тридцать пять градусов. Деревянный градусник на мокрой веревке... Запах детского мыла...

Надюша ловко подхватывала ребенка под грудки и поднимала:

— Обливай.

Он, священнодействуя, обливал темно-розовую, суженную книзу спинку и приговаривал:

— С гуся вода, с тебя худоба.

Так всегда говорила тетя Дуня.

А потом, вытертый, подпудренный, запеленутый, несказанно чистый, Юрка ложился есть. Он сосал, глядя перед собой темно-синими, загадочными глазами. Влажная, изогнутая прядка на лбу делала его похожим на Наполеона...

Костя смотрел, как Надюша кормит. Все мадонны Возрождения сидели перед ним в одном лице и кормили младенца...

Юрка засыпал, вяло выпустив сосок, полуоткрыв белесые от молока губы...

— Бери, — говорила Надюша шепотом.

Он брал мальчика, чашечкой подложив ладонь под влажную голову, и клал его в кровать осторожно, как взрывчатое вещество...

Все это было так обыкновенно! Он наслаждался и не мог досыта насладиться сладким счастьем обыкновенности.

Дымчатый, такой ленинградский, октябрьский день, зарядивший дождем надолго. По лужам — пузыри, пузыри...

Костя шел на работу и улыбался. Перед глазами у него был Юрка. Светлый, пузатенький, в голубых штанишках, лежа поперек стола, он быстро, весело перебирал ногами, будто ехал на велосипеде и очень торопился. Сегодня случилось событие: из двух предложенных ему погремушек — голубая и красная — Юрка определенно выбрал красную. Повторили опыт несколько раз — результат устойчивый. Каждый раз — красную. Научился различать цвета!

Удивительно! Родился человек, растет, набираются и выстраиваются в каком-то порядке клеточки, и вот он уже умеет различать цвета.

Как это происходит? Очевидно, в зрительном нерве, или в мозгу, производится спектральный анализ, какие-то сигналы по нервам идут к руке и передают ей приказ: возьми погремушку, не голубую, а красную... Как мало мы еще знаем, позорно мало! Только начинаем узнавать.

В институтском коридоре ему встретились два-три человека. Как-то странно они на него поглядели. Ерунда. Ничего не странно. До чего же мы все напуганы, всюду нам мерещатся косые взгляды...

У двери лаборатории стояла Анна Игнатьевна, встревоженная, с газетой в руках. Нижнюю губу она забыла накрасить.

— Костя, вы, конечно, уже читали? Не стоит огорчаться. Мало ли что бывает.

— Нет, я ничего не знаю. А что случилось?

— Подвал по поводу журнала «Вопросы автоматике». Упоминается ваша статья.

— Не читал.

— Прочтите и соберитесь с мыслями.

Она быстро ушла.

В лаборатории сидел Юра.

— Поздравляю, — сказал он. — Сподобились.

Подвал назывался длинно: «Все ли спокойно на Шипке? (Об идеологических извращениях, допущенных журналом "Вопросы автоматике")». У Кости заняло под ложечкой.

— Читай, читай, — злорадно сказал Юра.

Костя пробежал статью тренированным глазом, привыкшим отделять полезную информацию от воды. Не читать же каждую фразу.

Начало, как и полагается, «за здравие»:

«...Мы, воспитанники корифея...» «Известно, что наша наука во всех областях заняла ведущее положение...» Так, так... Когда же «за упокой»?

Он искал «однако». А, вот оно. На этот раз не «однако», а «но»:

«...Но бывает у нас иногда и так, что под видом "новых" концепций и "оригинальных" обобщений некоторые "ученые мужи" пытаются протащить обветшалые идеалистические "идейки", уводящие научную мысль с широкого пути материалистического познания...»

Кавычки, кавычки... Прямо в глазах рябит. Отсюда надо читать внимательно.

«...Не так давно журнал "Вопросы автоматике" предоставил свою трибуну неким К. Левину и Ю. Нестерову для самой разнузданной пропаганды идеализма и ничем не прикрытого низкопоклонства перед иностранщиной».

«Добрались-таки и до нас», — подумал Костя довольно спокойно.

Стандартная, витиеватая ругань: «Дипломированные холопы буржуазной науки», «безродные космополиты, не помнящие родства...». В общем, весь набор.

«...Статья проникнута духом самого низкопробного космополитического нигилизма...»

«...Перепеваются гнилые идейки американских лжеученых о возможности моделировать с помощью машин деятельность живых существ...»

«...В своем злопахательстве не остановились перед тем, чтобы злостно исказить философские высказывания В.И. Ленина! На стр. 98 читаем: "Ленин учил, что сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его". Под такой формулировкой охотно подписался бы любой махист!...»

— Юра, эта формулировка...

— А, разве в ней дело? Читай дальше.

«...В статье нет ни одной ссылки на работы русских и советских ученых, зато иностранные источники цитируются неоднократно...»

«Матерый идеалист, гангстер от науки Норберт Винер со своей так называемой "кибернетикой", которую он объявляет панацеей от всех бед...»

И конец:

«...Редакция журнала должна нести полную ответственность за опубликование насквозь порочной статьи К. Левина и Ю. Нестерова "К вопросу о моделировании некоторых сторон поведения живого организма».

— Ну, как? — спросил Юра. — Наслаждался?

Костя помолчал. Надо осмыслить размер удара и последствия...

— Что же теперь будет? — спросил он.

— Что будет? Сечево.

— Какое сечево?

— От слова «сечь». От «печь» — «печево». От «сечь» — «сечево».

Неологизм вполне в духе языка.

— Мы можем доказать свою правоту...

— Ха! Правота! Кого она интересует?

Вошел Николай Прокофьевич.

— Читал, — весело сказал он. — Все было, все было.

— Когда? — мрачновато спросил Юра.

— А в средние века. Ведь это — типичные ведьмовские процессы.

Ась? Недавно попалась мне книжечка: «История средних веков». Там прелюбопытные эпизоды приводятся. Судили, например, одну старушку за то, что она, дескать, со змеем сожительствовала. Змей по ночам к ней в трубу летал. Очень удобно. Так вот, старушонка не только во всем созналась, но и от себя кой-чего присочинила. Развернула, как теперь говорят, самокритику своих ошибок. Призналась, что даже понесла от змея-то, родила младенца мужеска пола и закопала во дворе, в навозной куче. Разрыли кучу — хватя-похватя, нет младенца. В червя обратился, объясняет старушка. Поверили. И сожгли честь честью. Так-то...

— Товарищи, объявляю открытое партийное собрание институтской парторганизации открытым. Слово для доклада на тему «Состояние идеологической работы в институте и задачи партийной организации в борьбе за идейную чистоту наших кадров» имеет заместитель директора кандидат технических наук товарищ Харитонов.

Докладчик вышел на кафедру, разложил бумажки, постучал по микрофону (в ответ металлически зачихали громкоговорители в разных углах зала) и значительно произнес:

— Товарищи...

Костя разглядывал Харитонova. В институте это был человек новый. «Новая метла чисто метет». На кафедре стояла метла, приготовившаяся мести без пощады.

Небольшое, нюхающее обезьянье лицо. Гладкая, желтоватая лысина с оборкой мочальных волос, туго натянутая на череп, как тесная шапочка. Время от времени он подергивал, словно мигал, кожей головы, и тогда шапочка сдвигалась на лоб.

Доклад начался заурядно. Харитонов пересказывал статью «На Шипке», даже не своими словами — рабски. Шло пока что трескучее «за здравие».

Нет, это был все же не совсем обычный докладчик. Поражало, с каким искусством он, несомненно читая по бумажке, делал вид, что не читает, а говорит. То и дело он поднимал глаза, жестиком лировал свободной рукой и въедливо, мелко кивал своей шапочкой.

От его певучих, скарредных интонаций шла одуряющая, подлая скука. В тоске Костя разглядывал затылки и уши впереди сидящих. Обычная, скучающая толпа, слышащая в сотый раз одно и то же. В зале стоял слабый, безличный шумок, маленький гомон дыханий, переброшенных друг другу слов, скрипа стульев... Словно мельница какая-то молола.

Уши настрожились и шумок переменял тембр, когда докладчик сказал «однако». На этом слове он патетически повысил голос.

Ничего нового. Все еще пересказ газетной статьи. Намертво припаянные эпитеты: «фашиствующие лакеи империализма», «оголтелые мракобесы»...

А сколько славянизмов! Удивительно, как у нас любят ругать торжественными, церковнославянскими оборотами: «иже с ними», «ничтоже сумняшесь»... Предполагается, что так создается особая, сверхъядовитая ирония, убивающая на месте. Мертвые слова, воскрешенные, чтобы убивать.

Да, большая сила — слово. Человек, на которого направлен поток слов достаточно высокой концентрации, — погибает.

Докладчик дошел до кибернетики.

— Приверженцы этой, с позволения сказать, науки из кожи лезут вон, чтобы показать отсутствие принципиальной разницы между машиной и живым организмом. Игнорируя качественное своеобразие жизни, этой высшей формы существования материи, они рассматривают живой организм как своего рода вычислительную машину...

Костя обернулся к Юре. Тот не смотрел — ковырял обивку стула.

— Товарищи! — вдруг возопил докладчик так, что все вздрогнули. — Но ведь эти домыслы отбрасывают науку на двести лет назад! Да, да, на двести лет назад, к идеям французского буржуазного материалиста Ламетри, написавшего трактат «Человек-машина»! Такова новизна «новых идей» господ кибернетиков!

(Этого пассажи в газете не было. Сам, видно, придумал, сукин сын. Он опаснее, чем казался: не только исполнитель — творец...)

А Харитонов разошелся. Вот что значит оторваться от чужого текста! Он импровизировал. В голосе появились надрывные, кликушеские ноты... Кого он напоминал? Камлающего шамана? Гитлера? Вообще творческое зло?

— Мы должны сорвать с них маску, показать, кому на деле служит кибернетика! Самой оголтелой реакции, заклятым врагам человеческого рода, вот кому служит кибернетика!

Нет, это было жутко. Не пользуясь готовым текстом, докладчик извергал все такие же готовые, злобные, ходульные фразы. Казалось, каждую из них нужно было долго вынашивать, питать ядом... А тут они рождались на ходу:

— Только панический страх идеологов империализма перед пролетарской революцией мог породить такое убудочное создание псевдонауки, как кибернетика!

Главный принцип создания таких фраз — многоэтажность. Как виртуозный мат.

«Скорее бы о нас», — думал Костя. Тоска его душила — смертная, страшная...

— Товарищи, вам всем, вероятно, известно, что недавно в центральной печати были разоблачены идейно порочные работы группки сотрудников нашего института...

Вот оно. Зал зарокотал. По рядам ветерком прошло движение.

— Излишне называть их имена. Но я все-таки назову. Это, с позволения сказать, сотрудники восьмой лаборатории: Левин Константин Исаакович и Нестеров Юрий Борисович...

Докладчик сделал эффектную паузу и устремил туда, где сидели виновные, кривой указующий перст.

— Палец Вия, — сказал Юра шепотом. Костя молча сжал ему руку.

— Я, представитель дирекции, — кричал тем временем докладчик, — тоже несу ответственность за то, что мы проглядели вредную, антипатриотическую деятельность этой группки. Я говорю «группки», ибо Левин и Нестеров были не одиноки! Их активно поддерживал профессор Поспелов!

Николай Прокофьевич громко чихнул.

— Не кто иной как профессор Поспелов поддержал этих раболепствующих перед иностранщиной космополитов и помог им протащить в план новую тему: «Человек как элемент динамической системы»! Вы только вслушайтесь! Это — не что иное, как попытка математическими уравнениями описать человека — наиболее совершенное создание природы! Дальше, как говорится, идти некуда! И этот порочный план был утвержден дирекцией!

Зал неопределенно забурчал.

Костя уже не слушал, он следил только за интонациями: выше, ниже... По опыту он знал, что перед самым концом в речи подует ветерком, интонация изменится... Голос поднимется, станет торжественным... Похоже, скоро конец... И точно:

— Да здравствует величайший гений человечества, корифей науки, наш дорогой друг, отец и учитель — товарищ Сталин!!!

Аплодисменты. Хлопали все.

В перерыве Костя и Юра вышли покурить. Они шли по незримо, но четко обозначенному проходу. И в курилке они стояли вдвоем, другие — отступя, словно стесняясь.

— Как на бойнях, — усмехнулся Юра. — Живые коровы шарахаются, увидев мясо...

К ним протискался Николай Прокофьевич. Старик просто сиял.

— Ну и доклад! И это — ученый! Паец на веревке. А экспрессия-то какова! Царевкокшайские подмостки. Ну-ну, молодые люди, бодрее!

Перерыв кончился. Начались прения.

Костя слушал с пятого на десятое. Мертвая скука ползла из зала, выползала на кафедру, плела мутные, пустые речи, кое-как склеенные из газетных фраз:

— Товарищи! Сейчас, как никогда...

— Несмотря на тревожные сигналы, в институте продолжает царить атмосфера благодущия, самоуспокоенности...

— Имели место многочисленные факты политической бесхребетности...

Пока — в общем плане. О них с Юрой — ни слова.

И вдруг он понял: этими мутными речами товарищи спасали — его! Их с Юрой. Они должны были говорить и говорили — ни о чем, в пространство. Старались отвести удар в пустоту...

«Эх, милые, — думал Костя, — спасибо вам, но это ни к чему. Прямой удар все равно будет».

И точно. Вышел Алексеев — тусклый, вихляющийся тип из лаборатории Пospelова.

— Не знаю насчет Левина, не наблюдал. А насчет Нестерова могу сказать. На семинарах всегда выступал с прохладцем. Верно я говорю? И вот последствия. У Энгельса ясно сказано: «Жизнь есть форма существования белковых тел». Белковых! А глядя на эту нестеровскую машинку, сразу скажешь, что это — не белок...

— А желток, — довольно громко подсказал кто-то с места. Раздались смешки, шиканье, крики: «Глупо, товарищи».

Алексеев, растерянный, стоял на кафедре.

— Человек — это звучит гордо, — нерешительно сказал он.

— Алексеев, сядьте, — негромко приказал Николай Прокофьевич. Алексеев свернулся и бочком-бочком неловко сполз с кафедры.

Слово взял Нечипоренко, по прозвищу «Сука», — черноглазый, жесткошерстый. «Метя выменем по земле, вошел Нечипоренко», как-то сказал про него Юра. Возможно, ему передали. Он начал свою речь, не дойдя до кафедры, — так торопился.

— Га! — крикнул он. — Это не называется критика. Это не называется самокритика. Мы должны прямо, по-большевистски, заклеить эту продажную сволочь. Низкопоклонник Нестеров... «С прохладцем выступал», — говорит Алексеев. Тут, товарищи, не прохладец. Тут попытка ревизовать Маркса! Забыли? Уравненьица? Штучки-мучки! Условные рефлексy! Тут не рефлексами пахнет! А почему он так хорошо знает английский? Это не случайно, товарищи! А Левин? Засоренец, сын врага народа, безродный космополит,

который не постеснялся замарать священное для нас имя толстовского героя...

В зале зашумели. Кто-то крикнул: «Долой суку!» Председатель постучал по графину.

— Я думаю, не стоит сейчас говорить об именах. Ближе к делу, товарищ Нечипоренко.

— Я кончил, — надувшись, сказал Нечипоренко и сошел в зал.

Следующим вышел Васильев. Сидящие оживились: Васильев всегда скажет что-нибудь такое...

— Как пес в церкви, помнишь, в «Томе Сойере»? — шепнул Юра. Васильев долго влезал на кафедру, приготавливался, надел очки...

— Товарищи! Вопрос с низкопоклонством волнует нас уже давно. Меня он тоже волнует.

В рядах охотно засмеялись.

— Я много думал и пришел к выводу. Петр Великий — то есть, конечно, не великий, это только так говорится «Великий» — был родоначальником нашего объективизма...

В зале захохотали.

— Как известно, он интенсивно преклонялся перед иностранщиной. Но заслуженно ли он перед ней преклонялся? Это еще большой вопрос!.. Серьезно, товарищи. У нас часто неправильно понимают слово «культура». Под культурой разумеют автострады, ванны, холодильники, автоматические уборные...

Зал помирал со смеху. Васильев спокойно ждал.

— Культура не в этом! — крикнул он и удалился.

(Божественный смех! Как становятся людьми те, кто смеется, даже в самой глубине человеческого падения!)

Вышла Анна Игнатьевна. Зал как-то обрадовался. Ее любили.

— Знаете что? По-моему, все это довольно глупо. Ну, поговорили, указали мальчикам на ошибки, на неправильные формулировки. С кем не бывает; ошибешься, не то скажешь. А тут выдумали: «антипартийный» да «антинародный»... Скучно даже слушать. Ничего в них антинародного нет. Хорошие мальчики, работающие.

Ей похлопали.

Тут слова попросил Николай Прокофьевич. Вышел он не на кафедру, а к черной доске. Пошарил по желобку — мела не оказалось.

— Мелу, — сказал он в пространство.

Кто-то принес кусок мела.

— Благодарствую, — сказал Николай Прокофьевич и прочистил горло.

— Итак, товарищи, я хочу с вами говорить. Должен вам сказать, что я сидел тут и мне было стыдно! Да, стыдно! Стыдно потому, что мы как-никак научно-исследовательский институт, обсуждается научный вопрос, а о науке-то ни слова сказано не было.

Так вот, я предлагаю вам вспомнить, что вы — научные работники, а не скопище попугаев, и прослушать мое научное сообщение...

Шум...

— Я полностью в курсе работ Левина и Нестерова и даже нахожу их довольно интересными. Это не значит, что их не надо критиковать. Критиковать их можно и нужно. Размаха им не хватает, вот что! Они ограничились моделированием самых элементарных функций живого организма. Подумаешь, реакция на свет, на звук! Детски элементарно, ниже уровня даже наших ограниченных возможностей. Я тогда же посоветовал им пойти дальше, выработать реакцию на слово. Заставить машину выполнять словесные приказы. Есть к этому возможность? Есть! Не вняли, пропустили мимо ушей. Что ж? Пришлось мне самому заняться, хотя я стар и иной раз недееспособен...

Идея, в сущности, очень проста. Благоволите выслушать меня внимательно.

Возьмем какой-нибудь звук речи — для простоты главный звук «а». Чем он отличается от других? Спектральным составом. Можно проанализировать спектр? Можно. Можно сделать это автоматически и достаточно быстро? При современных технических средствах — трудно. При технических средствах завтрашнего дня — можно. Но сегодня есть сегодня — приходится выкручиваться.

Теперь я предлагаю вашему вниманию схему прибора, который преобразовывает этот спектр в последовательность импульсов...

Николай Прокофьевич застучал по доске. Брызгая мелом, подскакивая, издавая петушьи междометия, он пояснял схему преобразователя. Зал слушал, как за гипнотизированный. Как умеет слушать толпа, когда ей интересно. Впрочем, когда ей интересно, она уже и не совсем толпа...

— Вот таким манером. Последовательность импульсов — сиречь слово — передается на исполнительное устройство, и машина выполняет словесное приказание...

— Здорово! — ахнул кто-то.

— Мерси, — поклонился Николай Прокофьевич. — Между прочим, в моей лаборатории уже сделан работающий макет прибора. Реагирует на звуки «а» и «у». Небогато, но ведь это только начало.

Зал густо зашумел. Председатель снова призвал к порядку.

— Сведения, сообщенные вами, Николай Прокофьевич, очень интересны, но не имеют прямого отношения к теме собрания. Мы обсуждаем политический вопрос...

— Вот тебе и на! А это разве не политика? Самая политика и есть! А если вы думаете, что все, что здесь сегодня говорилось, — политика, то пребываете в заблуждении. Это не политика, а коровья жвачка. Срыгнул, пожевал, опять срыгнул...

— Регламент, Николай Прокофьевич.

— Я не кончил. Есть еще политический вопрос. Вы знаете, что в боксе удар ниже пояса запрещен. Сегодня мы видели несколько таких ударов. Позорно! Теперь все.

По залу перекинулись недружные хлопки. Николай Прокофьевич шел на место гоголем.

Заговорил председатель:

— Мы обменялись мнениями... Желательно было бы выслушать самих товарищей Левина и Нестерова. Несомненно, ими были допущены некоторые ошибки, возможно, внешние...

— Не некоторые и не внешние, а составляющие самое содержание деятельности, — жестко поправил Харитонов.

Юра поднял руку: «Прошу слова». Он взошел на кафедру, бледный, как зола.

— Критику, высказанную в мой адрес и в адрес Левина, признаю правильной. Заверяю собрание, что постараюсь в моей дальнейшей деятельности... если она окажется возможной... исправить эти ошибки.

Костя обмер. Он закусил губу и кричал глазами: Юра! Ты меня не предашь!

Мысли кружились. Один раз так уже было! Юра начал с того, что меня ударил, а потом — подал руку, вытянул. Вот и сейчас будет так же. Говори же! Юра!

Поздно. Юра уже сходил с кафедры. Все.

У Кости что-то поползло по шее, как муха. Он потрогал: мокро. Пот. Юра сел где-то в другом конце зала... Проклятый! Не смеет сесть рядом!

— Кто еще желает выступить?

Костя поднял руку. Усилием воли он собрал себя и вышел к кафедре. Мокрый воротничок мешал ему, он поправил его пальцем и успокоился. Он заговорил — негромко, но отчетливо, прямо глядя залу в глаза.

— Направление моей работы, основные принципы которой изложены в опубликованной статье, считаю в общих чертах правильным. Критику профессора Поспелова принимаю с благодарностью и признаю справедливой.

В газетной статье, критикующей мою работу, допущена фактическая неточность. Приведенная у меня цитата, названная в статье идеалистической, буквально взята из «Философских тетрадей» Ленина. Признаю свою вину в том, что, цитируя, я не указал точно источник и номер страницы. Для научного работника такая небрежность непростительна.

Кроме того, я думал и продолжаю думать, что истинная борьба за приоритет советской науки состоит не в том, чтобы спорить об открытиях, уже совершенных, а в том, чтобы по мере своих сил открывать новые факты.

Ответственность за статью в журнале «Вопросы автоматизации», со всеми ее недостатками, готов нести единолично, не разделяя ее с Нестеровым. Пользуюсь случаем заявить, что основные научные идеи, легшие в основу статьи, и принципиальная схема моделирующего устройства принадлежат мне. Нестеров был только техническим исполнителем.

В полной тишине он прошел на свое место. Больше он уже ничего не слушал. Он думал: «После собрания он подойдет ко мне. Что сказать ему, чтобы он понял, что произошло? Что все между нами кончено? Нет у меня таких слов».

Он перебирал в воображении все слова, которые знал: грубые, презрительные, грязные, матерные, даже церковнославянские. Нет, не было таких слов.

Когда собрание кончилось, подошел Нестеров:

— Костя, послушай...

— Уйди, — сказал ему Костя. — Тебя нет.

Надя кормила ребенка. Кости не было дома. Его вызвали в партбюро.

Тикали часы. Юрка заснул у груди, но некрепко. Как только она пыталась отнять сосок, он сердился, хмурил лысые места для бровей и начинал посасывать. Маленькая рука с растопыренными пальцами лежала у нее на груди, сжимаясь и разжимаясь.

«Доит, — подумала она, — сердится, что мало...»

Тревога внутри была, как мешок со льдом, положенный прямо на сердце. Костя! Как там у него?

Мальчик заснул спокойнее и отпустил грудь. Она осторожно положила его в кровать. Одеяльце с зайчиками... Красная погрешка у изголовья. Любит красное...

Звонок в дверь. Кто бы это? Пошла, открыла. Юра.

Сперва ей показалось, что он смеется. Нет, это он так оскалил зубы — криво, нехорошо.

— Кости нет дома.

— Я знаю. Я к вам.

— Заходите.

Вошли. Юра остановился у кровати и довольно долго смотрел на спящего мальчика.

— Здоров?

— Беспокоится.

Мальчик сосал во сне и морщился, кривя губы. Юра усмехнулся:

— Понимает, что не все ладно.

— Он все понимает. Садитесь, Юра.

Сели.

— Надя, вы, наверно, уже знаете...

— Я все знаю.

— Я пришел к вам, чтобы... чтобы понять, насколько это окончательно. Он не хочет меня выслушать. Может быть, если бы выслушал... А?

— Не знаю... Я пробовала говорить с ним — не вышло. Он не желает о вас слышать. Пожалуй, еще рано... Может быть, потом...

— «Потом» может быть поздно.

— Юра, что вы хотите сказать?

- То, что сказал.
- Объясните мне так, чтобы я поняла.
- Не могу. Не хочу на вас переваливать свои беды.
- А беды есть?
- Есть.

Юра взял книгу и полистал ее, нахмутив брови. Отбросил.

— Скажите, как он? Очень ему тяжело? Конечно, вопрос глупый.

— Очень. Сегодня его вызвали в партбюро, но, думаю, не в этом дело. Он попросту сбит с ног.

— Да, из-за меня. Надя, вы очень на меня сердитесь?

— Сержусь — не то слово. Не понимаю.

— Поглядите на меня, Надюша, и поверьте мне, не спрашивая. Может быть, я поступил глупо, но не подло. Я не подлец. Верите?

— Верю.

— Я знал, что вы поверите. За этим и пришел. Но он, он...

— Он такой. Его все очень сильно затрагивает. Больше, чем других.

— Как вы думаете, отчего он такой?

— Я думаю... только, может быть, это глупое соображение...

— Ну, скажите.

— Мне кажется, у него было слишком хорошее детство. Он вышел оттуда... незакаленный.

— Это не глупо, даже очень умно. Вполне возможно!.. Вот у меня не было хорошего детства.

— Расскажите про себя, если вам хочется.

— Что тут рассказывать? Подлое было детство. Отец с матерью не ладили. Я мать любил ужасно. Потом он бросил ее, ушел... Она стала странная, меня почти не замечала. Я бы погиб, если б не няня. Няня была великой души человек. Я стал бы поганцем, если б не она. Когда она умерла, я чуть с ума не сошел. Еле выкарабкался...

— А потом?

— Потом был Костя.

Помолчали.

— Вы понимаете, чем он для меня был... и есть.

— Понимаю.

Юра резко встал:

— Пора идти.

— Юра, дайте я вас поцелую.

Она поцеловала его. Он ушел.

Секретарь партбюро, не старый, массивный человек, с бровями, как две толстые пиявки, пристально разглядывал Костю.

— Товарищ Левин, Константин Исаакович. Ну, садитесь, товарищ Левин.

Костя сел.

— Начудил ты, брат.

Костя молчал.

— Я тебя нарочно вызвал, чтобы поговорить один на один. Как человек с человеком.

«Всегда так начинают», — думал Костя.

— Какое у тебя семейное положение?

— Женат. Есть ребенок.

— Мальчик? А как зовут?

— Юра.

— Вот и у меня внучок — тоже Юра. Отличный пацан! Два года. Глазенки шустрые, так и бегают: зырк, зырк! Давеча говорит: «Деда, купи шоколадку!» Купил и думаю: мы-то без шоколадок росли...

Костя молчал.

Секретарь наклонил голову, как бы прислушиваясь.

— Да, без шоколадок... У меня с брательником одна пара сапог на двоих была. Мы с ним другой раз по одному сапогу наденем — и во двор. Прыгаем там на одной ножке... Ничего, выросли.

— Я тоже без шоколадок рос, — резко сказал Костя.

— Ты с какого года?

— Семнадцатого.

— Октябрю, выходит, ровесник. А я этот самый Октябрь своими руками делал. Брат мой — тот еще в Февральскую погиб. Лежит там, в братской могиле, на Марсовом поле...

Серые камни Марсова поля... Давно он туда не ходил.

Костя поднял голову и посмотрел на секретаря. Глаза под толстыми черными бровями глядели добро, понимающе... Кто его знает, может, и не сволочь? Костя его мало знал, сначала по бровям подумал: сволочь. Не суди по бровям...

— Закурим, — сказал секретарь.

Закурили.

— Что у вас там с человеком-то? Неужто и правда уравнениями описать его можно? Мудрено.

— Мудрено, но в принципе возможно.

— Сомневаюсь я что-то. Неужто всего человека? Со всеми потрохами? С ненавистью, к примеру? С той самой, с которой на Зимний ходили?

— До этого еще далеко. Мы ведь за такую задачу и не беремся. Наша — гораздо проще. Представьте себе систему управления с обратной связью, одним из элементов которой является человек... Можно я бумагу возьму?

Костя взял лист бумаги и вынул ручку.

— Ну уж ты мне уравнений-то не пиши. Не в коня корм. Скажу тебе по секрету: я эти самые дифференциалы и интегралы и раньше-то не больно шибко знал, а теперь и вовсе забыл. Работа не та.

— Илья Устинович, вы же кандидат?

— Хреновый я кандидат. Жинка пристала: защищай да защищай, да и сверху нажали... Защитил. Работенка была — дрянь. Оппоненты-то больше на мою автобиографию нажимали. Мол, из

самой гуши народной произошел, в шестнадцать лет только читать-писать научился. А как я мог раньше научиться, коли сапог не было? Ваш-то профессор, Пospelов, так и сказал про меня: «Защитил автобиографию на степень кандидата технических наук». Острый старик, дай бог ему здоровья. Язык — шило. Я на него не обижался и теперь не обижен. Хорошо ли это — в шестнадцать лет в первый раз книжку взять? Нехорошо. До сих пор это чувствую. Скажу тебе как на духу: не мое это дело! Читаю, а сам губами так и шевелю. Ты, между прочим, заметь: если кто про себя читает да при этом губами шевелит — верный знак, что не его это дело.

Костя слушал, помимо воли заинтересованный.

— Тебе этого не понять, ты еще во каком, на горшке сидя, книжку листал. Вот Юрка, мой внучок, таким же будет. Два года мальцу, а он уже буквы знает: «а», «о»... Шустер! Отец-то твой из каких был?

— Из революционеров. Тоже Октябрь своими руками делал, — криво усмехнулся Костя.

— Ну, ну, ты это зря с подковыркой. В каком его посадили?

— В тридцать седьмом.

— Счастье твое, что ты с ним не жил. Зря не посадят. Ты эти усмешечки брось.

Костя молчал.

— Умер отец-то?

— Умер. В тюрьме.

— Жалко людей, — неожиданно вздохнул Илья Устинович. — Ну, да что поделаешь. Нечисти этой тоже немало было. Мы с тобой давай теперь по делу поговорим. Придется тебе, товарищ Левин, признать свои ошибки.

Это прозвучало как-то внезапно. Костя опешил и ответил не сразу:

— Не могу.

— Те-те-те, ты не торопись, а меня послушай. Ты меня учнее, а я тебя умнее. Видел больше. Ох и много же я видел на своем веку, не дай бог...

Слушай меня, товарищ Левин. Ты тогда на собрании речу сказал и думаешь: «я герой». А никакой ты не герой, просто глупый человек. До седых волос дожил, а разума нет.

— Я выступал не по разуму, а по совести.

— Пышно говоришь, как по книжке. А на деле-то прав я, а не ты. Ну, какое ты дело сделал, что выступил? Кому помог? Себе? Себе хуже сделал. Делу своему, если уж так в него веришь? Тоже хуже. Товарищам? Им-то совсем плохо сделал. Не дай бог, за тобой потянутся, наговорят пустяков, шеи себе ломают... На такую удочку легко люди попадаются. Вот и выходит, что всем ты навредил.

— Я говорил, что думал.

— Не всегда это нужно, брат. Сейчас всего важнее людей беречь. Время-то какое, видишь? Против рожна не попрешь...

— Сами же вы, Илья Устинович, в семнадцатом году против рожна перли. И ведь сломали его, рожон-то!

— И, батенька, это ты и сравнивать не думай. Тогда было ясно, против кого переть. А теперь? Против своих переть? Против него ты, что ли, переть задумал?

Илья Устинович подбородком показал на портрет Сталина.

— Нет, — сказал Костя. — Против него не пойду.

— То-то и есть. Никто против него не пойдет. Он всю страну в один кулак собрал. А теперь самое главное — единство. Не так думаешь — держи про себя свои думы. Твой-то дружок, Нестеров, умней тебя оказался.

Костя встал.

— О Нестерове я говорить отказываюсь. И вообще, вы меня не убедите. Отпустите меня, Илья Устинович.

— Жаль-жаль, — сказал секретарь, тоже вставая. — Сломаешь себе голову ни за грош. А нам такие, лобастые, нужны...

Он повертел в руках карандаш.

— Придется нам, товарищ Левин, ставить вопрос о твоём пребывании в партии.

— Ставьте...

Он пришел домой зеленый, еле держась на ногах.

— Костя, ну как?

— Бюро не было. Говорил со мной один секретарь. Уговаривал.

— Ну и...

— Не уговорил.

— Костя, родной, я тебе налью чаю.

— Не хочу ничего.

— Пожалуйста, выпей. Для меня. Очень прошу.

— Ну, давай, смешная.

И правда, крепкий чай, горячий, помогает...

За чаем Надюша сказала:

— Заходил Юра.

— Это зачем еще?

— Костя, может быть, он не так виноват...

Костя стукнул кулаком, стакан подскочил, опрокинулся.

— Надя, я тебе говорил русским языком, чтобы я никогда не слышал об этом... об этом...

Он вскочил со стола и стал ходить взад и вперед. Надя убрала на столе, налила новый стакан чаю:

— Садись, милый, пей.

— Надюша, прости меня.

— Боже мой, за что? Ведь это я виновата.

Перед ним сидел майор — нет, теперь уже не майор, а подполковник Авдеенко. Две звезды блистали на новеньких погонах. И весь он был какой-то новый, очень умытый, и смотрел холодно, обоими глазами.

— Мы недовольны вами, Нестеров. На партсобрании девятнадцатого числа вы выступили неудачно. Кто вас просил каяться, признавать свои ошибки? Только оттолкнули от себя людей. Вам дали ясную инструкцию: говорите как можно свободнее, провоцируя также свободные высказывания. Не бойтесь. Свою работу вы сохраните при любых условиях — мы это гарантируем.

— Авдеенко, — сказал Юра, — я пришел сюда, чтобы заявить, что я не работал с вами и работать не буду. Что я пришел сюда в последний раз. Не вызывайте меня больше — я не приду.

Авдеенко встал.

— Трудный вы человек, — сказал он очень просто.

— К сожалению, я потерял слишком много времени, прежде чем вы это поняли.

— Трудный человек, — повторил Авдеенко, глядя вниз и, видимо, размышляя. Поднял голову и прикрыл один глаз.

— Ваш приятель Левин оказался не таким трудным.

И тут Юра ударил его кулаком в лицо. Он успел увидеть, как исказилось страхом это ненавистное, благообразное лицо. Он ударил прямо в страх и больше уже ничего не видел. Словно шторка задернулась.

В Ленинграде поздней осенью по утрам почти совсем темно. Костя ушел на работу, Надя, проводив его, села за шитье. Утренняя темнота тяжела, как ртуть.

Зазвонил телефон.

— Надя? Это Лиля говорит. Да Лиля же. Вы можете разговаривать?

— Могу. Что случилось?

— Юру, по-видимому, арестовали.

Надя ахнула:

— Почему вы так думаете?

— Вчера вечером он ушел и не вернулся. А ночью был обыск.

— Я сейчас приду к вам.

— Приходите, — сказал бодрый голос.

«Боже мой, боже мой», — приговаривала Надя, собирая свое рукоделье. Иголка впилась в палец и повисла. Она выдернула острие и стала высасывать кровь.

...Пойду. Юрку с собой? Не стоит. Попрошу Ольгу Федоровну.

У Судаковых еще спали. Надя постучала. Ольга Федоровна, в халате и шлепанцах, открыла дверь.

— Ольга Федоровна, милая, послушайте Юрку. Я скоро приду.

— Что с вами, Надежда Алексеевна? На вас лица нет.

- Вы только никому не говорите. Юрия Борисовича арестовали.
 - Боже, какое несчастье! Вы туда?
 - Туда.
 - Я бы вам не советовала. Как искренний друг. У Ивана Филимоновича дядю арестовали, он и то не пошел. Собой рисковать — это еще туда-сюда, но ради детей мы не имеем права...
 - Ольга Федоровна, я все равно пойду.
 - Ну, идите. Ах, какое горе! Я всегда говорила: он слишком неосторожен. Я даже как-то сказала Ивану Филимоновичу: «Ваня, мне кажется, этого человека арестуют». Я чувствовала... У него всегда было такое самостоятельное лицо...
- Надя уже бежала по лестнице.

Говорят, после обыска всегда беспорядок: раскиданные вещи, кучи бумаг. Ничего этого не было. Лиля, видно, все убрала. Нарядно одетая, с широко раскрытыми светлыми глазами, она была красива и совершенно спокойна.

На кровати у окна лежала Наташа, лицо у нее было закрыто платком. Надя схватила Лилию за руку:

- Наташа?
- Нет, с ней ничего, — шепотом ответила Лиля. — Когда обыск делали, она попросила закрыть ей лицо, чтобы не видеть. Так и заснула.

Разговор продолжался шепотом.

- Что же вы думаете делать?
- Сегодня наводить справки нет смысла. Слишком рано. Завтра-послезавтра пойду узнавать.
- Они ничего не сказали?
- Разве они говорят?
- Нашли что-нибудь?
- Чертежи какие-то взяли.
- Может быть, выяснится, что это недоразумение.
- Маловероятно. Я готова к худшему.
- Лиля, может быть, вам что-нибудь нужно? Могу я чем-нибудь вам помочь?
- Надя, мне хотелось бы говорить вам «ты».
- Пожалуйста, Лиля, милая!
- Говори мне тоже «ты».
- Постараюсь.
- Ну, скажи один раз.
- Я люблю тебя, Лиля. Я очень тебя люблю.

Поздней ночью того же дня была ужасная непогода: ветер просто сходил с ума. Он бросался на окна, сотрясая рамы, громыхал на крыше оторванным листом железа, вообще черт знает что вытворял. Вся эта свистопляска особенно слышна была здесь, на

шестом этаже, под самой крышей, которую когда-то пробило бомбой. Казалось, на чердаке искалеченные перекрытия скрежещут, грозя обрушиться.

Боже, какой ветер, какая ночь!

Надя не спала, а Костя спал. Счастье, что он наконец заснул. Страшно припомнить, что с ним было, когда он узнал про Юру. Он не мог ни усидеть, ни устоять, метался, хватал себя за голову, рычал...

— Костя, не казни себя так, ты же не виноват.

— Виноват, во всем виноват. Я убийца.

— В чем же ты виноват?

— Вовлек его в эту рабту. Он же хотел бросить... Он чувствовал... Я его уговорил продолжать...

— Может быть, это связано не с работой...

— А зачем они чертежи взяли?

И снова Костя бросался и стонал:

— Он ко мне подошел... Я его оттолкнул. Будь я проклят!

Поздно ночью Костя заснул и теперь спал, мучительно втягивая воздух и выдыхая его, а она лежала рядом и не могла спать. Что делать, как спасти его? Она ощущала себя слабой и маленькой, такой маленькой под темным потолком, по которому дрожа бегали пятна света...

Костя пошевелился, повернулся и во сне сказал: Рора...

Надя окаменела под одеялом. Значит, в горе ему нужна Рора. Так оно и есть. Я это знала. Я всегда знала, что он любил ее больше.

Она лежала на спине и плакала беззвучно, не шевелясь. Прохладные слезы скатывались по щекам и стекали в уши. Она лежала, с ушами, полными слез, и представляла себе Рору — сильную, веселую, легкую, которой уже нет.

Юрка захныкал у себя в кровати. Надя встала и подошла. Нет, затих. Она постояла, держа руку над маленьким спящим лицом. Теплое дыхание чуть-чуть оведало руку. Кругом гремело, стучало, грозило, а Юрка дышал.

Внезапно Костя подскочил и сел.

— Костя, что ты?

Он схватил одежду и стал одеваться.

— Костя, куда ты?

Он молчал. Надя зажгла свет. Он глядел на нее безумными, расширенными глазами. В руке — носок.

— Что с тобой? Куда ты собрался?

— Надо идти.

— Куда идти? Ночь.

— К нему. Туда.

Он дрожал всем телом и тонко, отчетливо стучал зубами. Она налила воды. Он глотнул, залил простыню и огляделся, приходя в себя постепенно.

— Надюша, что это было? Я испугался.

— Успокойся, милый, ничего нет. Это ветер.

Он прижал голову к ее плечу.

— Я испугался.

— Ложись, дорогой, спи.

Они легли. Костя постепенно затихал в ее руках. Она держала его осторожно, как Юрку.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Сколько уже раз Константин Левин выходил из дому в поисках работы и сколько раз возвращался ни с чем? Трудно сосчитать. Ему теперь казалось, что он всегда только это и делал. Вот и сегодня он собрался идти еще раз, еще по одному адресу.

Маленький Юрка — по кличке «полтора петуха» — возился на ковре с кубиками. Увидев, что отец переодевается, он подошел и поднял серьезные серые глаза.

— Папа, у тебя штаны сухие?

Левин еле усмехнулся.

— Сухие.

«Зачем же тогда переодеваться?» — недоумевали серые глаза. Это было сложновато сказать.

Левин задал контрольный вопрос:

— Сколько в тебе петухов?

— Полтола.

С какой трогательной честностью малыш ставил «л» вместо «р». Без ужимок, без попытки фальсифицировать трудное рокотание. Не могу — и все. Мальчик был тоненький, прямоногий, очень кудрявый, с умным и грустным лицом.

Прозвище «полтора петуха» Юрка получил на даче. Он кормил петуха, своего любимца, и светлые кудряшки, насквозь пронизанные солнцем, были на ладонь только выше яркого петушиного гребня. А петух был крупный, белый, важный, большой ругатель... Страшно, наверно, стоять рядом с таким зверем... Дачу сняли на дедушкины деньги.

— Ты на лаботу? — спросил Юрка.

— На лаботу.

«Полтора петуха» поглядел укоризненно. Большой, а зачем кривляешься?

— Надо говорить «на лаботу», — строго поправил он.

— На работу, — устыдившись, сказал Левин, а сам подумал: «Если бы так!»

— А почему петух на задних ногах ходит? — спросил Юрка.

— Не знаю, милый.

— Уже уходишь?

— Да. Прощай, полторашка. — Он поцеловал теплую макушку с крутыми кудрями. Чем только, невообразимо трогательным, пахнет вот такая ребячья голова? Сенном? Курицей?

— Будь умный, не шали. Тетя Оля за тобой присмотрит.

Юрка выскочил в коридор и закричал:

— Тетя Оля! А, тетя Оля! Почему ты за мной не смотлишь?

— Милый мой, сокровище мое! — сказала Ольга Федоровна, открывая дверь.

Левин вышел, еще раз перечел адрес. Где-то у черта на куличках. На этот раз — школа.

«Я могу преподавать математику, физику, химию, — мысленно репетировал он свою речь. — Я всегда стремился к педагогической работе»... нет, почему «стремился»? Скажу: «Я всегда любил преподавать»... Плохо. Сразу будет видно, что ничего не любил и ни к чему не стремился, а просто рвется к работе, теперь уже к любой... Пошел бы грузчиком, чернорабочим — если б не рука...

Почти два года — без работы. С тех самых пор, когда пришлось уйти из института. «Уволен по собственному желанию», — стояло в трудовой книжке. И из партии не исключили: Илья Устинович «свел на строгача». Что и говорить — легко отделался. А вот работы найти не мог.

...Неужели только два года? А кажется, гораздо больше прошло с тех пор, как последний раз был в институте. Ходил по отделам с «бегунком» — библиотека, мастерская, спортзал, касса взаимопомощи... Труднее всего было зайти в свою, бывшую свою, лабораторию.

Заведующий пожал ему руку и пожелал удачи. «Жаль, что вы нас покидаете». Врал. Ничего ему не было жаль. Рад небось был до смерти, что уходит возможный источник осложнений. Кто его осудит? У каждого свои заботы, семья. Никто не хочет стать под удар. Вот кто правда горевал, так это Володя. Он все повторял: «Константин Исаакович! Возьмите меня к себе, где будете работать! Возьмете? Только не забудьте, Константин Исаакович!» Он и не забыл.

Каким это казалось тогда простым — найти работу!

На шкафу, на самом верху, лежала Пантелеевна — забытая, в пыли, и цветные проводочки вывалились наружу, как внутренности убитого животного...

— Вы ее возьмете? — спросил Володя.

— Нет, Володя, не возьму. Бери себе, разберешь на детали.

Последнее, на что он обратил внимание, — два кружка на зеленой бумаге стола. Еще и бумагу сменить не успели. Два кругозора — побольше и поменьше. Он взял резинку и стер оба кружка.

А дальше — поиски работы. Сначала он думал, что найдет ее легко, что будет из чего выбирать. Ученая степень, стаж... Болван несчастный! Найти работу! Это было как игра в кошки-мышки. Невидимые руки мгновенно опускались, наглухо запирали вход.

А главное, все как по ритуалу, всегда одинаково. Сначала его принимали с распростертыми объятиями:

— Конечно! Нам такие люди очень нужны! Должность старшего научного вас устроит? Или вы хотите взять отдел?

Ему вручали анкету. Он ее заполнял, а когда приходил оформляться — разговор уже был другой.

— Видите ли, сейчас у нас нет свободных должностей для сотрудников вашей квалификации.

— Я согласен на низшую.

— Ну, что вы (смех). Зачем вам идти на низшую должность? В любом институте вас охотно возьмут на соответствующее место. Подождите, может быть, у нас откроется вакансия. Звоните.

Он звонил. Ему, уже менее церемонно, отвечали:

— Ничего нет.

И так — каждый раз. Менялись только оттенки. Иногда и до анкеты не доходило. Предусмотрительный работодатель сразу брал быка за рога:

— Товарищ Левин? Очень приятно. Ваше имя-отчество?

И на этом все кончалось.

Иной раз Костя отвечал с поганым смешком, за который сам себя ненавидел:

— Константин Левин. Знаете, как у Толстого.

— Хи-хи-хи, — хихикал работодатель. — А как по бабушке?

Тут уже некуда было податься.

— Исаакович.

Лицо становилось грустным:

— Да, товарищ Левин... Константин Исаакович... Понаведайтесь на днях. Твердо обещать вам ничего не могу, но, может быть...

Левин уже перестал «наведываться». После разговора об отчестве ему обычно даже на звонки не отвечали, вешали трубку.

И так — почти два года...

Нет, они не бедствовали. Надя работала, правда, не на постоянном месте, но кое-что зарабатывала. Время от времени помогал дедушка. Другие тоже предлагали денег, но он у них не брал.

Однажды, когда было совсем туго, продали скрипку Генриха Федоровича. Жили на эти деньги месяцев шесть. Скрипка оказалась старинная: Амати. А вдруг Генрих Федорович вернется и потребует скрипку? Левин иногда видел это во сне и просыпался в холодном поту.

Он и сам иногда подрабатывал: помогал фотографу-частнику печатать снимки каких-то девиц на пляже. Раза два достал переводы с немецкого. Нет, грех сказать, они не голодали. Чувство, которое его грызло, было хуже голода, чувство выкинутости. Не нужен.

Все чаще ему становилось страшно. Он и сам бы не мог сказать, чего боялся. Всего. Какое-то равновесие нарушилось между ним и жизнью. Зимой он боялся мороза: а вдруг нечем будет топить? Отказывался есть: а вдруг на завтра не хватит? Потом это проходило, и он ел.

— Уедем отсюда, — иногда говорила Надя.

— Нет. Здесь я родился, здесь работал, здесь и найду работу, а если нет, то умру. Не все могут жить милостыней, как ты. Не беспокойся, я долго не буду у тебя на шее.

Надя бледнела, а он сам пугался:

— Милая, прости меня, я сам не знаю, что говорю.

Надя всегда прощала. Он сам не мог себя простить.

Нет, лишь бы найти работу, какую угодно! Только сейчас он понял, что нужней всего человеку работать. Нужней, чем любить.

Надя пришла домой. Юрка бросился ей навстречу и самозабвенно повис на ней, даже дышать перестал от восторга.

Вышла Ольга Федоровна:

— Юринька, куда ты?

— Уйди, Оля! — строго сказал Юрка.

— Вот всегда так! Без вас: «Оля, Оля», целует, обнимает. А стоит вам прийти: «уйди, Оля». Ах, дети такие неблагодарные! Я на него молжусь, как на Иисуса Христа, а он...

— Не обижайтесь на него, Ольга Федоровна, он вас любит.

— Нет, уж я такая несчастная... Всегда без взаимности...

Ушла.

Надя посадила Юрку к себе на колени.

— Ты что же тетю Олю обижаешь?

— Я ее не обижаю. Сказку!

Надя начала рассказывать сказку:

— Жила-была девочка Золушка. У нее не было мамы, был только один папа...

— Спала мама?

— Нет, не спала.

— На лаботе была, — сообразил Юрка.

— Так вот, у этой девочки...

Раздался звонок.

— Лионовна! — закричал Юрка. Так он называл Леонииллу Илларионовну. Он всегда по звонку узнавал, кто пришел. И точно, это была Лиля.

«Полтора петуха» подошел к ней и поцеловал в ногу.

— Ужасное воспитание, — сказала Лиля. — Зачем вы его этому учите?

— Никто не учит. Он сам.

— Что за манера — целовать нестерильные предметы? Я — с улицы, вся в пыли... Вообще, с поцелуями надо бороться. Одно время было такое течение, по-моему, правильное.

Юрка влез к ней на колени, прижался и сказал:

— Всё к тебе.

— Ах, милый! Ну, как тебя не поцеловать? А где Костя?

— Опять насчет работы пошел. В какую-то школу. А у тебя?

— Ничего нового. Ответ один: не числится. В пятницу уезжаю.

— Так скоро? О, господи...

— Да. Билет уже взяла.

— Как же я без тебя, Лиля?

Лиля не отвечала. Юрка сидел тихо, словно понимал.

Лиля уезжала в Евпаторию. Наташа уже была там: ее удалось устроить в костно-туберкулезный санаторий. А теперь и Лиля получила место в том же санатории и вот-вот должна была уехать. Надя давно это знала, но когда Лиля сказала «в пятницу», ей стало страшно.

— Как же я без тебя?

— Пиши. И я буду писать.

— Я не умею писать письма.

— Сумеешь. Только не стесняйся. Пиши все.

— Попробую.

Они помолчали, раздумывая каждая о своем, и все-таки об одном и том же. Лиля закурила.

— Надя, пока я еще здесь, я должна тебе сказать одну вещь. Костино состояние...

— Да, я знаю. У него нервы не в порядке. Почти не спит. С тех самых пор, когда Юру взяли. Ты же знаешь, что с ним тогда было... И теперь, без работы...

— Надя, ему нужно лечиться.

— Да, он уже лечится. Ходил к невропатологу. Ему прописали бром с валерианой...

— Надя, скоро меня уже здесь не будет, и я должна тебе сказать. Его нужно свести к другому врачу. К психиатру.

— Лиля!

Казалось, это крикнула не Надя, а кто-то другой. Надя не могла кричать так пронзительно. Юрка заплакал.

— Не пугай ребенка. Ну-ну, родной, маленький, не плачь. Мама пошутила. Удивительный у вас, обывателей, страх перед словами...

— Мама, ты пошутила?

— Да, маленький.

— Почему же тогда ты плачешь?

— Я не плачу.

И правда, она смотрела в окно сухими глазами.

— Надя, не надо так огорчаться. Может быть, я и ошибаюсь. Дай бог, чтобы так.

— Нет, ты не ошибаешься.

— Ты сама замечала?

— Да, замечала. Я старалась, чтобы не заметил никто другой.

А школа эта была черт знает как далеко. Автобус шел-шел... Он уже несколько раз спрашивал кондукторшу: скоро ли? Она сухо отвечала: дальше кольца не пойдет. А на передней скамье разговаривали двое, очевидно — о нем; они оборачивались и смотрели в его сторону. Он оглядывал себя и, не найдя беспорядка в одежде,

начинал тосковать. Что они в нем видят? Нужно бы подойти, спросить, но он не решился.

На конечной остановке автобус начал выплевывать из себя людей. Те двое, к счастью, ушли в другую сторону. Он шел от остановки через какие-то железнодорожные пути, в путанице железа, стропил, шпал. В сумерках строительные краны протягивали поперек пути жесткие руки, как колоссальные знаки запрета.

Он оступился, попал в яму. Известковый мусор, оползни. Холодная известка на руках... Он ненавидел, не выносил ощущения известки на руках. Прохожий показал ему школу. Было уже поздно, из четырех этажей светился только один.

В раздевалке никого не было. Странная школа — без детей, без шума. Он поднялся по лестнице. На площадке стоял золоченый Сталин, осененный бархатным знаменем.

Стенгазеты, бюллетени погоды, объявления школьных кружков... Как хорошо будет ходить сюда каждый день, учителем физики. Руководить кружком. Худые, ясноглазые мальчики будут прибегать, задавать вопросы... Он ясно увидел одного из них, с родинкой на щеке, и чуть не прослезился от нежности.

«Директор» — прочел он на двери. Надпись — золотыми, вдавленными буквами на черном. Неприятная надпись. Может, уйти?

Нет, он перемог себя, вошел. Вошел и удивился. За столом сидел Иван Поликарпович. Да, да — Иван Поликарпович, директор его собственной школы! Столько лет прошло, а узнать можно. Мало изменился, даже пожалуй, постройнел — может быть, оттого, что вместо мышины толстовки на нем теперь серый костюм...

...Тогда он казался мне старым; сколько же ему было? Сорок пять?

— Иван Поликарпович! Не узнаете?

Директор поднял глаза, взгляделся, подумал и сказал:

— Левин.

— Да, да. Левин! Значит, можно узнать?

— Узнать трудно. Но я узнал.

— А я вас сразу узнал! Честное слово, вы почти не изменились! Столько лет, а вы все такой же. И я так же побаиваюсь вас, право!

Левин был рад и говорил-говорил. Как ему повезло! Иван Поликарпович, старый директор! Он возьмет его на работу, и все будет: физический кабинет, худые, ясноглазые мальчики...

— Садись, Левин, — сказал Иван Поликарпович.

Кресло было глубокое, и снизу лицо директора показалось не таким знакомым: резкие морщины, как удары мечей, рассекли его на части. Особенно жесткой складкой отделялся от лица повисший подбородок. Глаза были Ивана Поликарповича, а подбородок — нет.

— Что скажешь, Левин?

— Иван Поликарпович, я хотел бы поступить к вам учителем физики. Я слышал, у вас есть свободное место.

— Есть. А что ты кончал?

- Политехнический.
- Инженер, стало быть. А чего ж тебя в школу понесло? Чего ты здесь не видел?
- Иван Поликарпович... Я без работы.
- Гм... И давно?
- Почти два года уже.
- Иван Поликарпович нахмурился.
- Между прочим, я кандидат, — сказал Левин.
- Это роли не играет. Если и играет, то отрицательную.
- Почему?
- Внимание привлекает. Сразу вопрос: а почему он, кандидат, в учителя пошел? Значит, дело нечисто.
- Я могу не говорить, что я кандидат.
- Не поможет. Все равно будешь ты у нас белой вороной.
- Попробуйте, возьмите меня... Не отсылайте так сразу... Я люблю ребят. Думаю, смогу преподавать...
- Вот что, Левин, — сказал Иван Поликарпович. — Тебя, кажется, Костей зовут?
- Да. Неужели вы всех своих учеников по именам помните?
- Почти всех. Дело не в этом. Вот что, Костя. Я тебя за нос водить не хочу. Прямо скажу: не могу я взять тебя в школу.
- Почему?
- А неужели тебе самому не ясно?
- Нет, мне не ясно. Нет, я этого понять не могу.
- Пора бы понять. Что ж ты, даром, что ли, два года работы ищешь? До сих пор не понял, в чем дело?
- Нет, не понял. Не может этого быть!
- Говоришь «не может этого быть», значит, понял.
- Ну, понял, а признать не могу. А вы-то сами, Иван Поликарпович, неужели можете это признать?
- Понимаешь, в некоторых вопросах приходится верить... верить государству. Не нашего это ума дело. Наверху — там люди поумней нас с тобой сидят.
- Иван Поликарпович! Вы меня много лет знаете. Посмотрите на меня: чем я отличаюсь от других? Разве я не человек?
- Ты-то человек, я против тебя лично ничего не имею и, поверь, взял бы тебя с удовольствием. Но все равно, из этого ничего не выйдет. Мне — неприятности, а тебя все равно не утвердят. Были такие случаи.
- Ладно, — сказал Левин и встал.
- Постой, выпей воды, что-то ты очень бледен.
- Ничего. Прощайте, — сказал Левин и вышел.

Он шел в крошечной тьме недостроенной окраины, под дождем, нащупывая дорогу. Дороги не было. Некуда было идти. Он шел довольно долго, потеряв направление, весь мокрый.

Он глядел себе под ноги — там было темно. Внезапно он поднял глаза и увидел прямо перед собой два молчаливо мигающих красных глаза: гас один, зажигался другой.

Невыносимый страх разрезал его пополам, и он побежал, брызгая грязью.

14 сентября 1952 г.

Дорогая, родная моя Лиля! Эти последние недели я только и думала, если бы ты была здесь!

Сегодня Костю свезли в психиатрическую.

Попытаюсь тебе рассказать все по порядку, но не знаю, смогу ли, плохо соображаю.

Начало ты уже знаешь. За последние дни положение резко ухудшилось. Двадцать первого я его возила на консультацию к ассистентке проф. Григорьева — Софье Марковне Лифшиц. Она нашла, что ему стало хуже, и отказалась от амбулаторного лечения. Долго уговаривала его лечь в больницу. Он ни за что не соглашался, клялся, что совершенно здоров. А дома с ужасом в голосе и глазах просил, чтобы я ему поверила: ему грозит страшная ответственность за недобросовестную работу. А вместе с ним должны погибнуть и мы с Юркой. Он вытащил чертежи, которые делал еще с Юрой, стал вносить в них какие-то изменения, что-то стирал, потом стал жечь эти чертежи. Очень боялся, что на пепле останутся следы. Взял свой паспорт, стал вытирать в нем слово «еврей», я не дала. Стал разыскивать Юркино свидетельство о рождении, не нашел. Испытывал он неопиcуемый ужас. Вздрагивал от каждого шороха и потом долго трясся всем телом. Часами стоял у письменного стола, заслоняя ящички. Исцарапал себе лицо, шею, руки.

Я его все время уговаривала ехать в больницу. Ни за что, это не больница, а тюрьма. За ним будто бы числятся два преступления государственной важности: недобросовестная научная работа, из-за которой пострадали невинные люди, и то, что он женился на мне, не имея на это права. Логические доводы давно перестали действовать. В последние дни помогали только резкие окрики, и я орала на него, Лиля, орала! Потом уже и это не помогало. Перестал есть и спать. Утром ненадолго уснула и, проснувшись, застала его с бритвой в руках. Я стала отнимать, он не давал. Боялась его порезать. Бросилась к телефону, стала звонить дедушке Рувиму Израилевичу, чтобы он сейчас же приехал. Сначала ничего не могла сказать, кричала только «ради бога, ради бога», он ничего не понял. Я ему толковала, а Костя все время там, с бритвой. Но когда я вернулась, он уже бросил бритву и рылся в письменном столе, так что я успела ее спрятать. Приехал дедушка, часа два мы его уговаривали ехать в больницу. Он все одно: это не боль-

нища, а тюрьма, мы больше не увидимся. Становился на колени, просил прощения за то, что причинил нам такое зло. Часам к 12 мы его все же уговорили (дедушка пригрозил, что вызовет «скорую помощь») и повезли. Кабы ты видела, как он страдал! А мы, его близкие, везли его на эту казнь.

В приемном покое сопротивлялся, кричал, что совершенно здоров, вину свою признает, просит только не трогать его близких. Диагноз предварительный — психоз в тяжелой форме. Такие выздоравливают, но это может продолжаться и месяцы, и два, и даже год.

Завтра поеду туда, Софья Марковна обещала пустить к нему, если будет возможно. Лиля, я без тебя, как без души. Ради бога, пиши мне чаще. Прикладываю его письмо, которое он написал утром, перед отъездом. Надя.

Дорогая Лиля! Я страшно виноват перед вами, так же как перед Юрой, Надей, Юркой маленьким, бабушкой и тетей Розой. Простите меня за все, что я сделал. У меня нет слов, чтобы выразить то чувство раскаяния, которое я испытываю. Простите, если можете, за все, за все.

Константин Левин.

Трамвай остановился недалеко от белой ограды с зелеными воротами.

В больничном саду размеренно падали желтые листья. Каждый из них покидал дерево и, подумав, опускался на мокрую землю. Картаво кричали какие-то птицы, вороны или грачи, — видно, ссорились.

За деревьями просвечивали разбросанные, приземистые желтые корпуса. На некоторых окнах — не на всех — чугунные решетки. «Неужели он за решеткой?» — подумала Надя. Ей было страшно. Она почти надеялась, что ее не пустят, скажут: «Приходите завтра».

У дверей корпусов — надписи на синих стеклянных досках: «Физиотерапевтическое отделение», «Рентгеновский кабинет»... Каждая из этих досок строга, холодна и, верно, покрыта изморосью, как холодным потом...

Вот и тот корпус: третий, где Костя. Надя поднялась по короткой лестнице, робко потянула белую дверь и вошла.

— Вам кого? — спросила сухая сестра с зелеными глазами (они строги потому, что им всегда мешают работать).

— Мне нужно видеть больного Левина. Софья Марковна разрешила.

— Подождите, я проверю.

Ушла. Надя ждала. Тишина стояла настороженная, плотная, и, рассекая ее на части, громко цокали маятником большие часы. Где-то вдалеке возник тонкий крик или стон. Кто-то плакал, то ли

мужским, то ли женским голосом: «Ах, оставьте меня, оставьте!» Крик затих, и еще слышнее стал маятник.

Сестра вернулась.

— Пройдите в столовую.

Столовая — довольно большая, светлая. Обеденные столы покрыты веселой клеенкой. На окнах — цветы, красные, бархатные герани, ухоженные. Вязаные кружевные занавески. Кто, интересно, их вяжет? Решеток нет. Общее впечатление — какой-то домашности. Пахло щами.

Сестра вышла и опять вошла. Неслышно, лодочкой, скользила она туда и сюда на войлочных подошвах. Выходя и входя, она каждый раз запирала дверь ключом, похожим на те, что у проводников в железнодорожных вагонах.

— Сейчас его приведут. Попробуйте уговорить его поесть.

Она поставила на стол тарелку супа и стакан молока. Без хлеба.

— Он совсем не ел? — спросила Надя.

— Совсем.

— Значит, уже три дня.

— Такие больные не едят и по неделе.

Отворилась дверь, и Надя увидела Костю. Его вела, слегка подталкивая сзади, молодая румяная санитарка. Он был в халате поверх белой, чистой пижамы; на ногах — новые спортивные туфли. Небритый, исхудал как будто еще больше.

Он кинул на Надю косой, недоверчивый, безумный взгляд и попятился.

— Идите, это же ваша жена, — сказала санитарка. — Родную жену не признал. Горе-то какое.

— Да-да, — ответила Надя.

Он подошел какими-то задержанными шагами, смотрел враждебно, испуганно.

— Костя, это же я.

— Нет, это не ты.

Видно было, как ему хочется уйти. Должно быть, чтобы не уйти, он взялся за спинку стула. Каждое слово он давил из себя, давил...

— Зачем ты... пришла... Это тюрьма... Тебя отсюда... не выпустят...

— Милый, это больница. Тебя здесь будут лечить.

— Нет. Это тюрьма... Там, в камере... — он со страхом показал на дверь, — это люди...

— Не камера, а палата. Там больные.

— Это не больные, а «они»...

Он начал дрожать.

— Костя, сядь, дорогой, сядь.

Она взяла его за руку, пытаясь усадить. Он противился.

— Сядь, пожалуйста, ну сядь, это же я.

Он сел на самый край стула и, сидя, продолжал дрожать.

— Ты должен поесть.

Она поднесла ложку супа к его губам. Он помотал головой и отодвинулся.

— Нет, нет.

У нее тоже дрожали руки, суп в ложке качался. Костя отворачивал голову. Суп, видно, уже остыл. Кусочки моркови плавали в нем, как оранжевые глаза. Надя вдруг сама испугалась этого супа.

— Ну, не надо. Ну, молока выпей. Пожалуйста! Я прошу тебя, очень прошу. Выпей, родной, любимый.

Голубоватое молоко плескалось. Костя глядел на него с ужасом, стиснув зубы. Она отгибала ему голову назад и лила молоко в рот, а оно текло мимо, а она все лила. Вдруг Костя судорожно, непроизвольно глотнул.

— Так, милый, так, глотай!

Он пил торопливо, жадно. Надя плакала.

— Пей, родной, пей.

Санитарка тоже плакала.

— Горе мне с ними, — сказала она. — Я такая невротичка, ужас. Мне с ними никак нельзя. Раньше я в детском садике работала. Как в раю.

20 сентября 52.

Лиля, родная! Косте все хуже. Езжу к нему каждый день. В первый раз мне удалось заставить его выпить молока, теперь это уже не удастся. Он совсем перестал меня признавать. На второй день после того, как выпил стакан молока, я пыталась кормить его супом, насильно. Много пролилось, но две-три ложки он, пожалуй, съел. На третий день его уже санитары волокли ко мне, и никакими силами не удалось заставить его проглотить хоть каплю. Софья Марковна говорит, что придется кормить через зонд, а это ужасное мученье.

Со мной он говорил только о своей вине. Ни за что не говорил «до свиданья», а только «прощай, прощай, мы больше не увидимся».

Сегодня я уже не поехала, чтобы не терзать его. Узнавала по телефону: плохо. Есть решительно отказывается, кормят зондом. Милая, милая, что будет?! Неужели он умрет?

Юрка здоров. Очень привык к Ольге Федоровне, почти с нею не расстаётся. Меня вчера упрекал, что плачу: «Ты, что ли, маленькая?»

Как Наташа? Хочу вам обоим счастья изо всех сил. Н.

P.S. Меня теперь не будут пускать каждый день, все равно он от меня не ест и не узнаёт меня. Будут пускать только в общие приемные дни, а это гораздо хуже.

— Надежда Алексеевна? Присядьте, милая. Да не бойтесь вы так. Настоящий кролик.

Надя села. Напротив, за письменным столом, сидела Софья Марковна — толстая, уютная, с близорукими, выпуклыми глазами. Мелкие колечки волос, черные с сединой, рассыпались по пожилой, румяной щеке. На носу — капельки пота.

— Как он? — спросила Надя.

— Пожалуй, все так же. Об улучшении пока говорить не приходится. Но и резкого ухудшения тоже нет. Бредовые идеи держатся стойко.

— Что он говорит?

— Больше о своих преступлениях. Требует к себе профессора Григорьева, чтобы тот выслушал его и передал дело прокурору. Обычная картина. Бред виновности.

— Софья Марковна, а нельзя его переубедить?

— Бесполезно. Основная причина бреда — депрессия, тоска. Логика здесь бессильна.

— А причины тоски?

— Они лежат в заболевании всего организма.

— Значит, тяжелые переживания не могут быть причиной болезни?

— Причиной — нет, толчком — да. Толчком, приводящим в действие неизвестный нам пока механизм. Тут еще много темного.

— Почему же он бредит все на одну тему?

— О, содержание бреда всегда берется из реальных жизненных фактов. Только они трансформируются, чтобы оправдать тоску, которая так велика — мы себе ее и представить не можем, — что обычными событиями необъяснима. Кстати, откуда у него идея, что он — причина гибели невинных людей?

— У него арестовали близкого друга. Они вместе работали. Костя обвинял себя в том, что вовлек его в эту работу, подвел под удар. И еще в том, что не явился туда, не взял всю вину на себя... Ну, словом, это на него страшно подействовало. Может быть, с тех пор и началась болезнь...

— Кто знает, кто знает, — сердито сказала Софья Марковна. — Мы, врачи, предпочитаем говорить об обстоятельствах жизни не как о причине, а как о толчке.

— Много было толчков.

— Знаю, милая.

— Нет, вы не все знаете.

— Расскажите. Мне все важно.

— Ну, вот. Он очень любил свою первую жену, Рору. Я думаю, он никогда не переставал ее любить. А Циля, сестра, была ему как дочка. Когда они погибли... меня с ним тогда не было, но я думаю — это был первый толчок. Самый страшный.

— Может быть.

— Скажите, Софья Марковна... Он никогда не говорит о Роре?

— Нет, никогда. Я о ней знаю только от вас.

— Он до сих пор ее любит.

— Не мучьтесь этим, деточка. Я знаю, он любит вас. Сердце человеческое широко. Можно не забывать одну и любить другую...

— Сейчас мне важно только одно... Скажите прямо: он поправится?

— Скажу совершенно честно: состояние тяжелое, но не безнадежное. Я надеюсь. Сделаем все, что возможно. Организм молодой. Я верю — он поправится. Деточка моя, вы только не плачьте. Такая хорошенькая.

— Я не плачу.

— Впрочем, на этот счет существуют две теории. Одна говорит, что вреднее плакать, а другая — что вреднее сдерживаться. Мне самой иногда кажется так, а иногда — иначе. Плачьте, пожалуй, если хочется.

Она встала, тяжело подошла к шкафу и накапала Наде валерьянки. Себе тоже. Обе выпили.

— Софья Марковна, как мне вас благодарить...

— Не благодарите. Я просто привязалась к нему. Он такой слабый и трогательный больной! Только бы удалось наладить питание...

В общий приемный день к больнице текли посетители. От самого трамвая они шли, серьезные, тихие, как пилигримы, с общим для всех выражением страха и скорби. Здесь было не так, как в других больницах: там посетители шли к своим близким, здесь — к далеким. Пакеты, кульки и сумки с продуктами выглядели как венки, которые несли, чтобы возложить на могилы.

Получив в раздевалке халат, Надя вошла в приемную. Там уже полно было больных и посетителей. Вокруг каждого больного образовался свой отдельный мирок, где шли свои беседы, свои слезы. Красивая, снежно-седая старуха стояла на коленях перед высоким, мрачным больным, вероятно сыном, умоляя узнать ее, а он отворачивался, изо всех сил крутя свое ухо. Кто-то, не то из больных, не то из посетителей, плакал навзрыд, упоенно, дав себе волю. Хорошенький старик с голубыми глазами выталкивал свою гостью — очень похожую на него кукольно-кудрявую девушку... За всем этим строго наблюдала сухая сестра с зелеными глазами, готовая в любую минуту призвать к порядку.

Вошла Люба — та самая румяная санитарка, которая тогда плакала.

— Вы погодите, он сейчас речь по радио говорит, кончит — приведу.

— Какую речь?

— Да я не поняла. Это не всамделе, а понарошку. Самый, говорит, я большой преступник. Жалко так говорит, я не слушаю. Боюсь, заплачу. С ними, психами, все здоровье потеряешь.

Надя стала совать ей в руку деньги.

— Оставьте себе, не возьму, — сказала Люба.

— Ну, пожалуйста, — Надя засовывала бумажку к ней в карман.

— Сказано, не возьму. Думаете, мы не люди? Зарплата у нас маленькая, вот вы и измываетесь. Я лучше постираю у кого, чем христарадничать.

— Простите, Люба, милая.

— Не на чем.

Ушла. Надя села в угол, как нищая. Кругом шла все та же странная жизнь. Высокий больной сидел у стола и грубо ел апельсин; седая старуха глядела на него и улыбалась, провожая глазами каждую дольку. Кудрявая девушка ушла, старика увели. Кости не было. Появилась Люба.

— Нипочем не хочет. Говорит, это не моя жена. Говорит, другую подослали, похожую, да не ту. И еще что-то говорит, не понять. Идеи.

— Ну, я пойду, — убито сказала Надя. — Спасибо вам.

— Да вы не переживайте. Хуже нет — переживать.

Дедушке Рувиму Израилевичу было уже восемьдесят два года, а это все еще был видный, высокий, статный старик с висячими, теперь уже серебряно-белыми усами. Держался прямо, руки не дрожали, только глаза потускнели немного, и вокруг темной радужки появилось перламутровое колечко. Он давно уже вышел на пенсию, но работы не прекращал: оставался консультантом при большой больнице с поликлиникой. Чтобы попасть к нему на прием, больные записывались задолго. «Профессор Левин» — это было имя, и он нес это имя с достоинством.

— Глуп бывал, а подлецом и халтурщиком — никогда, — говорил про себя дедушка.

Это был, что называется, врач-артист. Он ставил диагноз почти без анализов, без рентгена, без кардиограммы. Как он это делал? По-разному. Разные были признаки. Иногда цвет кожи, иногда выражение лица, форма ушей. А чаще всего — речь. Речь пациента — это же клад для диагноста! Он сжал против себя больного и несколько минут слушал его, не перебивая. Но слушал он не его одного. Сами по себе, без всякого усилия памяти, приходили из прошлого другие больные, со своими жалобами, тревогами, блеском глаз, садились против него, а он из них отбирал, отсылал одних, сажал рядом других, менял местами, сравнивал. Внешне он только слушал, а память автоматически концентрировала нужное, отбрасывала ненужное, и, когда больной кончал говорить, у Рувима Израилевича обычно был уже в голове готов диагноз. Но он не торопился. Он задавал еще несколько вопросов — чеканных, продуманных, — две-три минуты размышлял и назначал лечение. Больные ему верили, и многие из них выздоравливали.

Часто Рувиму Израилевичу звонили счастливые, поправившиеся пациенты, благодарили его неумеренно-пышно, он этого не любил, но всегда был рад. Иной раз даже случалось ему прослезиться («Старческая сентиментальность», — говорил он). Получал множество писем, которые он не выбрасывал, а копил, перевязывая пачками. Иногда, когда бывал болен, он, тайком от Розы, перечитывал эти письма. А больше всего он ценил — редкие, правда, — письма от родственников умерших больных, где его пытались оправдать, подбодрить, понимая, как ему трудно.

Тетя Роза тоже состарилась — она была только на десять лет моложе Рувима. По-прежнему она варила для него супы, пахнущие специями, по-прежнему ставила перед ним столовый прибор и серватую салфетку в серебряном кольце. Но по вечерам они уже не спорили, а молча читали, лежа по разные стороны шкафа. В квартире стало просторнее: многие вещи сожгли в блокаду, не они сами (они были в эвакуации), вещи сожгли те жильцы, что оставались, а потом умерли. Тетя Роза мало изменилась, только стала молчаливее, и на лице укрепилась какая-то осторожная печаль. Она не могла забыть Цилю, хотя и не говорила о ней. А когда Костя заболел, Роза перестала красить волосы, и теперь они отросли у пробора на добрый палец — снежно-белые на угольно-черном.

Они с дедушкой были почти неразлучны. Он видел плохо и боялся ходить на улицу один, особенно зимой, чтобы не поскользнуться и не сломать шейку бедра («типичный стариковский перелом»). Когда он шел в больницу или поликлинику, Роза всегда его сопровождала, поддерживая под руку, и, пока он был занят, ждала, сидя в вестибюле, полузакрыв пергаментными веками усталые глаза.

Дедушка и Роза любили Костю, любили и Надю, и Юрку-маленького, полтора петуха. Они приходили всегда вдвоем. Надя, встав на цыпочки, вешала в передней длинное дедушкино пальто и вычурное, похожее на мантилью, пальто тети Розы. Юрка бежал им навстречу, подскакивая, словно на трех ногах, и целовал где придется, на уровне своих губ.

Ходили они и в больницу к Косте. Дедушка, как врач, приходил в своем халате, и все двери были для него раскрыты, а Роза чаще ждала в гардеробной. Она боялась сумасшедших, хотя и не хотела в этом признаться. Рувим возвращался сумрачный, вертикально прямой и говорил:

— Будем надеяться, милая Роза.

18 октября 1952.

Лиля, дорогая! Сегодня у Кости снова были дедушка и тетя Роза. Он их и узнал, и не узнал. Дедушку он, хоть и неохотно, признает существующим, а ее — нет. Мы с Юркой, по его мнению, умерли: не могли уцелеть после тех показаний, которые он сделал по радио о себе и своих родителях. Говорил,

что к нему ходит какая-то женщина, похожая на меня, но не я. Попрощался с ними сухо, сам ушел от них, но благодарил, что они пришли к нему напомнить (вероятно, о них же). Неужели это начинается просветление? Боюсь верить.

Состояние физическое — все то же. Ест очень мало, через день. Исхудал страшно. От вечного стояния на ногах сделались отеки, его приходится запеленывать, чтобы заставить лежать. У них это называется «ограничить». Раньше он очень сопротивлялся запеленыванию, но теперь дается — тоже хороший признак. Без особого сопротивления принимает ванну, хотя в ней «не вода, а кровь».

Прости, я все о себе. Как ты? Как Наташа? Н.

25 октября.

Лиля, милая, снова хуже! Температура 37, 8. Завтра рентген. Появились нарывы на шее, лице, руках. Совсем отказывается есть, снова это мученье с зондом. На днях стал отнимать у врача ключ, чтобы убежать, с ним еле справились. С.М. говорит, что обычно таких больных помещают в буйное отделение, но она хочет этого избежать. Пока его поместили в отдельную палату и приставили санитаря, который не пускает его уходить. Я видела этого санитаря, дала ему кое-что, он показался мне добрым. Главное, не ест. Прости, что пишу несвязно. Н.

Только что получила твою открытку. Ради бога, не посылай денег, у меня есть. Кое-что заработала еще летом, и дедушка помогает. И вообще, кто только не предлагает денег: Иван Михайлович, Судаковы, Анна Игнатьевна. Был Николай Прокофьевич. Он теперь работает в другом институте. Тоже предложил денег. У него я взяла. Так что не беспокойся, у нас с Юркой все есть. Целую тебя и Наташу. Напиши о ней подробнее. Надя.

Ольга Федоровна постучала в дверь:

— Наденька, к вам.

Это был Николай Прокофьевич. Он низко склонился, по-старомодному целуя Наде руку, показывая седые перья на затылке. Выпрямился. В таких случаях всегда трудно заговорить. Но и молчать тоже нельзя.

— Вот какие дела, Надежда...

— Алексеевна.

— Милая Надежда Алексеевна. На днях только узнал. А то, поверьте, давно бы пришел. Я ведь теперь там не работаю, расплевался.

— Я слышала.

— Надежда Алексеевна... я, знаете, надеюсь на лучшее. Это, в основе, здоровый мозг. Прямая душа. Прекрасный молодой человек.

— Сядьте, Николай Прокофьевич. Хотите чаю?

— Не откажусь.

Надя вышла. В комнату заглянул Юрка.

— Где моя мама? — строго спросил он.

— Наверно, на кухне.

— А ты кто?

— Я дедушка.

— Дедушка — большой. Ты не дедушка.

— Разные бывают дедушки. И большие и маленькие.

— Ты — маленький дедушка?

— Очень маленький.

— Я тебя люблю, — сказал Юрка.

— Милый ты мой! Иди ко мне.

...Ужасно пронзительный молодой человек. Николай Прокофьевич взял его под мышки, за цыплячью грудку с гибкими ребрами, посадил к себе на колени и поцеловал в маковку.

— Ты читать умеешь? — спросил Юрка.

— Учился когда-то.

— Уже забыл?

— Нет еще.

— Тогда читай.

Николай Прокофьевич взял со стола книгу.

— Не ту, — сказал Юрка. — Пло kota!

— Здесь не про kota.

— А ты писать умеешь?

— Умею.

— Пиши пло kota.

Николай Прокофьевич вырвал листок из записной книжки и начал печатными буквами: «Жил-был кот».

— Эту букву я знаю. Это «ж», — сказал Юрка. — Что ты написал?

— Жил-был кот.

— Ты холоший, — сказал Юрка и вдруг стал топтаться у него на коленях. Встав на ноги, он обнял его за шею и поцеловал.

И тут Николай Прокофьевич заплакал. Он уткнулся в Юрку, куда-то между кудрями и воротником, и плакал, обнимая узкую птичью грудку, где торопливо билось такое большое в таком маленьком.

Лиля, милая, не лучше. Температура все держится, это от нарывов. Делают переливание крови. Он считает, что это кровь христианского младенца, и страшно сопротивляется. Чего только не приходится выслушивать врачам! Ест иногда через день, иногда через два дня. Когда я приезжаю, Софья Марковна всегда настаивает, чтобы он вышел ко мне, хотя он меня и отрицает совершенно.

Знаешь, меня берет сомнение: для него ли нужны эти мучительные свидания (ведь он так волнуется, так дрожит!), или, может быть, это эксперименты для описания в каком-нибудь научном труде? Знаю, грешно так думать про Софью Марковну, но иногда нет сил. Я оставила бы его в покое. Напиши, посоветуй! Н.

20 ноября 52.

Лиля, по твоему совету (против воли С.М.) я уже почти месяц не вижу Кости.

Каждые 2–3 дня говорю с Софьей Марковной. Какая она добрая! Много рассказывает про Костю, говорит о нем, как о родном, близком человеке. Я всегда знаю, как он спал, что ел, что делал. Оказывается, он, как и многие другие больные, время от времени пишет письма С., признается в своих преступлениях, просит освободить его друга, погибшего по его вине (освободить от смерти). Она говорит, что это (то есть письма С.) — обычный симптом, пишут почти все. Письма подшивают в истории болезни.

Ест и спит немного лучше. Сегодня съел почти целое пирожное. Обо мне не спрашивает, а я, по твоему совету, не показываюсь. Верно ли мы делаем? Если бы ты знала, как это трудно! Н.

Дорогую Наташеньку поздравь от меня с первым выходом на улицу. То-то ты должна быть счастлива!

Больничный сад — в снегу. По снегу — глубокие собачьи следы. Дорожки посыпаны песком. Кое-где, под руку с нянями, гуляют больные, в теплых пальто, в меховых шапках. Они словно скованы под одеждой невидимыми цепями и идут осторожно, медленно.

Надя тоже шла осторожно, медленно, как будто и на ней были цепи. Вошла в третий корпус. Только что собралась отдать передачу, как сестра сказала:

— Вы Левина? Вас ждет Софья Марковна.

Надя испугалась и кинулась в кабинет. Но Софья Марковна улыбалась:

— Наденька! Хорошие вести! Наш больной сам вспомнил о вас и пожелал видеть.

— Софья Марковна!!!

— Да-да. Не бледнейте так, моя деточка. Ну, куда это годится? Валерьянки?

— Не нужно, я ничего. Как это было?

— Я к нему пришла. Он все порывался мне что-то сказать, но не мог. Потом еле-еле, тихо так, спросил: «Где моя жена?» — «А что, вы хотите ее видеть?» Долго молчал, потом: «Да, хочу».

— Так и сказал?

- Так и сказал.
- Это хороший признак? Да? Софья Марковна! Ему лучше?
- Лучше, мой дружок. Сознание постепенно светлеет.
- И я могу сейчас его видеть?
- Он вас ждет в столовой.

Надя шагнула к двери и остановилась.

- Боюсь почему-то.
- Тогда не бойлись, теперь боитесь. Ну что ж. Такие характеры тоже бывают.
- А была большая опасность?
- Большая.
- Он мог умереть?
- Мог. Я этого очень боялась.
- А теперь?
- Слава богу, угрозы для жизни нет. Наладим питание, пройдет тоска, постепенно начнут исчезать бредовые идеи... Как туман под солнцем... Возможно, к весне мы его выпишем.
- Софья Марковна, правда?
- Правда, моя милая. Надеюсь.
- У меня даже ноги плохо идут — от радости.
- Пусть у вас всегда будет радость, Наденька.

23 декабря 52.

Милая, родная, я так счастлива: Косте гораздо лучше! Он уже почти признает меня: сегодня при встрече сам подошел и поцеловал. Сам попросил: «Посиди со мной», хотя старательно отодвинул свой стул от моего. Бредовые идеи еще держатся, но он не очень на них настаивает. Жаловался, что плохо разбирается во времени: ему кажется, что он здесь не три с половиной месяца, а гораздо больше. Я спросила: приходите ли мне, когда, чаще или реже? Не отвечает, только внимательно и строго смотрит. Прощаясь, сказал: «Спасибо, что вы пришли напомнить мне о ней». Мои рассказы о Юрке слушал почти без отрицания. С.М. говорит, что если так пойдет, то к весне она его выпишет. Трудно поверить в такое счастье! Тогда возьмем Юрку и все трое — к тебе, на теплое море. Я так давно не купалась в море. Целую, целую, себя не помню от радости. Твоя Надя.

Эти колесики нарисовал Юрка. У нас второй день очень холодно.

3 января 1953 г.

Дорогая моя! Приехала только что от Кости и нашла твое письмо. Спасибо, спасибо! Не беспокойся, мы прекрасно разместимся на террасе. Я так себе и представляю: дикий виноград, море.

Костино состояние улучшается. Спит хорошо. Ест тоже довольно хорошо. Вообще сравнительно спокоен, хотя и продолжает каяться.

Беспокоит меня, что в больнице немного косятся на Костю как на «любимчика» Софьи Марковны. И вообще, отношение к ней не очень хорошее. Я прочла в стенгазете заметку: «Новогодний сон доктора Лифшиц», с карикатурой. Ее нарисовали в виде какого-то толстого мешка с грубо еврейским носом. Смысл такой, что С.М. к каждому своему больному, особенно к некоторым, хотела бы приставить по терапевту, да и вообще врачей по всем специальностям, и отвести отдельную палату. В этой фразе: «особенно к некоторым» — мне показался намек, но я была так счастлива, что эта тень быстро прошла.

Дома я не утерпела, сказала Юрке, что папа скоро придет домой. Он очень ждет папу и строит для него дом из кубиков. Если бы ты видела, какой он стал большой, как говорит!

Надя

8 января 53.

Что за чудесный человек Софья Марковна! Часто я чувствую ее не врачом, а матерью — такое личное, родственное отношение. Здесь не все врачи такие. При мне однажды Костя обратился к другому врачу, мужчине, просил его выслушать, записать его показания. Тот досадливо отмахнулся: опять вы за старое, подите, говорите лучше со своей женой. Костя после этого со мной говорить не захотел. Доктор — молодой, красивый, но какой-то удивительно недоступный.

С.М. рассказывала, что вчера Костя опять «суетился», просил бумагу, чтобы написать И.В. или дать возможность поговорить с ним по телефону, признаться в своей вине. Называет Юрину фамилию. Убежден, что Юра жив. Просит освободить Юру и арестовать его самого. Все это, по словам С.М., говорил связно и со слезами. Она считает это хорошим признаком, но мне почему-то тревожно. Сегодня был прекрасный день — солнце с морозом. Я шла по улице и плакала. Теперь я довольно часто плачу, это плохо. Хотелось бы быть похжей на тебя. Надя.

Тринадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят третьего года Надя, как всегда по утрам, открыла почтовый ящик и вынула свежую, пахнущую краской газету. Она ее отложила: надо было покормить Юрку. Она поставила перед высоким стулом тарелку с кашей.

— Каши не хочу, — мгновенно сказал Юрка.

— Иди, ешь.

— Каши не хочу, — повторил Юрка, самостоятельно взбираясь на стул.

— Мало ли чего ты не хочешь.

— Я тебя не люблю, — лукаво сказал Юрка. Это он так острил.

— Любишь не любишь, а кашу придется есть.

Юрка умолк и покорно принял ложку каши.

Надя рассеянно взглянула на газету. «Шпионы и убийцы разоблачены», — прочла она заголовок передовой.

...Что такое? Какие шпионы?

Она развернула лист.

«Хроника ТАСС сообщает о разоблачении гнусной шайки шпионов и убийц, орудовавших под маской "людей науки", профессоров и врачей...».

Что такое?

— Мама, не читай.

— Погоди, сейчас.

«...Эти выродки, потерявшие человеческий облик...»

— Мама, я буду есть кашу.

— Погоди, маленький, сейчас.

— Я большой. Я тебя люблю.

— Знаю, деточка.

«...Следствие установило, что большинство шайки врачей-вредителей было связано с международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт"...».

— Мама!!

— Деточка, кушай сам.

Юрка взял ложку и стал шуровать.

«...Как ничтожных козявок, раздавит жалкую шайку презренных предателей родины советский народ-богатырь. "Если враг не сдается, его уничтожают" (А.М. Горький)».

Почему-то она прочла: «Если врач не сдается, его уничтожают». Очень страшно. Она встала, ища, что бы сделать. Газета не слушалась, она ее уронила.

А Юрка поднял к ней требовательное, кругом испачканное кашей лицо:

— Поцелуй.

Она схватила его крепко, отчаянно и стала целовать куда попало, в кашу.

По лицу Софьи Марковны ничего нельзя было сказать. То же энергичное, заботливое лицо, разве что на одну тень бледнее. А руки суетливо вертели стальной молоточек. Поворачивалась, взблескивая на солнце, никелированная головка. Молоточек прыгал, а лицо было спокойно.

— Ничего не поделаешь, Наденька. Будем бодрь.

— Как же мы без вас? — спросила Надя.

— Ничего, не бойтесь. Будьте бодры, и он поправится. Это не суеверие, а медицинский факт. Мне приходилось видеть, как человек спасал человека любовью и бодростью, ничем другим.

— Но ему стало хуже! Неужели опять все с начала?

— Не думаю. Это временное ухудшение на фоне обратного развития болезни.

— Ухудшение без причины?

— Причины всегда есть, только мы не всегда их знаем. Возможно, это реакция на внешние события.

— Газеты?

— Ну, да. Это моя ошибка. Рано я ему стала давать газеты. Надо было беречь его от травмирующих впечатлений.

— От жизни, значит?

— Зачем так горько? — Софья Марковна положила на Надину руку свою, мягкую, полную, небольшую. — Вы еще очень молоды. Вам предстоит долгая жизнь. И вы увидите, что она не вся такая.

Рука лежала совсем близко от Надиных губ — хотелось ее поцеловать. Она спросила глазами: можно? Софья Марковна замотала головой: нельзя.

— Софья Марковна... А вы-то как? Вы-то как будете?

— Буду жить. Меня не так-то легко опрокинуть. Я — ванька-встанька.

— Будете искать работу?

— Конечно. Скоты предлагали — на пенсию. Ну, это дудки. Поеду куда-нибудь в деревню, в колонию. Не могу без больных. Вы себе не представляете, какие это милые, нормальные, да, нормальные люди. Может быть, как раз зачерствелость так называемых «здоровых» — отклонение от нормы. А эти... Болезнь — сверху, а в глубине — душа. Обиженная, раненная, а живая..

Надя слушала. Костина душа...

— Да, за эту «душу» много мне попадало. Прорабатывали: идеализм. В наше время назвать человека идеалистом значило похвалить. Удивительно, как смещаются понятия.

В кабинет заглянула сестра:

— Софья Марковна, Петров беспокоится.

— Иду.

Она поправила шапочку, встала и пошла к двери на тяжелых, отечных ногах.

Надя осталась одна. Маленький радиоприемник чуть слышно наигрывал танцевальную музыку. Шепот беззаботности. Хорошо было слушать его, ни о чем не думая, пока это было возможно. Подольше.

Софья Марковна вернулась.

— Насчет души, — сказала она сразу, словно и не выходила. — У нас принято считать, что души нет. А все-таки, откуда название: «душевные болезни»? Нет, что-то такое есть, не все ли равно, как назвать: душа, личность... Слова, ведь они мало что значат...

Маленький приемник продолжал свою призрачную деятельность, тихонько нашептывая, все о своем.

— Не умеем мы лечить по-настоящему. Бродим в потемках, ощупью. А много ли сделаешь ощупью?

— Вы много, много делаете, — сказала Надя. Софья Марковна ее не слушала.

— Люби больного, — сказала она куда-то в пространство. — В этом все. Не умеешь любить — не ходи во врачи! Нечего тебе там делать. Говорят, любви в институте не научишь. А может быть, и научишь? Курс любви... Экзамен по любви... Не так смешно, как кажется.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Софья Марковна. — Десятое отделение.

Трубка заговорила маленьким, торопливым, металлическим голоском. Слов нельзя было разобрать, но слышно было, как на другом конце провода бьет тревогу человеческая душа.

Софья Марковна слушала, а трубка говорила-говорила, плакала, билась в ее руках, просила, требовала и, наконец, замолкла. Тогда Софья Марковна печально сказала в трубку:

— Милая моя, хорошая, ничего не могу для вас сделать. Я здесь больше не работаю. Сдала отделение Владимиру Павловичу.

Рувиму Израилевичу позвонили из поликлиники:

— Доктор Левин? Примите телефонограмму. Сегодня 16 января, в 17.00 состоится общее собрание рабочих и служащих. Повестка дня: разоблачение шайки врачей — шпионов и убийц. Ваша явка обязательна. Записали?

— Записал, — сказал доктор Левин.

Он пошел в столовую. Положив перед собой тяжелые, неподвижные руки, он некоторое время думал.

— Рувим, тебе пора пить кефир, — сказала Роза.

— Выпью.

— Что с тобой? — спросила Роза.

— Ничего. Сегодня к пяти часам вызывают в поликлинику.

Роза встрепелась:

— Не ходи, Рувим.

— Я пойду.

Часы показывали два часа: четырнадцать. Три часа ему оставалось.

Он выпил кефир. Потом снова положил на желтую клеенку свои руки, сидел и думал. Думал он до шестнадцати тридцати. В шестнадцать тридцать он встал.

— Не ходи, Рувим, — сказала Роза. — Или тебе больше всех нужно?

— Я думал о великом Бехтерева, — ответил Рувим. — Как ты думаешь, пошел бы он или нет? Пошел бы.

Роза помогла ему одеться. Рувим, сухой и гордый, застегнул пальто до самого верху, надел высокую меховую шапку и, скованно подымая ноги, вставил их в черные суконные боты.

— Идем, Роза, пора.

По улице он шел стройно, внимательно, обходя длинные ледяные дорожки, прокатанные мальчишками. Сегодня ему особенно ни к чему было сломать себе шейку бедра.

Оставив, как всегда, Розу в вестибюле, он надел халат и поднялся по широкой лестнице с ковровой дорожкой, застланной полотном. Чудесный запах охватил его — строгий запах лечебницы. Он привык любить его за всю свою жизнь. Каждый раз, входя в больницу, поликлинику, амбулаторию, он слышал этот запах и любил его. И сегодня он вдыхал его — верный, честный, рабочий запах — и наслаждался им, как никогда.

В зале было тесно, всюду толпились, вставали, садились, разговаривали белые халаты. Белый халат — символ чести.

Доктор Левин шел по проходу, и белые халаты расступались, пропуская его вперед. Он сел в первом ряду и поставил перед собой палку, строго приказав ей стоять вертикально. Обе руки его опирались на серебряный набалдашник, и они не дрожали. Он был собой доволен. Он вошел, как нужно, и сел, как нужно.

Собрание началось. Рувим Израилевич слушал очень внимательно, хотя заранее знал все, о чем будет идти речь. Его интересовало другое: кто будет говорить и как. Он слушал и отмечал про себя и ставил зарубки.

— Товарищи! С огромным возмущением узнали мы, работники советской медицины, о неслыханных злодеяниях...

Ага, заметим себе, кто это говорит. Доктор Сокольский. Говори, говори, шаровоз. Мы тебя отметим.

«...Эти подонки, справедливо названные убийцами в белых халатах, оказались платными агентами американской разведки. Международная еврейская организация "Джойнт"..."»

Ага, доктор Лапин. Отметим и тебя, доктор Лапин. Сукин сын ты, Лапин, вот ты кто.

«...Нашим лозунгом должно быть: ни одного пятнышка на белом халате!»

Доктор Никитина. Халат у тебя, правда, белый. И тебя мы отметим тоже. Не забудем, не бойся.

«...Арестованный Вовси признался на допросе, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров от организации "Джойнт" через врача Шимелиовича и актера Михозлса...»

Признался, признался... И тебя будут лупцевать — признаешься. Бехтерев не признался бы, нет.

А вот вышел любимый ученик — Миша Кацман. Любил его, любил. Миша бледен. Струсил, бедняга. Ах, какое горе! Ну, так и есть:

«...Предатели, отщепенцы, гнусные бродяги без роду, без племени, жадными, дрожащими руками пересчитывающие американские кредитки...»

Эх, Миша, Миша. Зачем ты вышел? Не уберег я тебя, Миша...

«...Подлинная патриотка своей родины, Лидия Тимашук, бдительностью которой были разоблачены гнусные убийцы...»

Лидия Тимашук. Да, так ее звали.

Каждый раз, когда на трибуну выходил новый оратор, Рувим Израилевич приподнимал свою палку и снова ставил вертикально, с суровым стуком.

Довольно. Теперь пойду я.

Когда он поднялся, зал особенно притих. Рувим Израилевич вышел неторопливо, каждый шаг звучно припечатывая палкой.

С высоты кафедр он оглядел зал. Слезятся стариковские глаза. Белые халаты. Символы чести. Вот они — смятые, затоптанные, трусливые.

— Товарищи, — сказал доктор Левин. — С огромным негодованием, как здесь уже говорили другие, прошу прощения, я вынужден повторяться... С огромным негодованием, повторяю я, узнали мы об этом неслыханном деле... Мы полны благодарности к бдительным органам и отдельным лицам, разоблачившим шайку гнусных убийц...

Он полез в карман, вынул бумажку, развернул ее и, далеко отставив от глаз, поглядел на нее критически.

— Повторяю я, шайку гнусных убийц: Менделя Бейлиса, профессора Вовси, профессора Когана М.Б., Когана Б.Б., профессоров Фельдмана, Этингера, Гринштейна и других.

По рядам пробежал шепот.

— Кого он назвал?

— Какого-то Бейлиса.

— Кто такой Бейлис?

— Какой-то еврей из «Джойнта».

— В газетах не было никакого Бейлиса.

— Мендель, а не Бейлис.

— Мендель, основоположник менделизма...

.....

Рувим Израилевич переживал.

— Мы очень благодарны этой даме... Вере Чеберяк...

— Лидии Тимашук, — крикнули из зала.

— Мы очень благодарны... Вере Чеберяк, — повторил Рувим Израилевич, — за то, что она помогла разоблачить...

Он снова отставил листок:

— Менделя Бейлиса, профессоров Вовси, Когана М.Б., Когана Б.Б., Фельдмана, Этингера, Гринштейна и других.

— Лишить слова, — крикнул кто-то из первых рядов.

— Вы меня не лишите слова, — громко сказал Рувим Израилевич. Собственно, он уже все сказал. И все равно, из-за шума он бы не мог продолжать. Шум был ужасный.

И еще мешала какая-то нелепая легкость. Он протянул руку, чтобы взять стакан воды, стоявший на кафедре. Рука, неестественно легкая, подняла стакан, как перышко, и пронесла мимо рта, куда-то к уху. Он испугался и поставил стакан, но неточно. Тяжело брякнув, стакан разбился. К нему уже бежали люди.

— Рувим Израилевич, успокойтесь.

Это была молоденькая сестра, Валя. Он всегда любовался ее светлыми, карими глазами. Сейчас глаза были большие, в пол-лица.

— Рувим Израилевич...

Его осторожно сводили вниз с помоста, держа под руки. Слева была Валя. Он обернулся направо — Миша Кацман. Он стряхнул его с руки, как грязь:

— Я могу идти сам.

Чванно и прямо он прошествовал по проходу, к белой высокой двери, которая стояла перед ним, как маяк. Он равнялся по ней и шел прямо.

За дверью стоял директор поликлиники — лысоватый, трусливый еврей.

— Ну, что за выступление? — зашипел он. — Вы хотите нас всех погубить?

— Глядя на вас, я становлюсь антисемитом, — сказал Рувим Израилевич.

Валя все цеплялась за его руку и, кажется, плакала. Он шел по лестнице, осторожно переставляя легкие, чересчур свободные ноги. Малейшее усилие поднимало их очень высоко, он вязал их своим вниманием, как веревкой. Он был занят своими ногами и не заметил, что на последней площадке ковровая дорожка загнулась. Он споткнулся об нее, потерял равновесие и, хватаясь за перила, стал сползать ногами вниз по лестнице. Палка с серебряным набалдашником, звонко пересчитав ступени, затихла. Валя ахнула, пытаясь его поддержать. Снизу метнулась черная тень — Роза.

— Рувим, Рувим.

Его подняли. Он встал и стоял прямо, держась за чьи-то плечи, жуя белыми губами.

— Роза, успокойся, пойдем.

— Рувим, ты не ушибся?

— Нет, нет.

Пока его одевали, он сидел молча, тихо позволяя вдвинуть руки в рукава, голову в шапку. Когда ему надевали боты, он осторожно поднял сначала одну ногу, потом другую. Ноги были незнакомые, очень большие. Дальше он ждал, пока вызывали такси. Ждал долго, терпеливо.

— Рувим, тебе плохо?

— Нет, нет.

Очень послушно он вошел в такси и вышел из него у дома. Поднимаясь в лифте, он отчетливо видел полированные деревянные

стенки кабины. На одной створке, вероятно гвоздем, было нацарапано: «Светка дура».

Точно так же послушно он позволил Розе снять с себя пальто, молча вошел в столовую, сел за стол и положил перед собой руки.

— Роза, — сказал он, — дай мне капель. На ночном столике, коричневый флакон с притертой пробкой. Двадцать пять капель.

Роза вышла. Когда она вернулась, Рувим сидел мертвый, положив голову на руки.

— К Левину? Не велено пускать. В общие дни — пожалуйста.

Толстая гардеробщица из-за барьера неприязненно глядела на Надю.

— Софья Марковна сказала, что можно...

— Нету вашей Софьи Марковны. Владимир Палыч не велел. Халатов не напасешься.

— Но Софья Марковна...

— Была, да вся вышла. У нас принцев нету, все равны.

— Можно мне поговорить с Владимиром Павловичем?

— А чего говорить? Нельзя.

Надя сунула ей бумажку. Та сказала: «Что вы, не надо», но взяла.

— Скажите, пожалуйста, Владимиру Павловичу, что я прошу его ко мне выйти.

— Сказать скажу. Только без пользы это. Лестницу взад-вперед ходишь-ходишь...

«Мало дала», — подумала Надя. Она сидела и ждала под часами, слушая их четкое щелканье и тишину, готовую в любую минуту закричать, заплакать.

Есть такие места, где ждут: больницы, приемные, суды. Единственное, что можно сделать, чтобы не страдать в ожидании, — обмануть себя. Приготовиться ждать долго-долго и удивиться, когда ожидание кончится.

Долго буду ждать, долго.

Она закрыла глаза и отчетливо увидела мертвого дедушку, строго и длинно простертого на кровати, и рядом, на полу, тетю Розу. Услышав, что Надя вошла, она полуобернула к ней безумные серые глаза, схватилась за волосы и что-то закричала по-еврейски. Она подняла кверху руки, словно грозя кому-то в потолок, и пряди волос висели у нее в пальцах, до половины черные, а дальше — седые.

А на похоронах Роза была уже спокойна, тихо сидела в автобусе рядом с гробом, поглаживая, как живую, его желтую крышку. Когда автобус подпрыгивал, жестяные венки громыхали...

«Костя еще не знает, что дедушка умер. Впрочем, он думает, что все умерли: и я, и Юрка...»

Гардеробщица вернулась.

— Подождать велено.

— Я подожду.

«Я научилась ждать, — думала Надя, — я буду ждать терпеливо, сколько угодно, лишь бы он поправился».

Много времени прошло. Она уже оцепенела в ожидании, когда появился Владимир Павлович. Тот самый врач, который тогда отмахнулся от Кости: «Подите, подите, говорите лучше со своей женой». Голубая щегольская рубашка виднелась у него из-под халата. На голове — щегольские, круто волнистые каштановые волосы. Любовь и уважение к себе светились в каждом его движении.

— Это вы меня спрашивали? По какому делу?

Надя встала.

— Владимир Павлович, я вас очень прошу пропустить меня к больному Левину. Софья Марковна обещала с вами поговорить...

— Порядок есть порядок. Не вижу причины его нарушать. Состояние вашего...

— Мужа.

— Состояние вашего мужа среднетяжелое. Причин для того, чтобы нарушать порядок, не вижу.

...Голубые яркие глаза, под цвет рубашки, и яркий непреклонный взгляд. Просить тут бесполезно. Надя не стала настаивать.

— Скажите, пожалуйста, как его здоровье.

— Нормально. То есть для его болезни — нормально. Пышный бред виновности, усложненный параноидной реакцией. Со стороны сердца особых изменений нет. Гемолитическая желтуха. Резкое истощение. Фурункулез.

— Ему не лучше?

— Пока нет.

— Спасибо, — сказала Надя. Владимир Павлович повернулся и ушел.

— Эх ты, бедолага, — вздохнула гардеробщица. — Ходишь-ходишь, передачу носишь-носишь, одной фрукты сколь перетаскала, а толку чуть. Нет, уж я тебе верно скажу: не поправится. Таким, как твой, одна дорога — ногами вперед и в морг.

— Этого не может быть, — сказала Надя.

— Очень даже может. А ты не горюй, еще молодая. Гладкая. Найдешь себе.

Мартовская капля стучала на улице, и в камере было светло, когда тот, кто был раньше Константином Левиным, проснулся и сел на кровати. Солнце ударило его ножом.

Кругом спали другие заключенные. Ему необходимо было подумать, пока они спали.

Перед тем как сесть на кровати, он видел Юру — живого. Юра стоял небритый, полураздетый и плакал, дрожа кальсонами. Наверное, его только что били.

Больной застонал и закрыл лицо руками. Вина — чудовищная, ни с чем не сравнимая, больше себя — кромсала его изнутри. Он ее чувствовал всегда, она не отпускала его ни на минуту. Погубил Юру. Всех погубил. Скорее бы погубить себя, чтобы все было кончено.

Снаружи слышны были стуки — куда-то заколачивали гвозди. Забивают двери. Отсюда мы уже не выйдем.

Он открыл лицо и с мукой поглядел на белую, шершавую стену. Там он что-то увидел. Тонкий, слабый зайчик, еле отсвечивающий радугой, лежал на стене. Узкий солнечный луч ланцетом резал воздух: от графина на столе к зайчику.

Больной встал и пошел, шатаясь от тоски. С этим нужно было что-то сделать. Этого нельзя было так оставлять. Он схватил графин и что есть силы швырнул его в зайчик. Солнце брызнуло в стороны, и ему стало легче. Он споткнулся и упал лицом вниз — прямо в осколки.

Надя долго стояла в очереди за яблоками, зато выстояла целых два кило. Яблоки румяные, здоровенные. Половину — Косте, половину — Юрке.

Сегодня надо было ехать в больницу, везти передачу. Прошлый раз, в общий приемный день, ее не пустили. Владимир Павлович вышел сам, немного смущенный и очень любезный.

— Ухудшения нет, но произошла небольшая неприятность. Наш больной немного поранил себя осколками стекла. Очень досадно, но, уверяю вас, ничего серьезного. На палатную сестру наложено взыскание.

— Как поранил? Куда?

— Несколько небольших порезов: лицо, лоб. Ничего страшного. Несколько царапин.

— Почему мне нельзя его видеть?

— У больного небольшая температура. Ему предписан постельный режим.

— Пропустите меня в палату.

— Не могу. Это делается только в исключительных случаях. В данном случае показаний нет.

Надя ушла. Может быть, даже лучше, что не пустили. Значит, ничего страшного нет. Пустяковые порезы...

Сегодня она все узнает. Ничего страшного она не узнает. «Будьте бодры, и он поправится». Милая Софья Марковна, я буду бодра, буду.

Автобус шел долго, медленно. Очень много было перекрестков. Снаружи — мокрый, перепревший снег. Скоро весна. Весной, может быть, его выпустят.

В гардеробной стояли несколько женщин с передачами. Вышла санитарка Люба. Женщины стали совать ей пакеты. Надя тоже подошла со своими яблоками. Люба их не взяла, сказала быстро:

— Владимир Павлович приказали, чтобы вы прошли в кабинет.

И ушла, не взяв ни одного пакета. Женщины негодуяще загудели.

— Да возьмет она, возьмет, погодите, — сказала гардеробщица. — Экий народ какой, секунд погодить не могут.

Какая-то странная она сегодня была, чуть ли не добрая. Она взяла у Нади пальто и сетку с яблоками, подала ей очень белый, свежий халат.

Надя прошла в кабинет. Владимира Павловича там не было.

Что-то изменилось здесь без Софьи Марковны. Да, убрали с окон цветы. И маленького, дружеского радиоприемника не было.

Владимир Павлович не шел.

На столе лежали книги, папки. Надя взяла верхнюю книгу: «Курс психиатрии» и перелистала. Одна фотография ее поразила: худая женщина в белом платке сидела на корточках, наглухо закрыла лицо руками. Подпись: «Типичная поза больной маниакально-депрессивным психозом в острой фазе депрессии».

Так, может быть, сидел Костя, когда ему было совсем плохо. Теперь ему лучше — острая фаза позади.

Надя отложила книгу. Под ней лежала папка. Невольно она прочла крупную печатную надпись: «Левин Константин Исаакович».

«Я не имею права», — сказала она себе, сложила руки и села в кресло.

Владимир Павлович не шел.

Надя развернула папку.

Записи — разными чернилами, разными почерками. Профессионально неразборчивые врачебные записи. Только для посвященных.

Подшитые листки с анализами. Несколько лент фотобумаги: энцефалограммы? Ничего не поймешь.

Снова записи.

«Проявляет агрессивность. Пытается бить персонал», — с трудом прочла она.

Этого ей не говорили.

...Латынь. Названия лекарств?

«Питание через зонд», — удалось ей прочесть.

Слава богу, с этим покончено. Костя уже давно ест сам.

Снова подшитый листок и на нем знакомым, но судорожным почерком:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!»

Костино письмо. Как же у него изменился почерк! Надя стала читать:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Простите, что к Вам обращается самый преступный, самый виноватый из граждан Вашего государства. Верьте, если бы речь

шла обо мне самом, я не посмел бы Вас беспокоить. Нет такой казни, которая была бы соразмерна моей вине. Поверьте, мне было бы легче, если бы меня убили любым способом. Я обращаюсь к Вам потому, что, зная Вашу справедливость, прошу поверить, из-за меня погибли совсем невинные люди. Я был причиной смерти всех своих родных. Я не имел права, будучи евреем, жениться на русской и тем более иметь от нее сына. Я прошу Вас об одном: благодаря моей преступной деятельности был арестован и уничтожен Нестеров Юрий Борисович. Только Вы можете его спасти. Вызовите прокуроров, которые ведут дело. Эти прокуроры несправедливо обращаются с заключенными, которых называют больными, запеленают их насильно, чтобы лишить движения. Кроме того, некоторые больные курят в уборной. Я, как ответственный за палату (камеру), пытался это прекратить, но прокуроры не поддержали меня своим авторитетом, а вместо того запеленали.

Простите, что беспокою Вас, я знаю, как у Вас мало времени. Если б я не сознавал, что дело, о котором я пишу, государственной важности, я не посмел бы писать Вам.

Заключенный Константин Левин.

Опять письмо, и опять... Дат на письмах не было, но по записям в истории болезни можно было понять, когда они писаны. После 5 марта письма не прекратились: Костя продолжал писать — мертвому. «...Дорогой Иосиф Виссарионович! Только Вы один можете...»

«...Дорогой Иосиф Виссарионович! На коленях прошу Вас...»

Что за безумие? Читаю письма, вместо того чтобы узнать, что с ним сейчас!

Она быстро перелистала страницы, вплоть до последней исписанной.

Мучительно неразборчивые записи. 26 марта... единственное, что можно понять: 38.2°. Остальное — латынь.

Последняя запись — от 28 марта. Опять латынь. Последнее слово вроде: ...

Ей стало страшно холодно, и вдруг она поняла. Она кинулась из кабинета в коридор — там было пусто, и, крича, стала бить кулаками в первую попавшуюся дверь.

— Есть тут кто-нибудь? — кричала она. — Есть тут какой-нибудь человек?

Из разных дверей сразу выскочили люди. Ее подхватили под руки, она вырывалась и все кричала:

— Пусть посмеет! Пусть только посмеет! Сам! Сказать мне! Что он умер!

Рабочая, шумная весна действовала за окнами. Какие-то люди, на крыше напротив, весело крича и гремя ногами, скидывали лопатами остатки снега.

Надя сидела за столом и работала, расшифровывала стенограмму. Из рук вон плохо записано. И шумно как. А работа срочная, надо спешить. Юрка возил по ковру машину и дудел. А тут еще в дверь постучали.

— Войдите, — сказала Надя.

Вошла Ольга Федоровна.

— Врачей-то выпустили. Газету видели?

— Я не читала, — сказала Надя.

— Смотрите: так черным по белому и написано. Группа врачей реабилитирована. Показания получены путем недопустимых и строго запрещенных приемов следствия... Как вы думаете, это намек на...

Надя поглядела на нее мертвыми глазами и снова взялась за работу. Очнулась:

— Что вы сказали, Ольга Федоровна?

— Врачей выпустили.

— Ну что ж, хорошо, что выпустили.

Ольга Федоровна потопталась и ушла.

— Айболита выпустили? — спросил Юрка.

— Да, маленький, играй.

Ольга Федоровна снова стукнула в дверь:

— Наденька, к телефону. Какой-то мужчина.

Надя взяла трубку.

— Надежда Алексеевна? Здравствуйте. Говорит Сергей Петрович.

— Какой Сергей Петрович?

— Пахомов, директор института. Бывший начальник вашего супруга.

— А, здравствуйте.

— Надежда Алексеевна, я слышал о постигшем вас горе. Поверьте, мы все глубоко сочувствуем. Такой талантливый молодой человек...

— Его талантливость не помешала вам...

— Не поминайте старого, Надежда Алексеевна. Лично я всегда пытался защитить вашего супруга. Не моя вина, что это оказалось невозможным. Сами знаете, какая была ситуация...

— Я вас слушаю, Сергей Петрович. Чего вы хотите от меня?

— Надежда Алексеевна, мы хотели бы вам помочь. Я тут уже говорил с товарищами. Оказывается, есть возможность выхлопотать пенсию для вашего сына, несмотря на то, что последние годы Константин Исаакович нигде не работал...

— Что для этого нужно?

— Представить в институт документы. Справку о начале заболевания. Желательно оформить ее так, чтобы она относилась к тому времени, когда он еще работал у нас. Брачное свидетельство. Свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о смерти.

Справку из домоуправления о проживании... Кажется, все. Дела по оформлению институт берет на себя.

— Когда нужно представить документы?

— Чем скорее, тем лучше. Например, завтра.

— Постараюсь, — сказала Надя и повесила трубку.

«Даже не поблагодарила, — подумала она, возвращаясь в комнату. — Поблагодарить все-таки надо было, он не виноват».

Документы... Где ж они, эти документы? Свидетельство о смерти есть. Свидетельство о браке? Не помню. Юркино, о рождении? Куда я его девала? Последний раз его искал Костя.

В среднем ящике письменного стола Костя держал свои бумаги. Наверно, там. Раскрыть средний ящик стола. Разрыть могилу...

Она выдвинула ящик.

Тетради, чертежи, заметки...

Небольшая тонкая папка. Внутри несколько фотографий. Выцветшая, любительская, с оторванным углом: маленький кудрявый Костя на руках у матери. До чего похож на Юрку, прямо страшно.

Черненькая, глазастая девочка на руках у незнакомой старухи в темном платке, со строгим, справедливым лицом — должно быть, тетя Дуня с Цилей.

Прелестная Рора с теннисной ракеткой в длинной узкой руке, до того стройная, что не стоит, а отлетает.

Письмо тети Лии.

Непонятный большой чертеж, какая-то машина. На полях, Костиным почерком, написано: «Устройство, моделирующее некоторые нарушения деятельности мозга (ретроградная и антретроградная амнезия). В случае моей смерти передать Ю. Нестерову. К.Л. 19.8.49».

Небольшая, в мягком переплете записная книжка. Костя никогда не вел дневника. Он просто записывал поразившие его или полубившиеся ему мысли, фразы.

Надя читала записи, слыша за ними живой Костин голос.

В борьбе за приоритет велено отыскать портрет Можайского, полетевшего, как известно, раньше братьев Райт. Не нашли, взяли фотографию сына, пририсовали бороду. Подделка обнаружена. Нашли другого Можайского — по орденам. В институте некоторое время висело сразу два разных Можайских.

Заголовок статьи: «Мечтающие трупы». Это о таких, как мы.

Хорошее выражение: «мастер от революции».

«У мертвых есть право на голос» (Эренбург).

«К одной материи легко пристают репейники, различные колючки, к другой материи они не пристают. Предполагается, что писатель — это человек, обладающий штанами, к которым пристают колючки — страсти, радости, беды» (он же).

Я — не писатель, но на мне такие штаны.

«Личная защита моего приоритета на такие характеристики» (из доклада).

«Заушательская самокритика» (из выступления Н.П. Поспелова).

«Прогрессивное войско опричников» (из доклада о киноискусстве).

«Как обидно становится советскому человеку, когда им, ни с того ни с сего, перестают интересоваться... не втягивают, не привлекают, не нагружают...» (А. Фадеев).

...Гм... Ни с того ни с сего?

«Меня изумляет духовная стойкость еврейского народа, его мужественный идеализм, необоримая вера в победу добра над злом, в возможность счастья на земле. Старые, крепкие дрожжи человечества, евреи всегда возвышали дух его, внося в мир беспокойные, благородные мысли, возбуждая в людях стремление к лучшему» (Максим Горький).

И последняя запись — уже безумным искаженным почерком:

«Родина отпихнула меня ногой и сказала: околевай, где знаешь. Но мне негде больше околевать. И, даже околевая, я приползу, чтобы лизать ее ноги» (один еврей).

.....

— Мама, не плачь!

Маленький Юрка кинулся к Наде, вдавился в колени и поднял к ней серые с чернотой глаза — глаза Константина Левина.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Имя И. Грековой хорошо знакомо русскому, или как теперь принято выражаться, русскоязычному читателю. С самого первого рассказа — «За проходной», — опубликованного в «Новом мире» в достославном 1962 году, это имя радостно запомнилось всем, для кого литература была воздухом жизни. Оттепель была уже на исходе, это чувствовалось, но настоящая духота еще не наступила, и все читали «Новый мир» и каждый номер обсуждался с жаром, и многое, конечно, прочитывали между строк, и ликовали по поводу того, что удалось «протащить» тому или иному автору, но и чисто художественные удачи тоже никогда не оставались незамеченными.

И. Грекову заметили сразу.

Блестящее искусство рассказа, легкий, веселый, интимный даже тон («мы ведь с вами, читатель, все понимаем!»), но притом и совершенно новый материал, так весело и непринужденно вводимый в литературный оборот. На двадцати страницах рассказано о жизни некой лаборатории номер десять — одного из всем памятных таинственных «ящичков», куда, как в святилище, не мог проникнуть непосвященный. И вот с какими словами автор вводит туда своего читателя:

В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию номер 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в девятнадцатом веке — пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим.

И мы так и не увидели ничего неположенного. Мы даже не узнали, чем, собственно, занимается лаборатория номер 10. Возможно — запуском спутников? Читатель шестидесятых годов мог сколько угодно догадываться об этом — но не рассчитывал, что ему все покажут. Он хорошо знал, что такое секретность.

Ну, и Бог с ней, с секретностью! Главное — читатель побыл среди «таких людей»! Тех самых, которые делают ракеты и перекрывают Енисей! Услышал их разговоры — те самые разговоры, которые он и его друзья вели на своих кухнях, — физики и лирики, ветка сирени в космосе, инженер Полетаев, Эренбург... И даже те читатели «Нового мира» — а их было немало! — которые смутно представляли себе, что такое бином Ньютона, почувствовали себя в этой повести равными среди равных... Эмэнэсы, с трудом отсиживавшие в скучном НИИ свои часы, снисходительно улыбались, читая, как сотрудники лаборатории номер десять борются за десятичасовой рабочий день! Что вы хотите! Элита! А все-таки похоже, как у нас на работе, и даже шутки те же. О тряпках,

правда, не разговаривают — так и женщин там всего-ничего, только две... А главное, все веселые! И автор — веселый человек.

И. Грекова — это псевдоним Елены Сергеевны Вентцель. Дочь известного в Петербурге учителя математики Сергея Федоровича Долгинцева, Елена Сергеевна и сама стала математиком, профессором в Академии им. Жуковского, автором знаменитого учебника по теории вероятностей. И псевдоним ее следовало понимать как математическую шутку: если убрать точку после «И», получается «Игрекова».

Следующий ее рассказ — «Дамский мастер» — появился через год в том же «Новом мире» и закрепил ее литературный успех. Она продолжала преподавать в Академии Жуковского, совмещая эту работу с литературным трудом. В 1966-м году выходит ее первая книжка «Под фонарем», куда вошли и «За проходной», и «Дамский мастер», и еще три рассказа.

Не вошел туда рассказ «Хозяева жизни», написанный еще в 1960 году. Это был рассказ-монолог человека, отсидевшего срок, скрывавшегося под чужой фамилией, словом — не палубного даже, а трюмного пассажира на корабле Советской державы. И. Грекова вовсе не собиралась хранить этот рассказ в столе — оттепель ведь! После успеха «За проходной» она искренне надеялась его напечатать. «Но даже Твардовский сказал, что печатать невозможно», — вспоминала она впоследствии. Рассказ лег в ящик стола и стал дожидаться лучших времен. И дождался: не прошло и тридцати лет, как была объявлена Гласность и «Хозяева жизни» в конце концов появились в журнале «Октябрь», который к тому времени, под руководством Ананьева, стал прогрессивным.

Вероятно, этот рассказ был неожиданностью для Твардовского — после ликующего социального оптимизма, царившего «за проходной».

Но в том же шестьдесят втором году, когда был напечатан рассказ «За проходной», такой благополучный, такой утешительный, который сама И. Грекова позднее называла «лакировочным», был написан роман «Свежо предание», впервые предлагаемый сейчас читателю.

Существовал тогда у советских писателей такой обычай: одну вещь в редакцию, другую — в стол. Не у всех, конечно. Я когда-то рекомендовала именно этот способ литературной жизни молодым авторам, подающим надежды. Возможность посылать свои произведения за рубеж появилась позже — и далеко не для всех.

«Хозяева жизни» появились в печати через двадцать восемь лет после того, как были написаны. Но роман, написанный в 1962 году дождался встречи с читателем сказочный, былинный срок — тридцать лет и три года. Он тоже не был запланирован на то, чтобы лечь в стол. Хотя, прочитав — теперь только! — в частном письме, что И. Грекова все-таки отнесла его Твардовскому в «Новый мир» на предмет публикации, я просто не могла поверить своим глазам.

Что это было? Наивность? Простодушие? Вызов?

Пожалуй, скорее всего — вызов. Давайте, мол, Александр Трифонович, мы с вами — русские люди, не евреи, не сионисты — покажем всем, что не боимся ничего, и напечатаем это! А что тут

все правда, что так оно и было — доказывать нечего. Было, но больше не будет никогда. Как говорит в романе жена героя-еврея Надюша: «А когда-нибудь про наше время скажут: свежо предание...».

Напоминаю тем, кто запомнил. Целиком у Грибоедова эта фраза звучит так: «свежо предание, а верится с трудом».

Верила ли И.Грекова, что эти слова в шестьдесят втором году прозвучат актуально? Не знаю. Во всяком случае — хотела верить. Как мы все.

Я не буду пересказывать содержание романа — вероятно, вы, как и я, прочли его не отрываясь. Такой старомодный фокус знает И.Грекова — она пишет увлекательно. Я просто попробую объяснить, как случилось, что именно это произведение И.Грековой так долго ждало своего часа.

Конечно, роман произвел огромное впечатление на всю редакцию «Нового мира». Редакционный шкаф в свое время уже был забит рукописями о тридцать седьмом годе, о страшных ночах, когда люди просыпались от звука шагов на лестнице, о лагерях... После того, как был там напечатан «Один день Ивана Денисовича», а «Известия» — «Известия»! — немедленно подхватили новый курс и напечатали лагерный, но «положительный» рассказ «Самородок», бывшие ээки поверили, что и впрямь открывается новая эра. Больше того: редакции других московских журналов — даже Софроновский «Огонек» — насторожились и стали охотиться за невиданным прежде материалом. Ася Берзер, редактор новомирской прозы, посмеивалась: «я могу им что-нибудь уступить из этого шкафчика».

Это продолжалось очень недолго — но все-таки был такой удивительный момент в советской периодике.

Однако на еврейскую тему даже в самые розовые времена Хрущевской оттепели было наложено табу. Что-то в этой теме было, видимо, особенно болезненное. Что-то вроде стыда возникало у Хрущева, простодушного партийца первых лет революции, от разговоров о советском антисемитизме. Он еще помнил, что «этого нет, потому что не может быть никогда». Во всяком случае, в своей знаменитой речи на Двенадцатом съезде он ни слова не сказал о недавнем сравнительно «Деле врачей», и только потом, в своих записанных на магнитофонную пленку мемуарах, сквозь зубы признал, что Сталин был подвержен этому позорному явлению.

Так или иначе об эпохе еле прикрытого послевоенного антисемитизма вспоминать было не принято. Врачей выпустили? Выпустили. Реабилитировали? Реабилитировали. Слово «космополит» вышло из употребления? Бывшие антипартийные критики опять пишут? Псевдонимы не раскрываются?.. Какого же рожна? Мимо, читатель.

Правда, в середине пятидесятых годов начался антисионизм — но разве это тоже самое? Сионисты — это агрессоры, и союзники американцев, и вообще, «мы хотим любить египтяночек, а агрессии мы не хотим!».

И вдруг — роман о таком запретном и постыдном, чего вроде как и не было.

О том, чтобы такое печатать, не могло быть и речи. Вообще, даже существование этой рукописи было для автора опасно. А вдруг

она какими-нибудь таинственными путями проникнет в самиздат, или — еще того страшнее — попадет за рубеж?

И Твардовский сделал все, что мог: разрешил держать рукопись в редакционном сейфе. В том самом, где до 14 февраля 1961 года — дня своего ареста — хранился роман Гроссмана «Жизнь и судьба».*

Роман «Свежо предание» не был арестован. Он и в самиздат не пошел. Его читали только близкие друзья — литераторы. Горевали, что читатель увидит его нескоро — может быть, и впрямь только тогда, когда материал его станет преданием, которому верится с трудом. Когда? Может — через двести-триста лет. Этими чеховскими словами товарищ Суслов обозначил время, когда можно будет напечатать роман Гроссмана. Это пророчество партийного идеолога было широко известно в литературных кругах.

Литературная жизнь И. Грековой не прервалась. Дарование ее крепло, она пробовала себя в разных жанрах — например, в драматургии: написала с Александром Галичем пьесу «Будни и праздники» (на основе рассказа «За проходной»). Пьеса пошла во МХАТе и шла ровно полгода — до исключения Галича из Союза писателей. В «Новом мире» в 1967 году была напечатана великолепная ее повесть «На испытаниях». В ней рассказывалось об испытаниях вооружения на секретном полигоне, в некоей русской глубинке (действие происходит в 1952 году). Повесть имела большой успех и у русского, и у западного читателя (ее почти сразу перевели на несколько языков). Все тут было, чем силен замечательный талант И. Грековой — динамика повествования, изумительные по точности и юмору речевые характеристики персонажей, их взаимоотношения, характеристика самого нехарактерного для советского общества тонкого слоя людей, которые на вопрос «чем мы живы?» отвечают: «скорее всего работой»; «работа плюс чувство юмора!».

Работа в охотку — это то, что с самым большим вкусом описывает Грекова. И здесь она дала себе волю. Ни тяжелейшие бытовые условия, ни сорокаградусная жара, ни сварливые жены (и все это она тоже описывает со вкусом и беспощадностью), ни даже политические доносы — ничто не может переделать этих странных людей. Повестью зачитывались, ею восхищались — особенно за подлинность, за отсутствие лакировки. Но именно эта подлинность вызвала в родной Москве нешуточный скандал.

Академия Жуковского возмутилась. Устроено было публичное осуждение повести. Гнев академического начальства вызвало и изображение бытовых условий жизни военных, и самый сюжет повести — неудача испытаний! — и даже факт ее публикации в «Новом мире», который давно уже стоял у начальства поперек горла.

* Рукопись романа «Жизнь и судьба» была в свое время отправлена редакцией журнала «Знамя» в Отдел культуры ЦК КПСС. Там роману был вынесен приговор: «антисоветский». Агенты КГБ явились к Гроссману домой, конфисковали все материалы, связанные с романом, и заставили указать места, где хранились другие экземпляры рукописи. Тогда-то рукопись и была забрана в КГБ из сейфа «Нового мира». (Прим. редактора)

Какое право имел профессор академии опубликовать такую «очернительскую» вещь? «Где вы видели пьяного офицера?» — кричал на автора замполит.

Вся эта история, в несколько преображенном виде, получила литературное воплощение в небольшом рассказе «Без улыбок».

Героиня рассказа, которую «подхватил железный поток проработки», сидит в Большом зале Совета, слушает, как один из выступающих кричит: «Она, она...» и думает:

«Про меня до сих пор никто не говорил "она". Говорили "М.М." или, чаще, «уважаемая М.М.», или, еще чаще, "наша уважаемая М.М." Откуда им знать, как себя чувствует женщина, про которую говорят, про которую кричат просто "она", словно ее вывели для телесного наказания на площадь перед кабаком... Может быть, никто из них не понимает?»

Отметим, и не только для феминисток, что М.М., «Она» — единственная женщина в зале.

Потом М.М. размышляет:

«Сколько я помню, мне всегда сопутствовал Успех... Еще бы: женщина-ученый, автор трудов, переведена на языки, и прочая, и прочая... [И позже:] Коварная вещь, этот успех. Он одаряет, он же и грабит. Смотришь — ты уже нищий. Хотела ли бы я, чтобы он ко мне вернулся? Нет. Прежним я его уже не приму.»

Проработка закончилась благополучно для героини и в рассказе, и в жизни. Нам неизвестно, что сделала М.М., когда все снова стали ей улыбаться, но Елена Сергеевна Вентцель — она же И.Грекова — подала заявление об уходе из Академии. И стала преподавать математику в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.

Рассказ «Без улыбок», написанный в 1975 году, тоже пролежал в столе 11 лет, пока его не напечатал тот же «Октябрь» (1986). За это время И.Грекова опубликовала более десяти рассказов и повестей, в том числе такие замечательные, как «Вдовый пароход», «Перелом», «Фазан», «Скрипка Ротшильда»...

А заветный роман лежал без движения и не появился даже в перестройку.

Продолжалось табу?

Не думаю. Документальные и мемуарные книги о времени, которое, по удачному определению Раисы Орловой, так и осталось непрошедшим, стали выходить почти беспрепятственно. О деле врачей, о деле еврейского антифашистского комитета, об убийстве Михозлса... Какое уж тут табу! Но... но...

Документы, с бóльшим или меньшим трудом, извлекаются из архивов. Документы есть документы. В очередной раз пересматривается история, «та самая, которая — ни столько, ни пол-столько не совет». Помните песенку?

А признание, подписанное подследственным, — документ? Документ. И мы будем ему верить или поостережемся? Это, конечно, крайний случай. Хотя и тут бывало по разному.

Должна ли художественная литература дожидаться, пока все уложится, определится, прояснится и все документы будут обработаны и оценены по достоинству? Философия в средние века считалась прислужницей богословия — не больше и не меньше. Должна ли литература принять статус прислужницы истории? Пусть даже с правом ее толкования, поскольку сегодня на дворе гласность?

Юрий Тынянов писал: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Литература начинает свою пахоту там, где документ уже взрыхлил почву. И берет глубже.

Скажу даже: я не уверена, что в мемуарах «процент правды больше», чем в художественной литературе. Мы когда-то заимствовали эту сентенцию у Грековского персонажа. Художник видит шире, чем мемуарист. И слышит некую, ему только внятную, странную музыку времени. Или безобразный шум, который тоже вроде как музыка. И заставит вас тоже его услышать и пережить и эмоционально откликнуться и... Словом, как у Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...»

События, о которых знают все, о которых написано столько статей, мемуаров и документальных повестей, в их литературном преобразовании пугают редакторов и издателей. История фиксирует, литература шевелит, сдвигает понемногу какие-то пластины в сознании и подсознании.

Грековой говорили: это все так давно прошло... Люди жадны на современность.

Или: О том времени столько интересных документов! Читателю разве может быть интересна беллетристика?

Может. Да еще как! Особенно, если книга так хорошо написана, как «Свежо предание». И если вы любите этого автора. Потому что при встрече с ним вы испытываете радость узнавания — одна из радостей, которые изредка доставляет нам современная литература. Вы найдете здесь все, что вы любите у этого автора: мастерство диалога, острые ситуации, яркие характеры, и опять, и снова, как всегда у И.Грековой, когда она описывает талантливых людей, — вкυσное описание их работы.

Но есть в книге и другое, не сформулированное. Она зовет, она толкает к поступкам. Каким? Что, собственно, мы должны сделать? Облиться слезами? Раскаяться? А в чем, собственно, мы виновны? Искать врагов? Мстить? Не поможет.

Не будем смотреть по сторонам. Заглянем в себя, дорогой читатель. Вот к этому и зовет книга, которая у вас в руках.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 7

Часть первая 9

Часть вторая 37

Часть третья 85

Часть четвертая 105

Часть пятая 174

Рубль Зернова

Долгожданная встреча 209



Судьба еврейской семьи в годы сталинщины — вот тема романа **И. ГРЕКОВОЙ**. Сквозь террор, войну, травлю пытаются пронести герои способность любить, надеяться, сострадать. Хотя этот роман выходит впервые, его трудно назвать новым: он был написан в 1962 году. Однако в условиях советского цензурного гнета он не мог быть опубликован. Журналы и издательства печатали другие произведения И. Грековой, которые и принесли замечательной писательнице заслуженную славу, — но только не роман *СВЕЖО ПРЕДАНИЕ*. Надо надеяться, что в новой, освободившейся от коммунизма, России этот роман наконец достигнет того читателя, для которого он предназначался.

The fate of the Jewish family during the years of the Stalinist "whirlwind" -- this is the theme of **I.GREKOVA's** novel. Through terror, war and persecution, the protagonists seek to preserve their capacity for love, hope and compassion. Although this novel is being published for the first time, it would be hard to call it new: after all, it was written in 1962. The reason for this delay is not hard to fathom: under the oppressive conditions of Soviet state censorship, a book of this nature could not be published. Nevertheless, other novels and short stories by I. Grekova were brought out by certain journals and book publishers, serving thereby to establish the well-deserved reputation of this remarkable writer. It is to be hoped that in the new Russia, that has cast off the yoke of communism, this novel will at last reach the reader for whom it was originally destined.

\$12.00

ISBN 1-55779-084-1



9 781557 790842